



# ЮНОСТЬ

7

1972



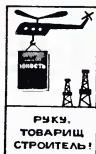
## ДОГОНЯЙТЕ НАС, ПОЕЗДА!

**Т**юмень — Сургут — путь не близкий. Путь не простой — болота, топи, непроходимая тайга. Здесь работают тысячи парней и девушек, пожалуй, всех национальностей Советской страны... Здесь пройдет семисоткилометровая трасса. Она уже заявила о себе парой серебристых рельсов, которые упорно, километр за километром, тянутся на север.

Дорога принесет жизнь в некогда безлюдные районы Западной Сибири. Дорога свяжет богатейшие нефтеносные районы Среднего Приобья с большой землей. В канун пятидесятилетия СССР в государственную эксплуатацию будет сдан первый двухсоткилометровый участок от Тюмени до Тобольска. Таков вклад комсомольской ударной в юбилейную копилку трудовых дел и побед.

Дорога!

Недавно со стройки вернулась творческая бригада журнала. Это была первая поездка после заключения договора о шефстве «Юности» над ударной комсомольской стройкой Тюмень — Сургут. Члены бригады познакомились с жизнью и бытом молодых строителей трассы. Встречались с ветеранами. В этом номере «Юности» печатаются некоторые материалы, привезенные нашей бригадой.



На самых последних километрах трассы  
выстроен поселок Юность.

Фото Валерия ПАНОВА.

СССР

50

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

# ЮНОСТЬ



Журнал  
основан  
в  
1955  
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»  
МОСКВА

7

(206)

июль

1972

## Бабкен Карапетян



Перевел  
с армянского  
Я. СЕРБИН.

### Радость

В стране единственной моей  
Я долю светлую нашел,  
Союз трудящихся людей  
В цветущей силе я нашел,  
К вершинам счастья сто путей,  
Открытых взорам, я нашел,  
Сердца горячие друзей,  
Любовь и верность я нашел.

В краю былинном, где весна  
Бессменно властвует вокруг,  
Где человеку человек  
На всех дорогах брат и друг,  
Где славят песни и стихи  
Могущество рабочих рук,  
Призвание высшее свое  
В служенье людям я нашел.

Поют турбинные валы,  
И, дрогнув, отступает тьма;  
В кувшинах пенится вино,  
Полны пшеницей закрома.  
В цвету нарядные сады,  
Просторны ладные дома.  
Под небом синим, как волна,  
Я радость вешнюю нашел.

### Молодость моя

Нелегкой молодость моя была,  
Но ветры элегической печали  
Над ней не били в белые крыла  
И парусов ее не надували.

Горячей молодость моя была,  
И круто приходилось ей порою,  
Но отступала перед нею мгла,  
Как отступает ночь перед зарею.

И в трудный час, не уступив беде,  
Она спасительный искала выход  
В samozабвенном, яростном труде.  
Не признававшем мелких личных выгод.

Не знала молодость бесплодных дней,—  
Она сжимала колесо штурвала,  
Слагала песни о земле своей,  
Мосты мостила и металл ковала.

Мне до сих пор ее характер люб:  
Не ведавшая страха под картечью,  
Сквозь воду, пламя, жерла медных труб  
Прошла она — грядущему навстречу.

Завидной молодость моя была;  
Она, как песня счастья, прозвучела,  
Исполненная света и тепла  
Всегда живого ленинского дела.

### У Алагеза

Еще не скоро день начнется,  
Туман низинный не исчез,  
А уж плывет навстречу солнцу  
Четырехглавый Алагез.

Возникшая из полумрака  
Заря — над искорками рос —  
Светло горит в лугах Ширака  
На лезвиях бескучих кос.

И ходит волнами пшеница,  
И лес лучами обогрел,  
И склон покатым золотится,  
И Алагеза снежный трон.

Уже раскрыты створки окон,  
Встают над крышами дымки;  
Отсюда слышные далёко,  
Летят рабочие гудки.

Летят гудки, и будят кручи,  
И гонят с гор ночные сны,  
Сливая голос свой могучий  
С прозрачным голосом зурны.

### Родине

Земля моя — без края и конца,  
Ты крепость гор и нежность винограда;  
Не отвести восторженного взгляда  
От твоего прекрасного лица.

Цветут вершины молодых дубрав,  
Заря над перевалами играет;  
Когда поешь ты, сердце замирает  
И тянутся к рассвету стебли трав.

О, быть бы мне —  
Пускай хотя б на миг  
Из тысяч дней, стремительно летящих,—  
Росинкой на цветах твоих горящих,  
Влюбленной песней на устах твоих!



**ВАЛЕНТИН  
ЧЕРНЫХ**

# ТРИ РАССКАЗА



Рисунки  
М. Лисогорского.

## 1. ночной оркестр

**М**оре начало дымиться часа два назад, и сейчас туман стоял сплошной дымовой завесой. Нора охладил все вокруг, и воздух стал тяжелым влажным, роса моментально выступила на ратниках рыбаков, впереди и сзади тоскливо забили рынды сейнеров.

В белой мгле прогрехотали якорные цепи, кто-то, опробуя, пустил сирену, и все смолкло. Все встало до утра на якоря, все легли спать.

В эту ночь Курай был вахтенным. Он знал, вахта может быть приятной или неприятной, все дело в том, как к этому подойти. И он начал готовиться. Расстопил печь на камбузе, поставил чайник. Нарезал хлеба, намазал маслом, готовые бутерброды отнес в рубку и снова занялся чаем. Плеснул в печь две банки солярки, в печке сразу заревело. Когда чайник забренчал крышкой, он снял его с огня и заварил чай. Заварил до черноты, до терпкой горечи. Потом он спустился в кубрик и достал из чемодана карту Союза. Курай карта заменяла альбомы с фотографиями. На карте он отмечал свои маршруты. Темно-синие чернильные линии пересекали страну, спускались к Японии, тянулись на Чукотку, петляли по центральной Колыме, возвращались в Свердловск. От этого родного для Курая города маршруты шли вверх до Салехарда, спускались вниз на Кустанай и Алма-Ату. Линии через Москву уходили на юг. Вся карта была размечена значками, понятными только Курай. Красные флажки отмечали места, где жили его друзья, где ему всегда были рады. Желтые — знакомых, хозяев квартир, у которых он мог остановиться в любое время суток, черные — где ему не понравилось и куда он никогда не поедет, синие — где жили случайные попутчики, с которыми он знакомился в поездах, на пароходах, в гостиницах и которые оставляли ему адреса и приглашали в гости.

На оборотной, чистой стороне карты у Курая были записаны адреса, фамилии, иногда дни рождения. Рыбаков удивляло, что Курай по нескольку часов может неподвижно сидеть над картой. Никто не знал, что в эти минуты Курай принимал решения. Он приводил в движение связь, почтовые вагоны, самолеты. Ему нравилось, что он может влиять на этот хорошо отрегулированный механизм. Курай поддерживал связь со многими из своих знакомых.

История кураевских посылок началась с детского дома в Свердловске. Однажды в детский дом приехала актриса. Она долго ходила по спальням, а вечером, перед отбоем, Курая вызвали к директору. Директор объявил, что нашлась его мать и она забирает его домой. Актриса бросилась к Курай, начала его целовать и плакать. Курай заплакал тоже из-за наглого обмана. Он навсегда запомнил синие глаза матери и ее голос, когда она пела ему про голубей. Актриса была худая, плоская, с хриплым голосом и громадными черными глазами. Курай попросил ее спеть про голубей. Актриса потеряла виски и сказала:

— Черт возьми, про голубей забыла, давай спою про кошек?

Про кошек Курай слушать не захотел, и усыновление не состоялось. А через несколько дней, как будто ничего не произошло, актриса появилась сно-



ва. Все годы, пока Курай был в детском доме, она часто приезжала к нему, иногда он ездил к ней, ее там все звали Верой, и старые и молодые. Он долго не мог решить, как же ему быть, называть по имени и отчеству не хотелось; она была совсем не похожа на занудливых воспитательниц, просто по имени — неудобно, и он начал звать ее мама Вера. Курай не знал, кто его родители, он знал единственное — что его нашли в развалинах закатанного в тряпье, когда освобождали Гомель. Об этом свидетельствовала справка, хранящаяся в его личном деле, подписанная лейтенантом ордена Суворова пехотного полка Егоровым, что он сдал трехлетнего, примерно, ребенка без опознавательных документов товарищу Тишко — представителю исполнительного комитета депутатов трудящихся города Гомеля.

Когда актриса уезжала, она присылала Кураю посылки. Посылки странные, без всякого повода, из разных мест, где гастролировала ее труппа, иногда несколько плиток шоколада, грецкие орехи, кислый азербайджанский сыр. Когда Кураю исполнилось двенадцать лет, она прислала дюжину гапстуков, таких ярких и пестрых, что директор тут же их спрята- л в сейф. Курай беспокоился, если мама Вера долго не давала о себе знать. Он решил, что, когда станет взрослым, тоже будет присылать посылки своим знакомым и друзьям. Это всегда неожиданно и приятно.

Курай достал ящик и утащил его соленой створкой, завтра посылка пойдет к маме Вере в Свердловск. Мама Вера пишет все более грустные письма и зовет в Свердловск. Последний раз он был у нее в прошлом году. Тогда мама Вера поссорилась с соседом по кухне. Мама Вера плакала, у нее от обиды тряслись худые плечи. Курай сходил к соседу и попробовал доказать, что одиноких пожилых женщин обижать нельзя, сосед ничего не понял и начал выставлять Курая, пришлось его аперкотом посадить на пол. Это так развеселило маму Веру, что она на следующий день начала придира- ться к театральному завхозу и шути уговаривала Курая, чтобы он стукнул завхоза так же, снизу в подбородок, или хотя бы научил ее, как это де- лается.

Они ходили гулять, и мама Вера гордо шла рядом. Они были похожи — рослые, сухопарые, черноглазые. Может быть, это сходство мама Вера уловила еще при первой попытке усыновления. Прощаясь у вагона, мама Вера всплакнула, увидела како- го-то своего знакомого и бодро сказала:

— Черт возьми, когда ты научишься выбирать гапстуки! У сына заслуженной артистки республики нет вкуса.

Конечно, маме Вере пора уже на пенсию. Да и ему пора устраиваться постоянно и забирать маму Веру. Переезды по стране требовали значительных средств. В прошлый раз, когда у него не хватило денег, чтобы доехать до Симферополя, ревизор, молодая девчонка, высаживая его, с презрением от- читала:

— Уже взрослый, а как беспризорник без билета. Времена не те, чтобы не было денег на билет!

Конечно, времена не те, но пока существуют биле- ты, кто-то всегда будет ездить без билета, утешал себя Курай. Сейчас одиннадцать вечера. Окончен спектакль. Мама Вера, наверное, устала, возвра- щается домой. Как-то она сказала ему:

— Я объездила всю страну. Твоя карта по сравне- нию с моей — пионерский маршрут.

— Это хорошо или плохо? — задал он ее люби- мый вопрос.

— Это и хорошо и плохо. Я не обижала своего дома и не вырастила даже дурацкого фикуса.



Мама Вера права, только — дудки, жить в том месте, где тебе не нравится. Каждый имеет право выбирать себе дом, без которого он не может. Курай спичкой пересек Азовское море, затем провел линию от Керчи до Ростова. Спичка проползла по Волго-Донскому каналу, завернула вверх и остановилась у Горького, главного его резерва. Он хочет в этот город. Он вспомнил горьковский кремль, в ворота которого входит трамвайная линия. Красивый город, а разве мало красивых городов? Каждый город по-своему красив. Но не в каждом красивом городе есть автозавод.

Еще далеко от Горького начинают встречаться «Волги» с трафаретами на ветровом стекле — «Перегон», и чем ближе город, тем больше на дорогах новых блестящих машин. Он давно хотел заняться этим делом, перегонять стремительные, приземистые «Волги», проезжать города, останавливаясь обедать в придорожных столовых, спать в машине, откинув спинки сидений. И ничего в этом нет плохого: одни любят ездить, другие не любят.

Курай вышел на палубу. Плыли клочья тумана, обтекающая клотки мачты. И вдруг по правому борту Курай услышал шум автомобильного мотора. Проскрипели по асфальту шины при резком торможении, хлопнули дверцей, рассмеялась женщина. Теперь он отчетливо улавливал говор, слышал отдельные фразы. Значит, они бросили якорь метрах в двухстах от берега. Рядом явно курорт. Там какой-то праздник. Проводы или встреча отдыхающих.

И тут грянул оркестр. На высокой ноте поднимался звук трубы, выбивали мелкую четкую барабаны, и певец торопился быстро-быстро доказывать слова песни, пока у трубача хватало еще воздуха, чтобы дотянуть мелодию до знака, указанного в нотах. И сразу зазвенели литавры, загрохотали барабаны, зазвизжали трубы.

В большом зале сейчас тепло и светло. Вдоль стен стоят девочки в платьях с вырезом на груди, в туфлях на высоких каблучках, отчего их ноги кажутся стройными и высокими. Это обыкновенные девочки с заводов и из совхозов. Зимой легче достать путевку на курорт, зимой на заводах всегда много путевок. С такими девочками просто и ясно. Он им никогда не врет, что он летчик или капитан сейнера. И девочкам приятно, что он такой обыкновенный, похожий на их отцов и братьев, за такого спокойно можно выходить замуж. И Кураю было приятно, что его принимали всерьез, он несколько раз собирался жениться, но всегда что-то мешало, и он опять куда-то ехал.

Курай прошелся по палубе. Больше всего он не любил бездельствия, когда ничего невозможно изменить. Уже месяц они гонялись за косками ставриды. Каждую ночь эскадра средних черноморских сейнеров выходила в море, но улова почти не было. Иногда кто-нибудь из счастливых брал несколько центнеров, на это место неслись сразу десятки сейнеров. Рыбы было мало. Курай ничего не мог сделать, он мог только ждать, отставать вихри и надеяться на удачу, и это его бесило. Он не любил работ, которые зависели от удачи. Поэтому-то он и ушел из геологической партии. Ходить все лето, чтобы ничего не обнаружить! Начальник партии ему внушал: важно не только найти, важно доказать, что в этих местах больше искать не надо... Так можно доказывать всю жизнь. Курай уехал в Кустанай и उसे охоту перебрал на уборочной комбайнером, а ближе к зиме, когда начинали ловить мелкую ставриду, он, как обычно, появился в деревне. Поэтому его и прозвали Кураем. Курай да Курай! Колосуче перекасти-поле. В деревне давали клички, как ставриду клеимо, один раз и на всю жизнь,

Курай прошел на ют. Туман рассеивался, стали видны смутные очертания сейнеров, покачивающихся на волне. Неудачные запустили двигатели. На соседнем сейнере загрохотала лебедка, начали выбирать якорную цепь. Там был молодой капитан.

А они просят до утра, потом пойдут а порт и снова будут ждать ночи, чтобы выйти на лов, и им опять не повезет, потому что Царек не ищет коски, а жмет к другим, которые их уже нашли. Когда-то Царек был одним из лучших капитанов, о нем писали в газетах и говорили по радио. За последнее время сейнеров стало больше, на них пришли молодые капитаны, Царек оказался в середняках и сразу как-то сник, он даже газеты перестал читать, потому что теперь писали о других капитанах, более энергичных и более перспективных.

Сосед отвалил и пошел в море. Надо было что-то делать. Курай знал, что Царька сейчас почти невозможно поднять. Только если удивить, поразить мгновенно, а еще лучше — разозлить. И Курай решился. Он постучал в дверь каюты.

— Ну, — ответил Царек.

Курай открыл дверь и зажг свет. Царек сел на диване, но глаз не открывал.

— Ты мелкий прохиндей, Царек, — сказал Курай.

— Что-что? — заинтересовался Царек.

— Ты был капитаном, а теперь весь вышел. Ты уже забыл, что такое настоящая жизнь.

Царек уселся поудобнее.

— Правильно, — неожиданно согласился он, подумал и спросил: — У тебя в трудовой книжке выговор есть?

— Нет.

— Так теперь будет. А что такое «прохиндей»? спросил Царек.

— Это человек, который сам не живет и другим жить не дает, — пояснил Курай.

— Ясно, — сказал Царек. — Хорошее слово, звучное. А теперь буди команду. Я вам покажу, что такое настоящая жизнь.

## 2. дневники писателя

И з конхоза Царьку пришла телеграмма: «На судно прибывает писатель Богданов тчк прошу содействовать сбору материала передовых лова тчк подготовьтесь встрече тчк председатель Шлак тчк».

Царек прочел телеграмму и многого не понял, особенно во второй части, как готовиться к встрече. На всякий случай он приказал окатить палубу, послал в магазин артельщика купить четыре бутылки водки, эстонских шпрот, селедку в винном соусе, охотничьих колбасок и конфеты «Мишка».

Коку было сказано — нажарить ставриды ночного улова, обязательно на сливочном масле, одну сковороду, чтобы хрустела, другую — чтобы таяла во рту.

В своей каюте Царек прибрал, положил на видное место бинокль и секстант, которыми никогда не пользовался, снял со стены фотографию Натальи Фатеевой из журнала «Советский экран», заменив ее на «Девятый вал» Аветянского — ценную репродукцию из журнала «Огонек».

Писатель приехал во второй половине дня. Для встречи с ним Царек пригласил радиста Ивана От-

рошко, как представителя рыбацкой интеллигенции, к тому же радист хорошо пел песни под гитару, и Курай, как человека бывалого, для поддержания разговора. Больше четверых в маленькой каюте Царька не помещалось.

Писатель оказался очень тощим, узким, в плечах, с продоржистым на ветру лицом. Он снял синюю байковую перчатку, протянул руку Кураю и отрекомендовался:

— Богданов.

— Писатель, — пояснил Царек.

— Я еще студент, — поправил писатель. — Пожалуйста, мои документы.

— Чего уж там, — сказал Царек и положил документы в ящик стола. — Прощу.

Стол был заставлен мисками с жареной ставридой, банками со шпротами, селедкой в винном соусе, конфетами «Мишка», охотничьими колбасками. Писатель оживился, рассмотрел обильную еду, выпил водки, пожегил и начал быстро есть жареную ставриду. После второй рыбки писатель охмелел и у него стали закрываться глаза.

— Если вы не возражаете, я бы поспал, — сказал писатель. — В какую каюту мне идти?

Курай отвел его в носовую кубрик, писатель натянул трикотажный тренировочный костюм и улегся. Курай вернулся в каюту Царька, и Царек достал документы писателя.

— Изучим, — сказал Царек. — Ты как бывший пограничник должен понимать в документах. А может, он шпион?

— Все может, — согласился Курай, и они начали изучение с записок. Из райкома партии просили содействовать молодому литератору в сборе данных для будущего произведения о тружениках лова. Председатель колхоза наказывал Царьку внести товарища писателя в судовую роль в качестве рыбака-матроса с паевой оплатой, обеспечить спецовкой и сапогами, сапоги желательно с длинными голенищами, и не забыть про портянки. Было командировочное удостоверение, из которого следовало, что студент Литературного института направляется в творческую командировку для сбора материала о рыбаках Черного моря. Визе был паспорт, из которого им стало ясно, что Виктору Викторовичу Богданову двадцать один год и проживает он на Патричной улице в Москве. Из военного билета они узнали, что писатель не служил в армии и что он рядовой и необученный.

— Да, — сказал Царек. — Никакой он не писатель, в лучшем случае стажер. Еще неизвестно: получится из него толк или не получится?

— Он только учится, — сказал Курай. — Посмотри в студенческий билет. Переведен на четвертый курс, значит, кое в чем разбирается. Дураков отчисляют после первого курса.

— Как себя поставить, — не согласился Царек. — Некоторые всю жизнь притворяются умыли.

Еще Царек высказал мнение, что, по-видимому, писатель не может обеспечить себя, если соглашается работать рыбаком-матросом. Каждый должен заниматься своим делом: рыбаки — ловить, писатели — писать. Он много за свою жизнь видел корреспондентов, и они никогда не таскали сетей.

— Какая в Москве главная улица? — спрашивал Царек у Курая.

— Горького.

— Вот видишь! А он живет на какой-то Патричной.

— Всем, что ли, на главной жить? — возразил ему Курай.

— Соображать надо. — Царек пренебрежительно усмехнулся. — Новой улице такого названия не додум, а если старая, но с приличными домами, давно переименовали бы, скажем, в Новаторов или Энтузиастов. Пиджак его видел?

— Ну, видел.

— Суконый! За двадцать рублей. Я, уважающий себя человек, такой не куплю. А туфли! За одиннадцать рублей с острым носом! Сейчас таких не носят.

Из этого разговора Курай понял, что Царек — человек наблюдательный. На следующий день Царек имел с писателем отдельную беседу, а ночью, когда они шли на лов, Царек поделился с Кураем своими соображениями. Оказывается, писатель не будет писать о них под настоящими фамилиями, его труд выдуманый, все они для него только типы, у одного он возьмет голову, у другого кривые ноги. «Конструктор!» — с презрением заключил Царек и с этим проглотил к писателю всякий интерес.

Рыбаки заняли выжидательную позицию — к незнакомому человеку надо присмотреться. Быстрее остальных с писателем подружился радист. Оба они были самые молодые на сейнере, наверное, им было о чем поговорить.

Писатель свои бумаги перенес в радиорубку и по утру, после лова, что-то записывал в большую амбарную книгу. Царек это заметил.

— Все пишешь? — спросил он у Курая. — И о чем?

— А ты сам его спроси, — порекомендовал ему Курай.

— Спрошу, — пообещал Царек. Но не спросил, а открыл радиорубку, пока писатель и радист ходили в кино, и прочел записи.

— Зайди ко мне, — попросил Царек Курая. Курай еще никогда не видел Царька таким расстроенным. — Как думаешь, напечатают его труды? — озбоченно спросил Царек.

— А почему нет? — Курай не понимал, куда клонит Царек. — Он ведь учился на писателя. Обязаны напечатать. Инженеру, если он имеет диплом, сразу должность дают. Так, наверное, и писателям. Не него же и бумага должна отпущаться и краска.

— Тогда плохо, — сказал Царек. — Раскол от меня, пойдем покажу.

— Не пойду, — сказал Курай. — Тайна переписки.

Закон есть, письма чужие читать нельзя.

— Жди, сам принесу. За все отвечу. После той писанины мне ничего не страшно.

Царек принес большую амбарную книгу и раскрыл на нужной странице. У писателя был мелкий и не очень понятный почерк.

— Читай!

Курай стал читать: «...Царьком его зовут за бешеный нрав, неприступность и непонятность решений, которые он принимает внезапно и никогда не отменяет. У него, наверное, есть свои принципы и методы руководства, потому что ему, как капитану сейнера, надо держать в повиновении команду из двадцати рыбаков и выполнять план, но никто этих принципов и методов понять не может.

Царек маленький, с носом пугловкой, красной обветренной кожей лица, глубокими морщинами. Он может часами молча и неподвижно стоять на спардеке, напоминая малую скифскую бабу на кургане, каменное, вырубленное камнем изваяние. Но, странно, при своем маленьком росте Царек не кажется маленьким. Он никогда не суетится, ходит, не торопясь, слегка расставив локти, будто всегда проталкивается в очереди, где его оттирают более взрослые и сильные мужчины.



Старые рыбаки, которые помнят Царька с детства, рассказывают, что Царек был тихим и робким. Он почти не играл с мальчишками, из школы сразу бежал домой и шил платья для кукол младшей сестры. Когда он подростом, стало ясно, что и тяжелой рыбацкой работе парень не пригоден, и его определили в город учеником к часовому мастеру. Царька мобилизовали в начале войны и, как большинство деревенских (рыбак вдвоем моряк), направили на флот. Вся война он был в морской пехоте. В деревню Царек вернулся с шестью орденами и десятью медалями. Говорят, столько наград не наберется у всех остальных мужиков деревни, которые остались живыми.

Рыбаки считают, что Царек на войне малость тронулся. Поступки его стали необъяснимыми. Может при разговоре непонятно усмехнуться, повернуться к собеседнику спиной и уйти...

— А если привлечь за оскорбления? — сказал Царек. — Я достану справки, что психически нормальный.

— Но он же не категорично утверждает, — возражал Курай.

— Ладно, читай дальше.

«...более вероятно, что Царек искусственно сконструировал свое поведение. У него явно был пример для подражания, кто-нибудь из командиров и начальников, такой же маленький человек с сильной волею. Теперь это поведение, без достаточного осмысления, стало его второй натурой. Может быть, Царьку и тяжело исполнять одну и ту же надвешую роль, но выйти из игры он уже не может».

В скобках было помечено «попытаться выяснить, с кого Царек делал себе роль».

— Прокхидей, — сказал Царек. — А он знает, что все великие люди были маленького роста. И Наполеон... и... я только забыл их фамилии.

— А Петр I? — спросил Курай.

— Исключение! Большого роста человек — довольный человек. И чего ему быть недовольным? Женщины на него в первую очередь обращают внимание, в спорте они чемпионы. Их выдвигают на руководящую работу, особенно на дипломатическую, за представительность фигуры. А мужчине маленького роста всего приходится добиваться самому...

И Царек вдруг рассказал о человеке, который когда-то поразил его воображение. Батальоном морской пехоты командовал капитан-лейтенант Коротышка. У него, конечно, была нормальная фамилия, но он был совсем маленького роста, еще меньше его, Царька. Коротышка был самым сильным в батальоне, он мог скрутить любого, потому что знал приемы. Он попадал из пистолета в подброшенную спичечную коробку. В атаку он поднимался первым. И однажды, когда Царек отстал в атаке, и не потому, что боялся, а потому что не успевал за большими и длинноногими, Коротышка вызвал его в свой блиндаж. Тихим голосом (Коротышка никогда не повышал голоса, но все его слышали) Коротышка объяснил ему, что маленький рост не является несчастьем и не может служить причиной снисхождения, исторические свидетельства доказывают, что у людей маленького роста есть много возможностей быть великими. В человеке главное не сила тела, а сила духа, главное не рост, а личность. И личность надо создавать самому. — Человек нормального роста может устать, испугаться, мы на это не имеем права, — убежденно заключил свой рассказ Царек. — Послушай, а откуда он узнал? — мгновенно переключился Царек. — Может, их этому специально учат?



— Наверное, отец у него был коротышкой, — предположил Курай.

Царек перевернул несколько страниц, нашел нужное место.

— Смотри сюда!

Курай прочел: «...Сейнер напоминает не корабль, а плохую коммунальную кухню. Странно, большинство рыбаков служили в армии, на флоте, сам Царек был моряком. Куда это все делось? Палубу никогда не моют по-настоящему, еще новый сейнер буквально ржавеет. От кого это зависит? Неужели от одного капитана? Если от одного человека, то все просто, заменить его другим, лучшем...»

— Что он хочет сказать? — спросил Царек.

— Не знаю, — признался Курай. — Не все понятно.

— С одной стороны, конечно, он прав, не корабль, а кастрия, скоро на ходу бречать будем, но... — Царек сдвинул белесые выгоревшие брови и решительно закончил: — Морская пехота умирает, но не сдаётся.

Курай подумал, что так, наверное, говорил Коротышка, и еще он подумал, что Царек очень скоро уберет писателя с сейнера.

После обеда, когда рыбаки легли спать перед выходом на ночной лов, на сейнере загремели электрические колокола. Пожар, решил Курай, выскивая на палубу. Царек осмотрел недоумевающих рыбаков и буркнул:

— Приборка, — и ничего больше объяснить не стал.

Вначале Курай подумал, что Царек испугался писателя, но, поразмыслив, понял, что это не страх, Царек давно никого не боялся, просто писатель объяснил то, чего Царек сам до конца не понимал. Писатель работал в той же смене, что и Курай. Писатель на кабеле, а Курай на лебедке. Ставриду ловили на светолов. Всю смену писатель то опускал, то поднимал кабель. Это была не очень трудная работа, но к концу смены руки наливались чугунной тяжестью.

Постепенно к писателю привыкли, и, хотя его произведений никто не читал, а может быть, их у него еще и не было, относились к нему вполне уважительно. До этого, после второго курса, писатель ловил рыбу на Дальнем Востоке, и его было интересно послушать для сравнения, хотя разговоривал он мало, а больше молчал или расспрашивал. Расспрашивал подробно, и рыбакам было интересно, что этот парень разбирается в их работе.

Однажды в кубрике вспыхнул спор. Коляня, самый молодой рыбак, еще не служивший в армии, доказывал: если узнаем, что нам собираются объявить войну, надо шаркнуть первыми. Писатель высказал все, что думал по этому поводу, и ушел в рубку делать записи в своей амбарной книге.

А на следующий день Царек вызвал Курая и выложил деньги.

— Кули gazet. Забуреете скоро. Никакого интереса к международной политике... Каждое утро будешь покупать газеты на всю команду. И смотри старых не бери, которые на обертку.

Сейнер теперь убирал тщательно и каждый день. Царек заставил обновить надписи — судовой номер и порт приписки, заменил флаг: прежний закоптился и выгорел. Каждое утро Царек ждал, пока все уснут. Курай иногда видел, как он выходил из каюты, осматривался и, убедившись, что на палубе никого нет, открывал радиорубку. Одна из записей, по-видимому, сработала не сразу. На всю пугину брали один комплект постельного белья и его сдавали в прачечную, когда возвращались в деревню. Несколько дней Царек ходил мрачным, посылая радиogramму за радиogramмой в колхоз. Наконец, из

колхоза пришел грузовик, на котором привезли белье. Царек оказался упорным в наведении порядка. Он стал спускаться в кубрики, задирая одеяла, проверяя, вымыты ли ноги. Перед выходом в город теперь рыбаки обязаны были являться к нему в каюту и показывать, почищены ли ботинки. Сам он стал носить нейлоновые рубашки, правда, оставил при этом ватник. Странная эта была форма: ватные брюки, ватник, оплетенные белая нейлоновая рубашка с галстуком в синюю и красную полоски.

Иногда, наверное, писатель хвалил Царька, а тогда Царек становился особенно доволным и гордым. Курай даже позавидовал Царьку: интересно ведь каждый день читать про себя; ему и самому хотелось узнать, что написано про него, но он постеснялся спросить об этом писателя. Когда писатель закрывался в радиорубке, Царек становился особенно нетерпеливым, он не мог сидеть в каюте и бродил по палубе, ожидая, пока писатель закончит писать и спустится в кубрик.

Через месяц у писателя закончились командировки. Царек устроил прощальный обед и по такому случаю надел пиджак с шевронами. Писатель растрогался, обещал писать письма, у Царька навернулись слезы. И Кураю было грустно, все кончилось, и не то, чтобы Курай очень любил флотский порядок, просто при порядке жилось удобнее.

Писатель сошел на берег, сел в такси и уехал. Рыбаки постояли на палубе и пошли в кубрики спать перед выходом на ночной лов. Курай решил сходить в кино, но он в этот день был вахтенным и без разрешения Царька уйти не мог. Царек на камбузе распекал кока за грязную куртку.

— Я в кино схожу, — сказал Курай.

— А кто вахту за тебя будет стоять? — прервал его Царек.

— Все же дома.

— Дома? — переспросил Царек и презрительно добавил: — Пехота. К шестнадцати часам принесешь сводку погоды.

— Есть! — сказал Курай.

— Как думаешь, напишет он кингу? — переключился Царек.

— Напишет, — сказал Курай. — Когда-нибудь.

— А может, из него Лев Толстой получится? — предположил Царек.

— Поживем — увидим.

— Вот выйдет книга, и там написано про меня, и про тебя есть там заметки.

— Какая? — поинтересовался Курай.

— Сам прочитаешь. Конечно, про меня не все хорошее написано, но в человеке разного хватает: и хорошего и плохого. Мы помрем, а книга про нас останется и будет храниться в библиотеках веками при строго выдержанных температурах. Позвело нам. А может, ему помочь? — предположил Царек.

— Посылку с рыбой, что ли, послать?

— С рыбой? — Царек хмыкнул. — В Москве рыбы хватает. Я зайду в райком, и пусть ему напишут характеристику: мол, оправдал доверие, морально устойчив.

— А зачем ему характеристика?

— Как зачем? — не понял Царек.

— Думаешь, с характеристикой он будет лучше писать? А кингу ты ему не напишешь.

— А может, и напечатать. Вернемся и поставлю на правлении колхоза вопрос. Выделим ему деньги на бумагу. Оплатим типографию.

— Дорого это, — усомнился Курай.

— Ничего, не беда, — Царек вынул блокнот и сделал запись.

В последнее время у Царька появилась привычка делать записи.

### 3. очень жарко в симферополе

**К**урай приехал в Симферополь ночью. В Потный торговый буксир протарганил их сейнер, команду расформировали и отправили по другим судам. На сейнере остался один Царек. Он стоял на спардеке, приложив ладонь к козырьку фуражки, пока последние рыбки не сошли на пирс. Это было торжественно и трогательно, и сразу все вспомнили, что они когда-то были военными моряками, и тоже приложили ладони к козырькам кепок.

Курай спустил на перрон, вдохнул полные легкие воздуха и не почувствовал ожидаемой ночной пролады. Было так душно, будто все надолго накрыли брезентом, нагрели и забыли снять. За ночь не успел остыть даже асфальт. Больше двадцати, прикинул Курай, значит, днем будет около сорока. Курай закинул за спину рюкзаки и зашагал в зал ожидания. Чем ближе он подходил, тем меньше надеялся отыскать свободный диван, чтобы поспать, а спать ему хотелось невыносимо. Он ехал в общем вагоне и двое суток не мог лечь и вытянуть ноги, лавки были заняты, а на багажной полке было невозможно выдержать и двадцати минут, в вагоне не работала вентиляция.

На подходе к вокзалу он увидел нескольких солдат, которые спали на асфальте, подложив шинели. Пассажиры спали на ящиках из-под пива, пригнанных из буфета, спали на складных столах летнего кафе. В зале ожидания спали сидя на желтых железнодорожных диванах. Воль диванов вышагивал пожилкой, чисто бритый милиционер. Этот не даст лечь, определил Курай. Хорошо выпался перед дежурством, выдержит до утра. Такие пожилые — самые примерные. Не из молодых, всегда готовых переменить профессию, и не слишком стар, чтобы в ожидании пенсии поглядывать сквозь пальцы на всякие мелкие нарушения.

Пока милиционер шел в противоположную сторону зала, Курай быстро приспособился у стены, вытянул ноги и закрыл глаза. И тут же стук подкованных каблук сместился с центра и стал приближаться к нему.

— Не положено на полу.

— Почему? — Курай открыл глаза, рядом стояли блестящие милицисейские ботинки.

— Негигиенично.

Курай встал. Он вспомнил, что рядом с вокзалом сквер, где есть садовые скамейки. Правда, на сквере тоже должен быть хоть один милицкий пост. Но Курayo просто нестерпимо хотелось лечь и вытянуть ноги.

Он вошел в сквер и удивился. На всех скамейках спали. Спали, укрывшись одеялами. В сквере расположилась большая группа туристов. Курай всегда относился с опасением к таким сплоченным группам и старался оказаться впереди них, потому что тому, кто оставался позади, ничего не доставалось. Туристы на своем пути сдвинули все мороженое, выпивали весь лимонад, занимали все места в автобусах. На этот раз он опоздал.

— Что надо? — К нему подошел высокий, широкогрудый парень. Они даже посты выставили.

— Хотел пристроиться на скамейке, — сказал Курай.

— Увы, мой друг, плацкартных мест нет! — Парень развел руками.

— Вижу, — сказал Курай. — Счастливого караула.

На автовокзал, куда он добрался, как только пошла трамвай, от касс тянулись длинные очереди. Курай осмотрел стоявших: могли ведь быть и знакомые. Но знакомых не было, не было и билетов. Сейнер в Севастополь должен был подойти через два дня. Он еще не знал, что будет делать эти дни, но, как человек действия, не мог успокоиться, пока не добрался до последнего конечного пункта.

Первое — достать бутылку холодного пива и часа два поспать, решил Курай. Обязательное поспать, он знал, что в теперешнем состоянии, уставший и разможенный жарой, он будет слишком вялым и робким, чтобы точно рассчитать свои действия в последние секунды перед отправлением автобуса.

Конечно, может не получиться с первого раза, размышлял Курай, но рейсов достаточно, здесь главное — рассчитать, потому что контролер не выходит из автобуса до последних секунд, шофер заводит двигатель, контролер выпрыгивает, двери остаются открытыми еще около двух секунд даже при самом расторопном шофере, и это его секунды. Надо сразу и решительно браться в конец автобуса, делая вид, что опоздал и бежал из последних сил. Обычно шофер считает, что он показал контролеру билет при входе и, если так решительно бежит в конец автобуса, значит, у него есть место. Иногда шофер все-таки требует показать билет, тогда надо долго рыться в карманах, — и тут уж, у кого больше выдержки, — бывает, что шоферу надоедет и автобус трогается. Потом остается самое несложное — подойти к шоферу и честно признаться.

— Узнай еще раз, — услышал он рядом и оглянулся, хотя это вряд ли могло относиться к нему. У бетонной колонны сидела девушка. Какая красивая, удивился Курай и отвел глаза. Он всегда старался рассматривать красивых женщин, боялся, что им это неприятно. Очень белая кожа лица была такой чистой, а глаза такими отчетливо синими, что с трудом верилось, как у людей могут быть такие лица, если всюду пыль и солнце.

Когда писатель ловил с ними рыбу, он объяснял им: понятие красоты относительно и различно в различные времена, у разных народов и у разных классов. Дворяне, например, считали красивыми тонких, бледных и худосочных, а крестьяне — крепких, румяных и полных женщин, пригодных для полевых работ. Тогда Курай согласился, а сейчас подумал, что писатель был неправ, красота во все времена оставалась красотой, такие девушки удивляли и радовали много веков назад и будут удивлять всегда. Он вспомнил, как единственный раз он был в музее в Москве и видел на картине женщину, почти девочку, с ребенком на руках. Она, наверное, была красивой тогда, раз ее нарисовал художник три века назад, и нисколько не хуже выглядит сегодня, хотя сегодня девочки не такие пухленькие, а более подтянутые и спортивные.

— Ну, пожалуйста, папа, — сказала девушка. — А вдруг открылся!

Ее отец, мужчина лет пятидесяти, сонный и небритый, загорающий под черноты, как загорают люди, постоянно работающие в степи, беззлбно ее пердразнил:

— А вдруг, а вдруг...

«Я бы уже побежал узнавать», — подумал Курай.

— Только лимонаду из холодильника. У них всегда есть запас в холодильнике. Сейчас всюду холодильники.

— Дадут, жди больше! — проворчал отец, но все-таки поднялся и пошел к буфету.

Девушка осталась одна. Она сидела на чемодане, возле нее стоял еще один чемодан, плетеная корзина из прутьев. Таких Курай не видел уже несколько лет. Вещи окружали девушку правильным полу-



кругом и как будто были расставлены так, чтобы отгородить ее от остальных обыкновенных пассажиров.

Девушку рассматривали многие. Молодые парни очень откровенно и подолгу, стараясь привлечь ее внимание своим упорством. Она тоже смотрела на парней, но никого не замечала и не выделяла. Просто смотрела и снисходительно улыбалась, наверное, давно привыкла к такому мгновенному интересу.

Из-за чемоданов Курай не мог рассмотреть ее ног. Ему очень хотелось, чтобы ноги оказались длинными и стройными. Курай подошел ближе, заглянул за чемоданы и увидел ее ботинки. Ортопедические ботинки из желтой кожи, неестественно раздутые у подъема, с литыми задниками, с высокой шнуровкой. И сразу представил, как она идет, потуинуому переваливаясь, и как ей с жалостью смотрят вслед. Он и сам всегда оборачивался. Надо же, чтобы девчонке так не повезло!

Курай отошел, но на его место тут же протиснулся парень в джинсах, полосатой рубашке и шляпе с загнутыми полями — таких парней он видел миллионы.

— Откуда вы? Я не хочу вас потерять!

— Я не собираюсь мгновенно исчезать. — Девушка улыбнулась.

— Послушайте, можно мне поехать с вами? — Парень, будто боясь, что его прервут, торопился сказать все сразу. — Я шлюсь по Крыму без смысла и цели. Можно, я поселюсь где-нибудь недалеко от вас? У нас будет время познакомиться ближе и узнать друг друга. Эй-богу, я неплохой парень. Я не женат.

К их разговору прислушивались, но парня это нисколько не смущало. «А может, он серьезный», — подумал Курай и позавидовал его уверенности.

Девушка слушала и улыбалась. Эй, наверное, нравилась такая откровенность.

— Пошли!

Курай оглянулся. Сзади стоял ее отец.

— Занял два места и все заказал. Данила посидит с вещами.

— Идите. — Из-за чемоданов приподнялся мужчина в таком же мятом, как у ее отца, чесучовом костюме, такой же загоревший до черноты. — Я потом пивка залью.

— Идите. — Парень великодушно подал ей руку. И девушка вдруг схватилась и уцепилась за чемодан. — Идите же! — Парень взял ее за руку. В глазах девушки было столько отчаяния, что Курай бросился вперед.

— Эй, приятель, — сказал Курай. Он еще не знал, как поступит, но ясно было одно — парня надо отозвать. — На пару слов можно?

— Я сейчас, — сказал парень девушке, и они с Кураем зашли за колонны. — Я вас слушаю, — очень вежливо сказал парень.

— Отцепись от нее, — сказал Курай и подумал: испугается — так ему и надо, а спросит — можно и объяснить.

— Вы ее брат? — спросил парень.

— Нет, — сказал Курай.

— Вы ее жених?

— Нет.

— Вы ее знакомый?

— Нет, но...

— У меня к вам больше вопросов нет. Простите, но мне пора вернуться. — И парень спокойно пошел, не обращая на Курая внимания.

— Подожди, — попросил Курай и схватил парня за руку. И почти мгновенно рука Курая оказалась заведенной за спину. Это было справедливо. На его месте Курай поступил бы точно так же: нельзя по-

звонять хватать себя всяким. Курайт не думал уравнивать драку, просто у него сработал инстинкт противника. Упала, перехватить ногу противника, рвануть на себя. Этот прием на заставе с ними отработали сотни раз. Парень нелепо взмахнул руками, но упал легко, перевернулся и взведенной пружиной вскопил на ноги.

Его рука оказалась на поясе Курая, и по тому, как он поставил ноги, Курай понял: перед ним самбист и очень тренированный, потому что так после падения вскакивают только самбисты, которые падают не от случая к случаю, поскользнувшись, а каждый день на тренировках. К ним уже бежали люди. Курай опустил руки.

— Товарищи,— сказал он.— Я сейчас все объясню.

Но ему уже завели руки. Он не сопротивлялся. Как всегда, после возбуждения наступала апатия. Он хотел сесть, но его довольно грубо приподняли.

— Постояй!

Кто-то звонил в милицию. Мелькали возбужденные лица. «Тоже мне, нашли чему радоваться,— подумал Курай,— преступника задержали!»

В отделении милиции было тихо и свежо, пахло только что вымытым полом. Курай подумал: хорошо бы сейчас снять ботинки и стать босыми ногами на холодный пол, подержать ноги в холодке и больше ничего не надо.

Молодой лейтенант с серым после ночного дежурства лицом осмотрел вошедших, помолчал, колеблясь, с кого начинать, и начал с парня в джинсах.

— Рассказывайте!

— Я не знаю, о чем рассказывать. На меня напал этот гражданин без объяснения причины.

Лейтенант недовольно поморщился: знаем, мол, знаем, все начинаю с этого.

— Пожалуйста, документы.

— Пожалуйста паспорт, парень — паспорт и сиую книжечку.

— А, коллега! — протянул лейтенант. — Четыре курса юридического. Закончили?

— Через полгода защита, — сказал парень в джинсах.

«Свои встретились, договорятся», — подумал Курай.

— Известно, куда распределять? — спросил лейтенант. — Может, к нам?

— В прокуратуру, — сказал юрист в джинсах. — Я проходил у них практику, они меня берут.

— Понятно, — сказал лейтенант. — Рассказывайте вы. — Лейтенант кивнул Кураю и прикрыл глаза.

Курай начал рассказывать. Он чувствовал, что говорит путано, лейтенант перестал записывать, наверное, не понимая, при чем тут девушка в ортопедических ботинках и зачем ее надо было спасать. Курай запнулся окончательно и замолчал.

— А теперь с самого начала и правду, — сказал лейтенант.

Курай молчал, вдруг понял, что он ничем не может доказать свою правоту: свидетели разошлись, автобус с девушкой ушел.

— Простите, — сказал юрист в джинсах. — Пожалуй, он не так и виноват. На его месте я поступил бы точно так же.

— Устроили бы драку? — спросил лейтенант.

— Драку нет, но...

— Драку нет, а что? — спросил лейтенант. — Налицо хулиганские действия, нарушения порядка в общественном месте.

— Я тоже виноват, — сказал юрист в джинсах. — Не окази я мгновенно сопротивление...

— Сопротивляться надо, — перебил его лейтенант. — А если бы у него было ножи, бы были бы сейчас не здесь, а в больнице.

— А если бы у меня была граната? — спросил Курай.

— Ну, знаете... — обиделся лейтенант. — Ладно... Поверим, что у нее физический недостаток, который она, вполне возможно, и не хотела открывать в данный момент. Но вообще-то, если человек имеет дефект, он не обращает на него внимания, потому что привыкает к нему.

— К этому привыкнуть невозможно, — сказал юрист в джинсах.

«А он парень вроде ничего», — подумал Курай.

Юрист в джинсах и лейтенант заспорили. Лейтенант считал, что Курая надо наказать за нарушение порядка в общественном месте, юрист в джинсах с ним не соглашался. Не все выражения были понятны для Курая, то один, то другой доказывали что-то о пределах необходимой обороны, а все это почему-то называли юридическим казусом.

— Ладно, — сказал лейтенант. — Пусть тогда это решит суд.

— Как суд? — удивился юрист в джинсах.

— Это типичное мелкое хулиганство, и я оформляю дело в суд. А гражданин Егоров, лейтенант заглянул в паспорт Курая, — должен будет понять, что, если его правота не согласуется с правотой другого человека, ее не следует доказывать кулаками. Это недостойно настоящего человека.

— Это несправедливость, — твердо сказал юрист в джинсах. — Я буду отстаивать свое мнение в суде.

— Не советую, — многозначительно сказал лейтенант. — С хулиганством надо бороться беспощадно. А о вашем поведении мы можем сообщить по месту вашей будущей службы...

— Истина мне дороже! — гордо ответил юрист в джинсах.

«Вряд ли я его увижу в зале суда», — подумал Курай.

Курая и еще нескольких человек в мятых пиджаках вывели во двор милиции.

— Граждане мелкие хулиганы! — бодро обратился к ним молодой старшина. — Пока суда не было, мы вас просто просим помочь милиции. Пожалуйста, сложите эти кирпичи более аккуратно.

У стены были свалены кирпичи. Мелкие хулиганы начали складывать штабель, но складывали так, что штабель должен был наверняка рассыпаться. Курай отнесил высокого парня и начал выкладывать сам.

— Выслужиться хотите? — спросил парень. — Думаете, меньше дадут?

Курай хотел ему ответить: «Если делать, то как следует», — но, взглянув на неуверенные движения парня, решил, что поговорит, когда тот протрезвеет.

— Стройся! — приказал старшина. Их вывели на улицу. Юрист в джинсах терпеливо ждал на солнцепеке. Он подошел к Кураю.

— Я иду с вами в суд. Мы докажем...

— Не разговаривать с арестованными! — приказнул старшина и скомандовал: — Шагом марш!

Меньше пяти суток не дадут, — обсуждали сади.

Курай подумал, что через двое суток подойдет сейнер и он здорово поведет ребят, если опоздает. «Надо что-то делать», — лихорадочно думал Курай, — что-то делать? Но что, он не знал, потому что впервые в жизни попал в такую ситуацию.

Курай оглянулся. Юрист в джинсах шел рядом. Лицо его было мрачно и полно решимости отстаивать правое дело. И Курай успокоился: все-таки рядом с ним шел будущий прокурор.

## Владимир Костров



### Воспоминание о Заполярье

Там, где Иртыш сливается с Обью,  
чтоб вместе течь в океан;  
там, где в двустовке рядом с дробью  
дежурит рваный жакан;  
там, где обрывается к морю  
край континентных карт;  
там, где льдами хрустит весною,  
как сахаром, Салехард;  
там, где пахнет стерляжьем наваром  
на норд, ост и вест;  
там, где становится просто товаром  
смолистый сибирский лес,  
где в широких речных поймах  
болота и мошкара,  
где трубы лежат сегодня,  
а нефть открыта вчера,  
где щурит полярное солнце  
желтый мансийский глаз,  
где пучится между кочками  
горячий сибирский газ;  
там, где за буксирами  
идут плоты по пятам,—  
там, на сибирском Севере,  
там  
легла нефтяная трасса  
прочно и навсегда,  
возникла новая раса  
стойких людей труда.  
Как в журнале «Дружба народов»,  
здесь все языки страны  
близко к оригиналу  
на русский переведены.  
Азербайджанцы, армяне,  
татары—сибиряки.  
Да здравствует новое братство—  
томенские буровики!



Туман в столице не простой туман,  
Он словно деревенский добрый леший...  
Он простынною на наш балкон повешен,  
Он ключьями стекает по домам.  
Колышется у самого окна  
Его неосязаемая масса,

В которой нету ни костей, ни мяса,  
Но плотью духа вся она полна.  
Туман в столице. Он уснул, притих,  
Им площади и улицы забыты,  
И в нем, как в некоем облаке, размыты  
Рабочих лица возле проходных.  
Рабочие идут средь белой мглы,  
То вдруг возникнув, то исчезнув снова,  
Под милый шорох дворницкой метлы,  
Под кроткий свист ночного постового.  
И брезжит чуть восток издалека,  
И крыты крышм розоватой драпкой.  
Картаява горюшка свистка  
— Идет народ!

Предупреждает транспорт.  
Люблю я ранних утренних людей,  
Как и туман, огромных и неясных,  
Порою грубых, но всегда прекрасных  
Извечною работою своей.  
Люблю смотреть, как плещет в берега  
Бетонные, как улицей струится  
И в здания кирпичные стремится  
Великая рабочая река.  
Кто спросит: «Где конец ее и край!»  
Отвечу: «Нету ей конца и края!»  
Опять погода влажная, сырая.  
Туман в Москве!  
Хоть пожкою хлебай.



Еще дышало глубоко и мудро  
рассветное российское село;  
хоть за окном уже вставало утро,  
в моем углу еще не рассвело.

Когда, и разбудив и озадачив,  
нарушив основной закон луча,  
мне на лицо уселся желтый зайчик,  
чуть подрождал и задал стрелкача.

Сырые кеды натянув,  
неслышно  
на росный луг я вышел налегке,  
а под моим окном стоял мальчишка,  
держа осколок зеркала в руке.

И, заспанный, зевая и мигая,  
я тихо проворчал:  
«Чего шалишь!»  
«Я не шалю. Я солнцу помогаю»,—  
вовне серьезно возразил малыш.

А по небу такое солнце плыло,  
начищенными горнами трубай!  
Великое и щедрое светило,  
есть на земле помощник у тебя.

Он чище нас. Он будет жить иначе,  
полнее дело сделает свое.  
Он, как и мы, взял трудную задачу  
и, верю, не отступит от нее.

Да осветятся  
темная обитель,  
вершины гор  
и низкие пруды!  
Да здравствует курносый представитель  
сияющей космической звезды!



Вот женщина с седыми волосами  
с простого фото смотрит на меня,  
тем чаще вспоминаю я о маме,  
чем старше становлюсь день ото дня.  
Глухое костромское захохотье  
и влажные ветлушкинские леса  
наполнили и добротой и грустью  
твои большие синие глаза.  
А светлые ветлушкинские излуки  
и чистая, лучистая вода  
такою лаской одарили руки,  
что их не позабудешь никогда.  
Благодарю тебя за первый свет,  
за первый след,  
за крик гусей в разливах,  
благодарю тебя за первый снег,  
за столько лет,  
тревожных и счастливых.  
Я стал грузнеть,  
и у меня семья,  
житейского поднакопилось хлама.  
Все чаще о тебе тоскую, мама.  
Старую я.



Светлый лебедь на Чистых прудах,  
Кот сибирский в пуховых чулках,  
Черный пудель в шикарном манто  
И воробушек в сером пальто.  
Пару кенарей держит сосед,  
и они его будят чуть свет.  
В глубине городских этажей  
Слышен шорох колючих ежей.  
Черепаша ползет не спеша —  
А ведь тоже живая душа.  
Друг лохматый скулил у дверей.  
Грустно было б нам жить без зверей.

## Илья Фоняков



### Электрoлиния

Через поля, через луга,  
Где кашка и осот,  
Светла, прозрачна и легка,  
Уходит ЛЭП-500.

Через поля, через луга  
Бредут без колеи  
Опоры в виде буквы «А»,  
Опоры в виде «И».

Уходят, чередуясь, вдаль.  
Теряется вдаль  
Серебряная магистраль:  
— А-И-А-И-А-И.

## Декабристы в Сибири

Дворяне, книжники, птенцы  
Лейб-гвардии полков  
Растили хлеб и огурцы,  
Лечили мужиков.  
С чалдоном в бричке примостясь,  
Под мерный шум колес  
Беседу вел Волконский-князь  
О ценах на овес.  
Сынов учили, дочерей  
Не презирать труда...  
И к ним Сибирь была добрей,  
Чем те, кто спал сюда.

## В юности

И я смутился в тишине,  
Когда открылось мне:  
Все книги в мире обо мне,  
Все песни обо мне!

Читая повесть или стихи,  
Себя я видел в них:  
С наивной гордостью — в одних  
И с ужасом — в других.

О, время, трудное вдвойне,  
Когда в большой стране  
Все книги были обо мне,  
Все песни обо мне!

## Если темная сила нагрянет

«Пускай ползет,— мне сказал  
Пастух алтайских гор,  
Как только с ним я завязал  
Тот самый разговор,—

Да я, хоть стар,— таков закон:  
Помру, но отстою!  
Да я на каждом из окон  
Поставлю по ружью!..»  
Ружье в наш век — почти смешно:  
На уток в камыше!!  
Но как-то стало все равно  
Спокойней на душе



Я помню старый разговор,  
Что строятся стихи  
Примерно так же, как шатер  
Палаточный в степи.  
Сначала колышек простой  
В сухую землю вбит.  
Потом, конкретный и густой,  
В права вступает быт:  
Сундук с одеждой, стол, постель,  
Посуда, хлеб, вода...  
И вдруг — нечаянная щель,  
И в той щели звезды.





АЛЬБЕРТ  
ЛИХАНОВ

# паводок

ПОВЕСТЬ



Рисунки  
Г. Новожилова.



*Доброму человеку бывает  
стыдно даже перед собакой.*  
А. П. ЧЕХОВ.

24 мая. Полдень. Слава Гусев

**В**ертолет завис над пропелсиной между прибрежными кустами. Сверху снег казался голубым, а тени от деревьев синели акварелью. Говорить и даже кричать теперь было бесполезно, не нужно, ни к чему. Гусев вышел из пилотской и устало сел у иллюминатора.

Два раза, надрывая глотку, он заставил вертолетчиков обойти триангуляционную вышку, пока окончательно не убедился сам, что они правы и что, кроме этой пропелсины, ближе к вышке подходящей площадки нет.

Можно было, конечно, выбросить лестницу, спуститься по ней, но «можно» лишь теоретически: спуститься действительно можно, но лишь самим, огромные тюки с едой, палаткой, а главное, приборами никак не выгрузишь, не выбросишь, хотя вниз и снег. Этого не позволяла инструкция, но прежде всего здравый смысл, а здравый смысл был для Гусева главной инструкцией.

Он махнул рукой, вышел из пилотской и теперь разглядывал, как там, за иллюминатором, гнутся от ветра, который гонят лопасти, голые кусты в рыхлом, осевшем снегу, как тень вертолета, похожая на странного жука, отраженного на белом полотне экрана, медленно приближается к нему, как земля становится все ближе, ближе...

Кабину качнуло, вертолет взвыл винтами, пробуя, устойчиво ли встали его ноги, потом разом умолк, на снегу, мельтеша все медленнее, закрутилась видимая теперь тень винта. Гусев шагнул к двери, отстегнул пружину, прихватившую ручку, и зажмурился.

Снег, синеватый сверху, слепил глаза ярким, искрящимся полотном; Гусев рассмеялся и прыгнул вниз. Снег был волный от весенней сырости, крупитчатый, словно грубая соль, но чистый, потому что ничто не могло загрязнить его тут, в глубине тайги, отгороженной от ветров высокоствольным сосняком.

Хлопнуло стеклышко в пилотской кабине, рябой летчик, совсем пацан, высунул по шее голову, освободженную от вечных наушников, плюнул для

блещу длинной хулиганской стружкой и крикнул Славу хозяйским, начальственным баском, зная, что теперь, сойдя с вертолета, Гусев обратно к нему не полезет:

— Ну, ты, кор-роче!

— Я те попокупаю, кузнецик! — рыкнул Гусев, не переставая улыбаться и разглядывая вешушчатое лицо пилота: грубоватые и высокочерные с геодезистами, при Гусеве летчики высокочерные свое приятли. Таков уж был Гусев — приземистый и широкий, как камбала, с такими же камбалными ладонями, округлыми, но как будто отлитыми из железа, и с лицом, жестким, угловатым, широкоскулым, как бы высеченным из дерева.

Слава Гусев был известен в поселке своей силой, сдержанной, однако, темпераментом и характером. Силы хулиганской, разнузданной или там пьяной люди в лучшем случае боялись, но уж никогда ни за что не уважают — уважения достойна лишь сила сдержанная, которой стесняются, которую зря не показывают. Один только раз пришлось применить ее Гусеву принародно, когда прицепились к нему три пьяных заезжих уркагана, — занесли их за длинным заработком. Уркаганы уже поигрывали ножиками, не стесняясь прохожих — милицию в тутошних краях скоро не сыщешь, — но Гусев уговорил их: неловко, неприличный к дракам, он махнул несколько раз своей широкой камбалей ладонью, метя по шеем, порезался, правда, слегка о ножки, но шпана повалилась наземь. Слава связал им руки шарфами и пошел в контору вызывать участкового. Сделал он все это не спеша, словно выполнил какую-то работу, малоприятную, но нужную, стыдясь при этом случайных зрителей, оказавшихся вблизи.

Как это иногда бывает с физически сильными людьми, Гусев преимущества своего никогда не использовал, не похвалялся им, не гнул прилюдно подков. В поселке, в городе, на людях им то и дело одолевала странная застенчивость, и вполне он чувствовал себя только здесь, в тайге, среди немногих своих товарищей, и только тут, да и то изредка, под настроение, его захватывало неожиданное для него самого озорство.

Спрыгнув из вертолета в снег, Гусев гоготнул, принял первый куль, самый тяжелый, с приборами, потом выбрался из сугроба, крикнул остальным. Из кабинки, разбежавшись, выскочил в снег Орлик — Валька Орлов, по пояс воткнулся в сугроб, с трудом выбрался; дурначас, они приняли груз, скидывая его как попало — потом все разложат, раскинут палатку, как полагаются, тут уж у Гусева полный порядок. Перекириваясь с летчиком, поругивая его, обзывая таксистом и извозчиком, который, желая получить на чай, издевается над пассажирами, Гусев принял груз, подчитывая про себя количество тюков, потом по лесенке солидно спустился дядя Коля Симонов, за ним спрыгнул Семка Петрущенко.

Настала пора летчиков. Захлопнув свою форточку, они выключили двигатели, винты, стремительно раскручиваясь, огулиши ветром, свистом и грохотом; вертолетишки не торопились взлетать и поднялись, когда уж не стало никакого терпения и перепонки в ушах, казалось, совсем лопнули.

Вертолет поднялся, покрутил хвостом, как вертлявая стрекоза, и исчез за сосняком, а Гусев все еще не мог услышать, что говорят другие, — уши словно забито ватой.

Он усеялся на куль с палаткой, достал пачку сигарет, закурил и, выдыхая дым, жадно оглянулся, как оглядывался он уже не раз, попадая на новую точку. Сколько лет ходит Гусев геодезистом — сперва простым рабочим, а теперь начальником группы, и

всякий раз оглядывается вокруг себя жадно, с любопытством, оказываясь в новом месте, и всегда ему хочется в эти первые минуты готовить, кидаться снежками, бороться с приятелями. Но он только улыбался, сдерживая себя, оглядывая новое место уже хозяйственно, как бы переклюкая глаза с пейзажа, радующего сердце, на деловой рельеф местности, высоту различных точек и топографические ориентиры.

Кусты бросали густые синие тени, чуть выше, на холме, была триангуляционная вышка, лучше всего было бы подняться к ней, это было ясно с самого начала, еще там, в вертолете, но теперь перебираться бессмысленно: работы всего на два дня, а эта пропеллина возле реки — самая удобная площадка для вертолета.

Возвращаясь к своим заботам, Гусев огляделся еще раз, и, чтобы не таскаться туда да назад, чтобы сэкономить силы свои и троих своих помощников, которым и так за эти два дня, нужные для съемоку, придется изволю набродиться по крупноточному, а значит, рыхлому снегу, Гусев решил, что лагерь они разбьют прямо здесь, в двадцати метрах от трех лунок, оставленных колесами вертолета, на небольшой пригорке, где можно хорошо разместить и палатку и выгодно поставить антенну.

— Итак, будем знакомы, Петр Петрович. Я следователь прокуратуры. Моя фамилия Семенов. Хотел бы предупредить вас, что в конце нашего разговора вам придется поставить под протоколом подписи. Так что лучше всего говорить четко, по порядку, подробно отвечая на поставленные вопросы.

— Что же это, допрос?!

— Лучше назовем процедуру дознанием. Так давайте начнем с предыстории. Ваш год рождения?

— Тридцать пятый.

— Сколько лет вы в этой должности?

— Пять.

— А на изыскательской работе?

— Двенадцать.

— Значит, у вас большой опыт?

— Раньше считалось так.

— Что вы окончили?

— Институт инженеров геодезии и аэрофото-сьемки.

— Тот же самый, что и Орлов?

— Тот же самый.

— Вы, конечно, не знали его по институту?

— Как я мог знать его, если он окончил институт в прошлом году, — а я двенадцать лет назад?

— Ну, мало ли...

— Нет.

24 мая. 13 часов 20 минут. Валентин Орлов

Продолжаю письмо. Наш старшой сигналь нас семь потов, но за час мы поставили палатку, наладили радио, сложили вещи. Сейчас объявлен перекур, наш радист Семка Петрущенко на примусе варит концентрат. Минут через двадцать поедим, и тут уже настанет моя стияжа, потому что, конечно, даже самому Гусеву не утнаться за мной в точности измерений. Вот такие пирожки, Аленка.

Опишу тебе новую точку. Мы сидим на небольшом пятячке среди снежной равнины, впрочем, пятячок этот тоже снежный, просто он едва возвышается над приречной луговиной. Это было самое удобное место для посадки вертолета, и Гусев про себя верно решил, что мы тут и останемся, хотя подальше есть высотка с триангуляционной вышкой.

Но тащиться туда сквозь кусты да еще по рыхлому снегу — безумие, неоправданная трата сил, которые нам и так пригодятся, и я, стараясь принять собственное решение еще до того, как объявит свое Гусев, был рад, что его и мое решения совпали. В прошлом письме и еще раньше я писал тебе про начальника нашей группы. Он довольно опытный человек, хотя окончил только техникум: еще одно доказательство, что знания без опыта теряют свою цену. Я знаю гораздо больше Гусева в чисто профессиональном отношении, но он знает и умеет куда больше меня в отношении житейском, практическом. А без этого в поле нельзя. Поэтому я и стараюсь, ничего не говоря Гусеву, принимать собственные решения, — не из самолюбия, нет. А для того, чтобы, учась у него самостоятельности, которая меня, конечно, ждет в недалеком будущем, не быть слепым его подражателем. Часто наши решения не совпадают, и я стараюсь анализировать причину. Пытаюсь быть объективным. В большинстве случаев Гусев предсказывает при своих решениях то, чего я не знаю, и тут, как говорится, крыть нечем. Но иногда мне кажется, что мое решение было бы более верным, я говорю об этом Гусеву. Он смотрит на меня внимательно и, мне кажется, не понимает, чего я хочу. А однажды после такого вопроса он меня спросил:

— Ты чо, Орелик,— это он меня так ласкательно называет,— ты чо,— говорит,— Орелик, на мое место сесть хочешь? Дак не выйдет. Я за начальствование свое надбавку приличную получаю, а у меня семья, дети.— Я аж поперхнулся, стал объяснять ему, что даже не думал об этом, просто готовлю себя к самостоятельной работе, но мои слова, кажется, не произвели на него никакого впечатления. А семья у него действительно большая: родители жены, жена и трое детей, подумай только! Жена у него, правда, работает, но остальных он кормит, поэтому мы и костолюмим, как прикормые,— Гусев зарабатывает на семью. Я бы поберег силы группы, вон и младшист наш Семка, длинный, нескладный, прямо мальчишка-переросток, иногда покусливает, что мы гоним, как сумасшедшие, но лишь только покусливает, не больше, и то, когда Гусева близости нет: деньги ведь всем нравятся, мне тоже они нравятся — знаешь, как приятно, вернувшись с поля, получить у касира тугую пачку жизненно необходимых средств?

Впрочем, тебе этого пока не понять, да, может, и вовсе не к чему, это я, мужчина, должен хлопотать о деньгах, для женщины это второе дело, хотя, впрочем, без денег шубу не сошьешь, как говорится. Ну ничего, ты скоро приедешь ко мне, как-нибудь угорю ПЛЭ отдать тебя в мою группу, и мы начнем вдвоем обживаться эти урманы, эти просеки и луговины. Конечно, нас будет жрать комары и гнус и будут жечь морозы, но зато, Ленка, мы будем не врозь где-то, а вместе. И когда-нибудь приедем в институт, огрубелые, обветренные, я с черной окладистой бородой — кстати, уже начал ее отпускать, чтобы ты не узнала меня при встрече, — и наши замшелые пни — преподаватели и всякие там прочие аспирантики — увидят настоящих людей... Зовет кашевар. Обед готов. Потом мы сразу уйдем на съемку. Вечером допишу.

— Мне хотелось бы узнать ваше мнение о людях Гусева. Я думаю, это поможет восстановить картину их психологического состояния в тот день.

— Гусев — человек опытный, лесовик, но не очень далекий. Образование — техникум. Привык выполнять работу «ота» и «до». Радист у них новенький,

совсем мальчишка, маменькин сынок. Я думаю, во многом виноват он. Если бы по его неопытности не упала антенна...

— Далеко.

— Про Орлова я вам говорил, знаю его плохо. Он только начинал. Все, что знаю о нем,— учились в одном институте. Новичок, и этим все сказано.

— Там был еще один.

— Да, рабочий. Забыл его фамилию.

— Симонов.

— Точно, Симонов. Однофамилец поэта. Как же это я...

— Он, кажется, был в заключении?

— Вот, вот. Темный, в общем-то, тип, хотя мы вынуждены брать и таких: не хватает людей. Думаю, в общем, контингент группы не блистал. Поэтому так и случилось.

— Словом, вы считаете, что психологическая обстановка в группе не была идеальной.

— Мягко говоря...

— И это одна из причин?

— Весьма существенная...

24 мая. 14 часов. Николай Симонов

Он шел первым, торя тропу к триангуляционной вышке. Идти было трудно, рыхлый снег проваливался до самой земли под тяжестью тела и тяжелою грузом: за плечами висел штатив для прибора, а сам прибор, болтався на груди в неудобном футляре, оттягивал шею.

Идти было тяжело, но еще тяжелей было на душе, словно камень давил, как в тот день.

Но в тот день были причины: опять они попались с Кланской, оттого он и пива выпил и бутылку взял, хотя ее и не открывал, да какой прок, что не открывал, к делу ее, однако, пришли. В общем, тогда камень давил справедливо, теперь же все это орунда, одни впечатления, их надо топить, эти впечатления, чтоб не перли, иначе худо дело, это уж он испытывал сто раз на проклятой острове. Но тогда была острота, какое-нибудь, а заключение. Здесь же другая дело: воля, хорошая работа, денежная, и ребята, слава богу, толковые, хорошие ребяташки, век бы с ними вековать, таскаться вот так по тайге и не вспоминать никогда эту Кланскую, былшем все оно зараста, кабы не Шурин белобрыйши, кабы не Санька его, Александр Николаевич Симонов, ученик третьего класса девяти с половиной лет от роду...

Снег шуршал, проваливаясь. Выбирая сапоги, Симонов видел, как капала с них вода, слышал, как чавкала она под снежным прикрытием, промывалась там, на глубине, извилистые дорожки. Это особенно чувствовалось в низинах: там вода было больше, снег уже не казался белым — он был тяжелым и серым.

Симонов, наклонясь, подхватил пригоршню и сжал ее, из снега, как из губки, закалапа вода, и он крикнул, не оборачиваясь, Гусеву, который шел следом:

— Слышь, командир, весна-то нас настагает!

— Слышу! — ответил Гусев, но Симонов тотчас забыл и о своем вопросе и об ответе начальника. Скоро предстоял перерыв, работы оставалось дня на два, не больше, а вертолету лететь до них ровно пятнадцать минут от поселка, так что, считай, они уже дома. Два дня — и баня, тебе, что, считай, можно в поселковой парикмахерской, где тепло, приятно пахнет одеколоном и ты можешь даже вздремнуть от удовольствия под тихое бормотание парикмахерши и легкую музыку из репродуктора.

Было в предстоящем отдыхе, в ожидаемом приятствии много хорошего, но теперь, подумав об этом,



Симонов понял, что тяжесть на душе, камень этот проклятый, тоже от неделеного будущего, от недолгого безделья, которое намечалось. За две — две с половиной недели Слава Гусев непременно успеет смотаться к своей обширной родне, Орелик улетит в институт, навестит подружку, Петрущенко тоже не останется, проведает мать, и только он один не стронется никуда из таежного поселка. Он будет ходить по два раза в кино — на детские сеансы и потом, вечером, брать в чайной по стакану горяченькой, но не больше — на большее у него зарок; топтать сапогами весеннюю грязь, маясь своими мыслями, горюя о Шурике, проклиная Кланьку и не решаясь поехать в свой неприметный городок, где все это случилось, все произошло в тот, пропади они пропадом, день и час.

Даже самое простое не позволит себе Николай Симонов. Получив на почте пачку Кланькиных писем, не раскроет ни одного, сунет в мешок — и все, разве что злей станет топтать, грязь, измеряя поселок в одном возможном направлении — вдоль единственной улицы, уставленной крепкими бревенчатыми пятистенками.

Он будет ходить эти две недели туда и сюда, и буфетчица Нюрка, навесив амбарный замок на дверь чайной после закрытия, станет следить за ним тоскливым вдвоим взглядом, открывая перспективы и предоставляя возможности, а он, бедолага, станет прятать глаза, с тоской кланя себя за однажды допущенную слабость, горюя и не зная выхода, а потом уедет снова сюда, в глушь, в безлюдье, чтобы опять терзать себя невыносимостью одиночества,

непоправимостью обмана и смертельной обиды, полученной им от Кланьки...

Эх, Кланька, Кланька, паскудная твоя натура!

Симонов остановился, задохнувшись от воспоминаний, оглянулся вокруг, чтобы забыться, снял для охлаждения шапку.

От удравной его головы валил пар, давно не стриженная, неухоженная борода топорила лопатой, и Слава Гусев, взглянув на него, скупо улыбнулся, прикидывая, на кого же похож дядя Коля Симонов: то ли на цыгана, то ли на разбойника? Или на схимника какого, затворника из старообрядцев?

— Ну чо встал, дядя Коля! — крикнул Валька Орлов, который шел третьим.

Симонов обернулся назад, напилит трех на голову и пошел дальше, думая о своем.

Называя его дядей, Валька не улыбалась, выходило это у него всерьез, да, подумав-то, так ведь и получалось: Вальке — двадцать три, ему — сорок три, да плюс бородачка, да еще отсидка, — все полстотни тянет он на вид с этими прибавлениями — одним вольным: хошь — носи, хошь — брейся, другим невольным: судьба уж, видно, так распорядилась.

— Каким образом группа Гусева оказалась на изысканиях да начала полевых работ? Ведь полевые работы в этих районах, согласно инструкции, могут быть начаты лишь после окончания паводка?

— Вы рассуждаете, как формалист. Впрочем, я понимаю, вы защищаете букву закона. Нам же, практикам, во мня сути дела приходится иногда поступать буквой. Мы выполняем план. В конце концов выполняем государственное задание. Это во-первых. Во-вторых, приказа — подчёркиваю: приказа — о начале полевых работ не было. Так решено на общем собрании. Решено голосованием. Единогласно. Потому что люди не хотят сидеть без дела, а хотят заработать.

— Выходит, собрание голосует за нарушение инструкции и администрация тут ни при чем?

— Не будьте формалистом, призываю вас. Разберитесь в сути.

— Хорошо, разберемся в сути. А суть такова: любые полевые работы в поймах рек на время паводка прекращаются. Кем и как определяется начало паводка?

— Гидрометслужба дает сводку вообще-то. Ну, и на глаз. Группы, работающие в поймах, сами радуют от подъема воды или обильном таянии...

#### 24 мая. 17 часов. Семен Петрущенко

Семке было двадцать лет, и он все еще рос, рос до неприличия быстро, не успевая наращивать мышцы, а оттого походил на жердочку или на Паганеля. Самый молодой и самый длинный в их группе, он чуть не половину перерос Славу Гусева, своего начальника, и очень смущался этим обстоятельством, потому что если он был вдвое длиннее Славы, то вдвое и слабее. Досада на свои физические недостатки, Семка сам себя ругал «антенной», уже тысячу раз удивившись, как это никто в группе до сих пор не догадался прозвать его этой лежащей на поверхности и такой точной кличкой. Но, удивляясь недогадливости товарищей, стыдясь своей длинноты и немощи, Семка все-таки имел и завоевания. К примеру, он очень гордился тем, что, окончив школу радистов, много зарабатывал и не боялся одиночества.

Денги ему требовались, чтобы посылать матери, — он посылал как можно больше, зная, как мать понесет корешок от извещения к соседкам, гордясь за

своего Семку, и как накопит к вечеру сластей по случаю перевода и поставит самовар, а потом станет долго глядеть на фотографию, где Семка и умерший отец сняты вместе.

Семка часто думал в тайге о матери, хотя никогда никому не говорил об этом. Здесь после шумного города было много времени для самого себя, и Семка размышляла о своих приятелях, оставшихся дома, вспоминала фильмы, книги, которые прочел.

Часто ему становилось очень грустно, непонятно даже, почему, и он вспоминал маму — морщинистое ее лицо: ей было под шестидесят, она часто жаловалась, что поздно родила Семку. Надо было раньше, но первые ее дети умирали, и она всякий раз боялась рожать. То ли оттого, что Семка был поздним ребенком и остался жить, хотя мама привыкла к тому, что дети ее умирают, то ли потому, что Семка не помнил ее молодой, а это, видимо, очень важно, когда у женщины рождается ее первый и последний ребенок, мама очень любила Семку, и он горячо, с детства чувствовал это. Ее любовь не была иступленной или горькой, какой может быть любовь матери, изувечившейся в своем материнстве, напротив, мама любила Семку как-то устало, обессиленно, но очень светло. Входя в материнский дом, Семка чувствовал, что он как бы вступает в солнечную комнату, солнечную всегда, и что этот свет не угаснет до тех пор, пока жива мать.

Семке было всего двадцать лет, его не взяли в армию из-за зрения: он носил очки. Тогда он окончил школу радистов, закалился, обливаясь холодной водой, загоняя из себя недостатки, как он выражался, характера, и устроился в геодезическую партию. Мама не была против: она осветляла каждое Семкино решение, даже если в душе не соглашалась с ним, и он оказался тут, вдали от жилья и от мамы. Первое было ему безразлично, а о матери он забыть не мог, как это часто случается с детьми, и, оставшись один, словно заблудшись в темноте, вспоминал маму, представлял ее морщинистое лицо, ее руки, ее голос.

Писать из тайги было невозможно, и Семка, пользуясь своей должностью, а также договоренностью с радистом отряда, которому, возвращаясь, выставлял мзду в стеклянной таре, отправлял маме дважды в неделю радиogramмы. Радист отряда пересылал их с попутным транспортом на телеграф, и мама, как казалось Семке, была спокойна. Деньги же он отправлял сам, вернувшись на короткий отдых в поселок, — деньги имели особый смысл, эти крупные суммы: Семка помнил, как после давней смерти отца тяжело доставались они его не очень-то грамотной, без образования маме.

Всякий раз, когда мама доставала из шкафа обновы, купленные Семке на его деньги и, в то же время показывала возросшую цифру в сберкнижке, Семка очень расстраивался, горячился, ругал мать за ненужную и глупую экономию. Мама получала теперь маленькую пенсию, деньги ей были безусловно необходимы, и Семка радовался своим большим заработкам. И очень гордился ими.

Ну, а смелость требовалась Семке исключительно по служебным соображениям. И для дальнейшего усовершенствования характера.

По долгу службы Семка часто оставался один, пока остальные уходили на съемку. Можно даже сказать, что он почти всегда оставался один и должен был к приходу группы сарганить обед, постаравшись схлопотать свежатины, а также наладить связь и получить радиоуказание от вышестоящего начальства. По расписанию Семке полагалась Славина деустволка, что и помогало ему самоутверждаться в чувстве смелости, а также охотиться.

Надо признаться, что охотиться Семка очень любил, стараясь, правда, не отходить далеко от лагеря. Однажды, когда Семка отошел подальше, он вернулся к настоящему цыганскому табору: антенна была сломана, палатка повалена, мешок с припасами разорван, а банки со сгущенкой основательно измяты. Как установили эксперты во главе с дядей Колей Симоновым, в Семкино отсутствие в лагере пошуровал медведь-шутун. Дядя Коля Симонов при этом причитал, благодарил судьбу за то, что Семка ушел подальше и не встретился с медведем, но от Славы редист получил нагоним и указание: охотиться в пределах видимости и слышимости лагеря.

Теперь Семка бродил по замкнутому кругу, имея в одном стволе дробь — для дичи, в другом «жакан» — для медведя. Шутуны, однако, больше не попадались, зато дичь Семка и вправду выучился бить довольно метко, хотя и не очень стремился к этому: зайца ли, глухаря или тетерку надо было обдирать, потрошить, палить, а делать это Семка ленился. Еда из концентратов получалась при меньших затратах труда и казалась Семке не менее вкусным и уж по крайней мере весьма оптимальным вариантом. И только Славы или дяди Коли Симонова укоры пробуждали в нем охотничью инициативу. Любовь к охоте соединялась в Семке с некоторой долей лени.

В тот раз после ухода группы Семка довольно быстро, с одного выстрела, намертво убил тетерку и, перекинув ее через плечо, пошел к лагерю.

Солнце палило прямыми, близкими лучами — вполне можно было загорать; Семка свистел во всю мощь какую-то импровизированную мелодию, сердце его колотилось от успеха и предстоящих похвал. Как всегда, когда ему удавалось добыть дичь, он представлял себя не здесь, в этом таинственном одиночестве, а дома, во дворе. Уж это наверняка все окна, появившись он с такой добычей, разом распахнулись бы, к нему набежала бы ребятня, в один присест он стал бы замечательным человеком, героем даже среди взрослых. А тут он приносил зайцев, приносит тетерок, куропаток, пару раз убивал глухарей — огромных, от плеча до земли, и это считалось вполне естественным, нормальным, обыкновенным. Лишь Орелик — Валька Орлов — иногда удивлялся, но Валька — интеллигентный человек, только что окончил институт, он еще сам новичок, а на Гусева или на дядю Колю Симонова эти охотничьи добычи никакого впечатления не производят.

Семка шел по снежной целине, раздумывая о том, что через два дня, вернувшись в поселок, он из денег, отложенных маме, возьмет, пожалуй, некоторую сумму для давно необходимой вещи. Он купит фотоаппарат, запасется пленкой, и, когда через две недели группа снова прилетит в тайгу, он снимется с добычей после первой же удачной охоты, а потом пошлет карточки домой.

Семка снова зашел, перехватил тетерку в другую руку и испуганно огогкнул.

Снег под ним податливо провалился; теряя опору, Семка замолотил ногами и очутился по пояс в ледяной воде. Он тотчас выскочил из нее, вылетел пробкой от холода и неожиданности и с удивлением обернулся. Куски снега, шурша, отваливались в бочажину, наполненную пресчаной талой водой. Семка выругался и рысью побежал к лагерю. Вода хлопала в сапогах, из ружейных стволов пролились две тонкие струйки, мокрой была и тетерка.

Оранжевое, почти прозрачное на солнце пламя костра затрепетало в сухих же мгновенно; Семка, подпрыгивая, скинул сапоги, переоделся и начал одевать тетерку, развесив на горячем солнце мокрую одежду.

В конце концов ничего страшного: ну, подумаешь, провалился в ледяную воду. Семка стал думать, как расскажет он об этом случае матери и как будет она волноваться, размахивать руками и наказывать, чтобы он был там, в тайге, среди медведей и прочих таких опасностей, поаккуратнее. В горле защекотало, Семка подумал всерьез, что жизнь жестока, разединяя близких и одиноких людей. Он опять вспомнил маму — ее руки, ее голос, ее лицо — и оборвал себя, преодолевая недостатки характера: что же это он опять раскисался, как дедочка.

В котле побулькивая, закипала вода, и Семка решил, что сегодня все будет довольно им, его удачливостью, его меткостью. Нет, что и говорить, он тут нужный все-таки человек. А вот пройдет годик-другой, поднатореет он покрепче в радиоделе, и за него еще станут драться начальники групп отрядов, партий.

Кто не знает, что настоящему редисту цены нет и что такие редисты сами выбирают, где и с кем им работать!

— Сводка Гидрометслужбы, Петр Петрович, как подтверждают свидетели, лежала на вашем столе. Отрицаете ли вы этот факт?

— Нет, тут я действительно допустил халатность. Забыл сводку вместо того, чтобы передать ее начальнику партии Цветковской. В поиме Енисея работала только одна группа, Гусева, подчиненная ей.

— Так что вы признаете?

— Признаю, хотя и не считаю это решающим фактом. В сложившейся ситуации люди Гусева, и прежде всего он сам, должны были сами искать выход.

— Они могли радировать и радировали, когда подводок уже началось.

— Если бы с самого начала Гусев правильно выбрал расположение лагеря, ничего бы не случилось. Контролировать такие действия Гусева мы не можем и не должны. Не наша это обязанность.

— Значит...

— Значит, виноват Гусев.

— Один вопрос. А как бы поступили на его месте вы?

— Выбрал бы безопасную точку.

— Это можно говорить задним, так сказать, числом. Но если бы вы знали, что рядом, в пятнадцати минутах лета, находится экспедиция, вертолеты, друзья...

— На друга надейся, а сам не плошай — так говорит народная мудрость.

24 мая. 17 часов 30 минут. Кира Цветкова

**В** двадцать восемь лет Кира никак не могла привыкнуть к тому, что ее зовут по имени-отчеству: Кира Васильевна. Вечерами, перед тем, как лечь спать, разматывая жиденькую косичку, она глядела на себя в зеркало и в эти минуты, оставаясь наедине с собой, всякий раз удивлялась своей жизни, удивлялась ее течению, которое против воли самой Кире вынесло ее вот сюда, на край земли, и поставило командовать мужчинами.

В школе тощенькая, маленькая, невзрачная Кира училась весьма средне, на троечках, которых ставились с натяжкой, допелас до десятого, мечтая о том, чтобы найти техникум или институт себе по силам и по способностям. Скажем, педагогический, чтобы стать потом учителем в первых классах: с первыми хоть и холодно, но легко в смысле науки — сложению там, вычитанию или правописанию выучить в конце концов можно.

Учась в школе, Кира только и думала о том, чтобы скорее покончить со всяческим учением, привыкнуть к будущей работе.

Учение вызывало у нее головные боли, внутреннюю опустошенность и какое-то безволие — она легко уставала, никогда не отличалась самостоятельностью, во всем подчиняясь жизнерадостным и энергичным подружкам.

Подружки же увлекли ее от пединститута совсем в другую сторону. Две самых энергичных, сильных, веселых из них поступили на геологический факультет; поддавшись уговорам, на экзамены с ними пошла и Кира и по шпаргалкам, которые перекинули ей подружки, успешно сдала вступительные. На факультете учились почти одни ребята, девушки поступать туда не решались, считая такую специальность мужской, и Кира неожиданно извлекла из этого пользу.

Ребята, полагая своим долгом опеку над немногими девушками, всячески выручали их — и на контрольных и на экзаменах, — помогали чертить, решать задачи, и Кира выплыла, успешно получила диплом и университетский ромбик, не изменяя, впрочем, за эти годы ничуть и ни в чем. Подружки ее еще на третьем курсе повыскакивали замуж, но Кирина кротость и невзрачность так и не привлекли никого: ребята предпочитали оставаться с ней хорошими товарищами, но не больше, и Кира, завидуя подружкам, вынужденным по праву материнства оставаться в городах, уехала в тайгу.

Настоящим геологом она, однако, так и не стала. Оглядев ее хрупкую и невзрачную внешность, начальство сразу определило ее в геофизический отряд, по другой, в сущности, специальности, и сразу на командную должность. Начальником группы или рядовым инженером-геодезистом назначить ее никто не рисковал — там бы пришлось отвечать и за план и за людей.

Три года Кира жила в лесном поселке. С грехом пополам освоила геодезические обсчеты и необходимую тут математику, подписывала бумаги, следила за передвижением своих групп, выполнении плана, иногда вылетала вертолетом на точки, где работали люди, но тут же, даже не ночуя, возвращалась, и все шло вроде бы своим чередом, тем более что ПэПэ — как звали сотрудников Петра Петровича Кирьянова, начальника экспедиции — хозяйничать ей не позволял и все решал сам.

Такое положение Киру устраивало; в конце концов ПэПэ знает дело куда лучше ее, и она никогда не отклонялась от четкой заданной программы: все, что ей нужно и не нужно решать, согласовывать с Кирьяновым.

Кирьянов производил на Киру гипнотизирующее впечатление.

Огромный, мускулистый, почти квадратный, с звонким, раскатистым голосом, он, казалось, был создан для того, чтобы жить в тайге и командовать людьми, работающими в тайге.

Иногда, разговаривая с Кирьяновым, Кира думала, что, случись война, его немедленно надо было сделать генералом — этот человек был военным по натуре: он командовал группами, партиями, всей экспедицией, как воинскими подразделениями, — четко, кратко, не споря и не обсуждая своих решений. Ему или подчинялись бесспорно, как на войне, или очень скоро вылетали. Вдольную «свободолюбцам» Кирьянов слал резкие, отрицательные характеристики с такими выражениями, что уехавших не очень-то брали в другие экспедиции, потому что Кирьянов числился образцовым начальником. Он всегда выполнял план, рабочие, техники, инженеры —

все получали приличные премии, и Кирьянов был незаменим.

Словом, ПэПэ Киру вполне устраивал, с таким начальством ей, существу бесхарактерному и нерешительному, жилось совсем не худо, к тому же Кирьянов проявлял к ней видимое уважение, называя Кирой Васильевной, и Кира это ценила. Она была человеком неуверенным в себе, и всякое поощрение к уверенности воспринимала чутко и благодарно.

В половине шестого 24 мая она зашла в контору начальника и, получив любезное приглашение Кирьянова сесты, дожидаясь его расположения групп на истекающие сутки.

Большинство групп успешно заканчивало месячный план, люди Гусева переброшены сегодня на новую точку в пойме Енисея. Дня через два-три они будут доставлены в поселок.

Кирьянов смотрел на Киру Васильевну улыбаясь, и, казалось, не слушал ее слов.

— Ну, что вы все про работу и про работу? — спросил он, поднимаясь и прохаживаясь по комнате. — Давайте лучше про жизнь! Вот, например, у меня завтра день рождения. Приходите! Выпьем, потанцуем?

Кира, которую всегда было легко сбить с толку, покраснела, сконфузившись, а Кирьянов подошел к ней и протянул свою огромную ручищу. Соглашаясь, Кира кивнула, красная еще больше, положила ладонь в руку ПэПэ, и тот осторожно прикрыл ее своими здоровенными, увитыми черной порослью пальцами.

— Каков порядок ваших отношений с вертолетчиками? Кому они подчиняются?

— Естественно, Аэрофлоту. У звена вертолетов, которые нас обслуживают, свое командование, они автономны.

— Ну, а на практике?

— Машины арендуем мы, деньги наши, ну и звено выполняет любые наши требования. Какой смысл им портить отношения с нами? Все ведь люди, сами понимают, в этом никакого секрета нет.

— Какова же все-таки цепочка ваших формальных отношений?

— Зарплату для простоты и из-за дальности ближайшей аэрофлотской точки пилоты получают у нас. Метеобстановку, то есть могут они лететь или нет, пилоты получают из метеоцентра, а часто определяют и сами. К машинам прикреплён наш человек, вроде экспедитора. Он и передает потребностям наши требования, почти всегда сопровождает машину, планирует рейсы.

— Кто это?

— Храбриков. Сергей Иванович.

24 мая, 19 часов. Сергей Иванович Храбриков

**С**ергею Ивановичу Храбрикову исполнилось пятьдесят два года. Он был самым пожилым человеком во всей экспедиции. По должности числился экспедитором, а фактически был ответственным за вертолеты. Мальчиком на побегушках служить было не очень почетно, особенно когда все вокруг на два-три десятка лет моложе тебя, но Сергей Иванович Храбриков старался не придавать этому никакого значения. Из дальних российских мест он, мужик себе на уме, прибыл сюда не за почетом или славой, а затем, чтобы в краях, где за работы приравнивается к двум, поскорее достичь пенсионного стажа и заработать при этом пенсию предельного размера.





И прежде в городе, где он жил и оставил теперь жену со взрослыми сыновьями ради своего предприятия, Сергей Иванович заметных должностей не занимал, был все более при должностных лицах, понавив давно, что если на должности назначают, то ведь с них и снимают. А если ты не ленив и глупо не тщеславен, то твоя личность и твои услуги всегда могут пригодиться, независимо, как говорят, от погоды и направления ветра.

Более всего Храбриков обожал должности завхозов, но здесь, в геодезической экспедиции, это место оказалось, во-первых, занятым, а во-вторых, мате-

риально уж очень ответственным — на завхозе лежала забота о десятках дорогостоящих палаток, раций, геодезических приборов — словом, о тысячах рублей, и, махнув рукой, Сергей Иванович пристроился к вертолетам — на работу более хлопотную, но имеющую свои явные преимущества.

Вертолеты арендовались у Аэрофлота исключительно для переброски групп с точки на точку; это был единственный способ передвижения в тайге даже летом, и скоро, очень скоро Храбриков сумел поставить себя так, что оказался как бы единственным и полномочным хозяином вертолетов: пилоты

подчинялись только ему; разные там сопляки мальчишки — начальники групп, партий и прочие и прочие, не говоря о рядовых инженерах и техниках; — зависели от Храбрикова Сергея Ивановича, человека с большими полномочиями и правами.

Надо, правда, сказать, что никто таких полномочий ему не давал, просто экспедитор подчинялся лично Кирьянову и уж исключительной заслугой Храбрикова было то обстоятельство, что он сосредоточил в себе часть власти и могущества начальника.

Сближение самого большого человека в поселке с самым, казалось бы, маленьким происходило очень незаметно и как бы незваночно.

Когда к Храбрикову приходила очередная группа, или что-нибудь из специалистов, или какой-нибудь начальник партии и требовал вертолет для того-то и того-то, Сергей Иванович не торопился бежать к машинам и исполнять команду, а звонил всякий раз Кирьянову и удостоверился, действительно ли такому-то или таким-то необходимо предоставить вертолет. Кирьянова поначалу эти звонки раздражали, но потом он понял, что звонит Храбриков не напрасно, а почти всякий раз стремясь то ли соединить два рейса в одно направление, то ли задерживая полет для того, чтобы одновременно закинуть продукты или вывезти больного, — словом, всячески экономит. Кирьянов обрадовался появлению такого человека: предыдущий экспедитор был добряга парень и гонял машины почем зря, нисколько не заботясь об экономии, а вертолеты стоили жуткие деньги.

Храбриков знал тысячи способов умело подыхать к начальству, пусть поначалу без видимой пользы для себя лично, это ничего не страшно, хорошее экономение скажется в нужную минуту, и К. Кирьянов он применил способ не самый уж и мудреный. Ежемесячно экономя порядочные деньги на вертолетах, он как-то пожаловался Кирьянову, когда они были вдвоем, что тяжеловет ему, пожилому человеку, в Сибири почти без выдохных, без старых, годами выработанных привычек.

— Каких привычек? — спросил Кирьянов скорее механически, чем из интереса.

— Да вот в России-то рыбалил каждое воскресенье с сынами, — робко сказал Храбриков, жмурясь на весеннее солнце. — А тут рыбищи этой гребн — не хочу, а ведь и некогда.

— Вот те и некогда! Бери снасть какую хочешь, — сказал Кирьянов, — я разрешаю, да и рыбачь с тобой.

— Эх, Петр Петрович, — прокряхтел Храбриков, — какая там снасть, не понимаю ли меня, глушанку бы ее хорошенько да и обеспечить всех, кого надобно. А рыба-то здесь, что там говорить, и стерлядка, и таймень, и краснорыбца.

Кирьянов был охотником, рыбалку не признавал, как это часто бывает среди охотников, но и не о рыбалке шла речь, — он понял сразу, а ответил дипломатично:

— Чего ж тебе надо?

— Толу маюсть да вертолет.

Кирьянов внимательно оглядел экспедитора. Храбриков был худощав, но жилист, маленькие серые глаза его, утопшие среди припухших век, выражали спокойствие и рассудительность и смотрели прямо на Кирьянова, не мигая. «Что ж, — ухмыльнулся про себя Кирьянов, — на этого, кажется, положиться можно: хитер мужик, толку не подведет, потому что играет на себя, на свою пользу, заодно и мне удружить желает, чего ж я должен упрямиться!» И сказал Храбрикову:

— Тол я тебе выпишу, а вертолеты в твоих руках.

Храбриков не кивнул, еле заметно прищурил глаза, ничего не сказав, а через сутки, в сумерки, когда Кирьянов окончил служебные дела и хотел было выйти прогуляться, появился на пороге с большой белявой корзиной, плотно укутанной холстиной. Деловито прикрыв дверь, Храбриков трясичку откинул, и Кирьянов увидел рыбу, прекрасную рыбу, уложенную ровными рядами.

— Экий ты мастак! — удивился Кирьянов, радуясь в душе, что не имеет к этой рыбе никакого отношения: за такое дело его по головке не погладит, теперь ведь в самой глухомани найдутся прокуроры, — а сам сказал: — Куда ж ее столько?

— Полагаю, Петр Петрович, — снимая картуз и отирая пот с лысины, ответил Храбриков, — ущицы я вам и без того ставлю, отдавать же в столовую рискованно, так как дело незаконное, даже, можно сказать, подсудное. Потому предлагаю, чтобы дали вы мне адресок вашей семейки, письмецо и разрешение — устное, конечно, слетать до станции и отправить корзину с поездом к вам домой.

— Ну, это ты загнул, — удивился Кирьянов, — до станции без малого триста километров да обратно триста.

— Зато рыбкой своих обеспечите, — улыбнулся Храбриков, — а насчет километров не беспокойтесь, у нас большая экономия.

Кирьянов еще раз пригляделся к этому щуплому мужичонке, лысому, обросшему щетиной, и ему жаль стало его, жаль стало неосвоенную преданность этого человека, хорошего, в общем-то, работника, его хлопоты, его всю эту доброжелательную суету, и он ответил:

— Ну, как знаешь. Хозяйничай сам, раз сэкономил, но меня в это не вешивай.

— Хорошо, — засуетился Храбриков, — будет сделано и так, Петр Петрович. — Но письмо даймой и адрес жены у Кирьянова забрал, исчез в полутьме.

Еще через день Кирьянов получил от жены восторженную, полную намеков на какую-то секретность телеграмму, усмехнулся, одобрил Храбрикова, его четкую работу, а главное, одобрил экспедитора за то, что тот как бы выключил его, Кирьянова, из этого дела, все сделал без него. Это было свидетельством действительной преданности, а преданность, считал Кирьянов, надо ценить, и полюбился на Сергея Ивановича.

Теперь они стали как бы друзьями, не переходя, правда, границу: Сергей Иванович обращался к Кирьянову на «вы», Кирьянов говорил Храбрикову «ты», несмотря на разницу в возрасте, — тут были свои правила и свои привычки, которым оба свято и искренне верили.

Рыбные посылки шли теперь регулярно, и Кирьянов по-прежнему не имел к ним никакого отношения. Больше того, он теперь узнавал о них только из телеграмм или писем жены. К таким радикальным мерам его вынудил все тот же Храбриков, который едва не вмазал его в нечистоплотную историю, да, слава богу, он вовремя поставил его на место.

Ту историю, как выражался Кирьянов, Сергей Иванович тоже прекрасно помнил, хотя ничего нечистоплотного в ней не видел, даже скорей наоборот, он проявил по отношению к начальнику предельную честность и искренность.

Нечистоплотностью, видите ли, Кирьянов объявил тот первый случай с рыбой, когда Сергей Иванович переправлял посылку на станцию. Заплатил проводнику полсотни, он наказал доставить одну корзину семье Кирьянова, а остальные три, о которых Кирьянов не знал, но догадывался мог, верному человеку, старому приятелю Храбрикова. Выручку поделили на

троих, и экспедитор искренне предложил Кириянову его долю.

Тот покраснел, заорал, стих, правда, быстро, но от денег наотрез отказался, объяснив это нечистоплотным занятием.

Ну, бог с ним, Сергей Иванович не больно-то огорчился: теперь две трети шли ему.

В девятнадцать часов 24-го, закончив свои дела, Храбриков пришел в поселковую Сбербанка, чтобы положить полученные из города телеграфные переводы две сотни.

Копейка к копейке рубль бережет. Все эти сотни, по мнению Храбрикова, были залогом будущего счастливого пенсионерства.

— Итак, анализируя расстановку сил накануне происшествия, вы считаете, что Гусев был обязан страховать себя выбором другой, надежной точки для лагеря? Ладно. Будем полагать, вы правы, обстоятельства могут сложиться по-всякому. Но в конкретной истории? Исключительных обстоятельств не было. Гусев радировал вовремя, более чем вовремя: и у него и у вас был громадный запас времени. И все-таки вы не помогли.

— Так сказать нельзя. Помогли, но с опозданием.

— Слушайте, Петр Петрович, а вам не страшно?

— Не пугайте меня, я пуганый!

— Я не пугаю. Я спрашиваю: вам не страшно вот так говорить? Словно речь идет... ну, о невыполненном плане, что ли? Или еще о каком-нибудь недостатке, который можно устранить, исправить?

— Что это вы мне морали читаете? Ваше дело — вести следствие!..

— Ну, хорошо, Петр Петрович. Один вопрос не для протокола. За что вас зовут губернатором?

— Это имеет значение для следствия?

— Нет. Лично для меня.

— Когда будите прокурором, начальником следственного отдела или как там еще, и вас за глаза как-нибудь прозовут.

— Вы считаете это уделом любого руководителя? Каждый, кому дана власть, автоматически получает и недоброжелателей. Если он со всеми будет падать, значит, никудышный руководитель.

— Мысль не новая, хотя и справедливая. Но всегда ли справедлива? Всеобща ли она?

24 мая. 19 часов 10 минут. Петр Петрович Кириянов

**П**Эз, как звали за глаза Петра Петровича Кириянова, гордился своим ростом — 192 сантиметра и весом — 100 килограммов. Человек далеко не глупый, он, бесспорно, понимал, что физические данные не играют важной роли в том деле, которое он выполняет, и все-таки скидывал со счетов данное ему природой не собирався.

В душе заурядный актер, в жизни он играл иногда довольно удачно. Используя подходящий момент на совещании или в резком разговоре с человеком, он сначала как бы сникал, ажимал в стол мочигуе бицены, стараясь казаться незаметным, невзрачным, потом резко распрямлялся, вскакивал, повисая над человеком или над людьми громадой своей стокилограммовой туши, приглушав в противовес внешним действиям голос, который от этого рокотал внятно, с железным звоном, и действовал тем на окружающих за редким исключением безотказно.

Умение использовать физические данные было заложено в Кириянове, видимо, от рождения. В послевоенной мужской школе, где культ силы считался как бы узаконенным, он был бесценным и непререкаемым авторитетом. Сам он, правда, ужасно не лю-

бил драк, питая отвращение к заранее известной слабости противника, но уж так выходило, что вокруг него, как возле баррикады, вечно происходили какие-то сражения, и он надеялся правыми третейского судьи, беря под свою опеку то одних, то других. Возле Кириянова всегда крутилась какая-то компания, лыстя ему, предлагая покурить. Одаренный живым умом, он отвергал лесть, справедливо полагая, что сила ему дана от рождения и сам он тут ни при чем. О Кириянове от курава как проявления почитания его, «Кирия» был почитаем еще более; беря чью-нибудь сторону, он никогда не допускал ее к себе вплотную, оставаясь независимым.

Классе в седьмом случился, правда, конфликт из-за этой независимости. Она возмущала одну из школьных компаний, которую он тогда поддерживал, парни решили приручить эту стоеворую, как они выразились, дубину и вечером в подворотне устроили «Кири» темную — их было человек десять, — но Петькина сила превзошла расчеты.

Он раскидал эту компанию. Троем или четверым насадил фингалы прямо там, в подворотне, делая это основательно, лупя противника затылком о забор, давал «леща» по носу, некутировал в подбородок и доводил тем самым врага до полного изнеможения.

С остальными Кириянов рассчитался наутро, прямо в школе, жестоко и открыто. Он не стал никого караулить в подворотнях, как сделали его бывшие приятели, он вошел в класс, сунул в парту сумку и отправился в коридор.

Начал он с одного девятиклассника. Звав его за горло, на глазах у онемевшего коридора Кириянов поставил врага на колени и двумя сильнейшими ударами свалил его на пол. Девятиклассник валялся, забрызганный собственной кровью, а «Кирия» с невозмутимым, железным лицом мордовал следующего, хотя тот и отпирался, что он был вчера в подворотне, и ревел, и умолял его не трогать. Петька верил его словам, но тем не менее поступил так же, как с девятиклассником — для профилактики и по инерции.

Избиение продолжалось до самого звонка, но Кириянов не успокоился, и тогда с застывшим, даже равнодушным лицом он вошел в параллельный седьмой, где шел урок черчения, вызвал в коридор последнего из врагов, загнал в угол и свалил на пол.

Школа как бы задыхнулась от происшедшего. Учитель черчения побжал к директору, немедленно был созван педсовет, и многие классы бесновались, освобожденные от учителей. Кириянова позвали в директорский кабинет, он вошел, обматов правую руку, разбитую о зубы противников, платком. Лицо директора было бледным — такой жестокости и такой наглости даже в мужской школе никогда не бывало, но тем не менее педсовет продолжался минуты три, не больше.

Кириянов не стал молчать, не стал отрицать ничего из содеянного, он просто рассказал все, как было: и про вчерашнюю подворотню и про ночную драку, когда десятеро было против одного. Директор подергал губами, но ничего не сказал, отправив его в класс. Педсовет не принял никакого решения: по существу, Кириянов был прав, тем более что никогда ранее в подобных драках не замечался, и если уж этот увальня устроил столь серьезную расправу, значит, он был прав. Директор решил поддержать обиженного Кириянова, дабы вообще приостановить драки этим поучительным примером. К тому же избитые противники «Кирия» после вызова к директору и допросов с пристрастием подтвердили вчерашнюю «темную».

Кириянов после этого стал в школе олимпийским богом. На его независимость никто никогда не пося-

гал, а сам «Киря» сделал важный для себя вывод: ни за кого не заступаться, никого не поддерживать, кроме себя.

Как ни странно, оказался прав и директор: драки в школе резко сократились. Откровенная жестокость Кирьянова, бывшая объективно актом мести, отрезвила некоторые азартные головы. Но сам он вдруг уверовал в свою беспредельную безнаказанность.

С тех пор прошло много лет, и ни разу больше Кирьянов не дрался, даже в энергичные студенческие годы. Со временем он заматерел, стал мощней, бицепсы его выпирали стальными буграми в противовес рано лысеющей голове, он отпустил колючую бороду и выучился громкогласно, несколько театрально хохотать, так что стоило ему лишь появиться и громко, рычаще захохотать, как драка словно бы испарялась, люди враз успокаивались и потихоньку расходились.

В студенческие годы Кирьянов любил бродить по городу с красной повязкой на рукаве, улицы, где он дежурил, были всегда образцовыми в смысле общественного порядка, его, как своеобразный символ бригадила, всегда усаживали в президиумы милитарских и прочих общественных заседаний, щедро одаряли грамотами и натурными часами, и как-то незаметно получилось, что Кирьянов — замечательный активист, за которым укрепилась слава хорошего, толкового и нужного человека.

Окончив институт, Кирьянов сразу стал начальником группы, работал легко, играючи, беззаботно переносил тяготы полевой жизни, потом быстро стал любимцем среди начальников партий, а когда ушел в управление бывший начальник экспедиции, сомнений ни у кого не было: на его место назначили Кирьянова.

Продолжая актерствовать, «Киря», который стал теперь называться ПЭЭ, умел вести себя в управлении, изображал там эталон несотесанного, но добродушного уальсы, щедро отапливал своим шеем окорока колючей медвежатины, кули брусники, мешки кедровой шишки, всякий раз поражая воображение бывших геодезистов, а нынешних горжан какой-нибудь раскисший новинкой. Например, настойкой из сырого кедрового ореха, напоминавшей рижский балзам, драгоценной иконкой из старообрядческого скита, старой книгой или осетром в человеческий рост, которого вез, возвращаясь в управление, самолетом, специально милым друзьям, кои ждут не дождутся, когда чудакоты Петька Кирьянов удивит еще какой-нибудь штучиной.

Впрочем, было бы несправедливо обвинять его в игре корыстной. Он делал это и бескорыстно. Он играл перед людьми, от которых ничего не хотел и которые даже были обязаны ему. Тот же Храбников. Тут игра шла как бы за текстом. С этой пугливой Цветковой Кирьянов играл для, так сказать, самоуважения, отыскивая в своей одременившейся душе элементы галантности, хотя было бы искреннейшей душой сразу послать к черту эту бездарную, бестолковую бабу.

Но так ПЭЭ поступить не мог. От такого человека, как он, порой ждут и несправедливой справедливости, снисхождения, доброты. Так что пусть эта никчемная, в сущности, доброта упадет лучше на нее, жалконькое и неведное существо, которое будет благодарно и счастливо.

После ухода Кирьянов Цветковой Кирьянов набил «золотым руном» трубку, закурил, подвинул маленькое настольное зеркальце, чтобы увидеть себя во всем великолепии — черная трубка с золотым ободком, привезенная из-за границы, жесткая серая борода,

стальные, светлые глаза, небрежно расстегнутая удобная фланелевая рубаша.

Он улыбнулся себе одними глазами, прошел в угол, где хранились охотничьи принадлежности, снял с гвоздя многозарядный карабин, подкинул его легко, одной рукой...

Завтра день рождения, черт побери, тридцать шесть лет, и к праздничному столу придется кончить лоса.

Он задумался, выпуская струйки сизого дыма. Тридцать шесть — это, конечно, много, но ведь, как говорится, жизнь определяется не по сроку, который прожит, а по тому, сколько еще предстоит пожить.

В тридцать шесть командовать экспедицией — это, пожалуй, даже несколько послоннее, чем, скажем, защитить докторскую. Там, в науке, ты один на один с самим собой, тут же все послоннее. Ты управляешь людьми, делом. И каким делом!

— Как вы понимаете ответственность руководителя?

— Я понимаю ответственность так: каждый отвечает за свое дело. В армии, к примеру, командир полка отвечает за успех боевых действий своей части. За то, чтобы солдат был сыт, например, отвечает старшина. За то, чтобы солдат был готов к бою, — командир отделения. За его дух отвечает замполит.

— В армии свои порядки. Да и то, я думаю, вы неправы. Хороший командир полка больше, чем кто бы то ни было, заботится о том, чтобы солдат был сыт и всегда готов к бою.

— Нет исключений. Он может об этом позабыться, но не обязан. Не путайте обязанности с заботливостью. Ведь мы же говорим об ответственности. Отвечают за выполнение обязанностей, а не за заботливость или отсутствие оной. То, что для меня будет заботливостью, для подчиненного это руководствительная — обыкновенная обязанность. Так пусть он ее и выполняет.

— И такая программа у вас всегда? Или только в ситуациях, подобных этой?

— Всегда.

— Что ж, тем это страшней, мне кажется.

24 мая. 19 часов 30 минут. Слава Гусев.

Он отодвинул котелок, бросил в него дюралевую ложку и отвалился на рюкзак.

— Молоточек, Семка! Влия новые силы в усталый организм!

— Она, дичина-то! — поддержал дядя Коля Симонов, — кровь обновляет и сил придает. Ранее древние люди, говорят, аж прямо так дичью кровь пили и материли жуток.

— Ну вот, опять за свое, — буркнул Орелик, — все о броехе да о броехе. Похвалили бы лучше охотника, вон он ради вас до сих пор обсохнут не может.

— Обсохну! — лениво вякнул Семка, так же, как и начальник, откинувшись в сытости на мешок.

Гусев обвел умиротворенным взглядом славу свою геодезическую братию и подумал, что ему все-таки везет на парней. Семка — молоток, добрый, безотказный, золотой человек для всяких экспедиций; дядя Коля Симонов — просто лошадь, вытянет любой груз и поможет толково, без шума и крика. Да что лошади, не в том дело — душа-человек. Дура набитая эта его Кланька, что так себя повела.

Орелик — новый человек и не ахти какой, пока не обкатался, работник, хотя и с сомнением, но это городское, институтское, оботрется. Зато во всем остальном Валька вроде бы как порядя свежего воздуха: и дядя Коля Симонов, и Семка, и он сам

уже друг дружке известны давно, все вроде успели рассказать о себе, а Валька еще не выговорился, нет-нет да бухнет такое, что глаза на лоб. Или расскажет что-нибудь интересное. Или вот даже стихи начинет читать.

Уважал Гусев, когда Орелик стихи читает, особенно про любовь или про расставания всякие.

Сам он был мужиком грубоватым, отменным матерщинником — как же без того в тайге, — хотя по-теловчески добрым и неиспорченным. Себя Гусев в глубине души полагал малоэгоистичным; окончив лишь техникум, он не набрался городской культуры; город был ему в тягость и теперь, потому что родился он и всю юность прожил в лесном селении, в семье охотника-отца. Но сейчас от города скрыться было невозможно: охотник-отец помер, а вся новая родня — теща, тесть, жена, трое ребят — были народом городским от начала и до конца, привыкшим к водопроводам, ваннам и телевизорам. Так что, люба жену и детей, он тосковал, однако, целую зиму, до поля, пока не начинался сезон экспедиций и пока снова он не оказывался в родной стихии.

Зимы же для Гусева были прямо мукой. Ему приходилось писать бесчисленные отчеты; ненавидевший бумагу и перо, которое не очень-то ему подчинялось, он слагал слова в неуклюжие, малотолковые объяснения и оттого считался человеком слегка, что ли, туповатым. Дружить с работниками управления он не умел, распивать после стопку-другую уклонялся, торопясь, с одной стороны, домой, а с другой, экономя: из шестерых, кроме него, в семье работала только жена, но заработок у нее был скудный, так как служила она бухгалтером. Словом, с деньгой было всегда напряженно, и в экспедиции на него иногда обижались ребята за то, что он сам, похожий на вола, ищачи до изнеможения, перевыполняя план для дополнительного заработка.

Обижались, впрочем, недолго, а в этом составе только Семка, да иногда врал Орелик, глядящий на его действия, ну, что ли, по-институтски.

Однажды Гусев спросил его прямо, чего он хочет. Орелик обиделся, сказал, пусть, мол, не думает, он не подписывает, просто хочет иметь собственное решение по любому поводу. Слава повздыхал про себя, подумал и плюнул: ну, пусть имеет свое решение, разве можно этим пренебрегать? Ведь он хороший парень, Орелик, и ему расти и расти, а не вечно ходить за спиной у какого-то Гусева.

Слава поглядел в темнеющее весеннее небо, похожее здесь, у Енисея, даже в мае на осколок синего льда, подбросил в костер сушняк и попросил Орелика:

— Ну, расскажи чего-нибудь. Иль почитай.

Тот послушно полез в рюкзаки, вытащил обтрепанную книжечку, сказал:

— Слушайте. Это я вам еще не читал.

Костер сухо и кратко щелкнул угольями, Валька помолчал чуточку для блесну и стал читать обыкновенным голосом, — не как по радио, не громко, не нарывается, не выделывается. Гусеву очень нравилось, как он читал стихи, хотя сам Гусев стихов никогда не покупал и не читал в журналах, предпочитая романы да потопоте, чтоб уж заплакать, так и начитался. Вкус к стихам появился у Гусева совсем недавно, с тех пор, как в группу пришел Орелик. Он сразу начал читать стихи. Сначала Гусев не обращал внимания, что он там болмочет, потом стал прислушиваться, и ему понравилось, потому что всякий раз стихи эти вызывали у него странные чувства.

Костер потрескивал в тишине, дядя Коля Симонов, прикрыв глаза, дремал, Семка, не отрываясь, глядел

на Орелика, а Гусев тщательно разглядывал свои кряжистые, бесчувственные от мозолей ладони, пытаясь скрыть стренное смущение, вызываемое в нем складными словами.

Прошло с тех пор счастливых дней, как в небе звезд, наверное. Была любимой твоей, женою стала верною.

Своей законной чередой проходит зны с веснами... Мы старше сделались с тобой, а дети стали взрослыми.

Уж, видно, так заведено, и не о чем печальтись. А счастье... Выхило, что оно на этом не кончается. И не теряет высоты, заботами замучено...

«Дьявол,— подумал Гусев,— слова ведь простые, а как режет этот Валька, черт его дерь!» Стихи не просто волновали его, а как бы стыдили, что ли. Никогда не мог он подумать даже о таком незнакомом, потайном, а тут сказано, да еще и гладко. И правильно в общем-то.

Ах, ничего не знаешь ты, и может, это к лучшему. Последний луч в окне погас, полиповели здания... Ты и не знаешь, что сейчас у нас с тобой свидание.

Что губы теплые твои сейчас у сердца моего и те слова — слова любви — опять воскресли заново.

И пахнет вилая трава, от инея хрустальная, и различима едва, звезда блесит печальная.

И лист слетает на пальто, и фонари качаются...

Благодарю тебя за то, что это не кончается.

Валька умолял, а Гусев сказал себе, что эти стихи не про него, — здания, фонари, какие тут фонари и здания, тут тайга, но тем себя не успокоил.

Помимо него, помимо его воли, выплыл осенний день его жизни, городской сквер, укрытый медью берез, мокрые скамейки, газета, постеленная для сухости на одной из них, и зная, что никогда ему запоминание это не пригодится, подумал Гусев, — как это там? «Благодарю тебя за то, что это не кончается», — и сплунул, застыдившись и злясь на себя, — «Вот еще выдумал!»

Мысль о Ксене пробудила в нем тайную радость, какое-то ликование, тепло. Он улынулся робкой, беззащитной улыбкой. «Надо бы запомнить стихи», — сердясь на себя и зная, что никогда ему запоминание это не пригодится, подумал Гусев, — как это там? «Благодарю тебя за то, что это не кончается», — и сплунул, застыдившись и злясь на себя, — «Вот еще выдумал!»

— Какими средствами безопасности обеспечивается каждая группа?

— Прежде всего я отношу к ним связь, радио. Затем надвину лодку.

— Как вы знаете, ее у Гусева не было.

— Знаю, но это не моя личная вина.

— Кто же тут виноват персонльно?

— Прежде всего сам Гусев. Он был обязан позаботиться о лодке.

— Вы же теперь знаете, он заболел. И не только он. Заболела и Цветкова.

— Что же махать кулаками после драки?  
 — Пожалуй, все-таки во время драки.  
 — Нет, я считаю, что в первую очередь виноват Гусев. А уж потом Цветкова, которая не проверила, как выполнено ее указание.  
 — И в третью — Храбриков.  
 — Его винить нельзя. Простой исполнитель. Винтик. Мог и забыть, хлопот и обязанностей у него много рот. К тому же это очень порядочный человек.  
 — Оченъ?  
 — Вы иронизируете?  
 — Нет, нет.  
 — Да, очень исполнительный, порядочный человек и прекрасный работник, он на своем незаметном месте сэкономил тысячи рублей.  
 — Так вернемся к средствам безопасности.  
 — Ну, конечно. Значит, рация, лодка, ракета. Ракетница, естественно. Ракеты — красивые, чтобы было заметнее.

24 мая. 19 часов 40 минут. Валентин Орлов

«**В**от прошел еще один день, и я пишу тебе дальше. Мое письмо походит, кажется, на длинную и бессвязную песню, помнишь, как дорога в «Степи» у Чехова? Но что делать? Можно было бы посылать его по частям, всякий раз, как за нами приходит вертолет, чтобы перебросить на новую точку, но конвертов у меня нет, и я не хочу рисковать, не хочу даже думать, что Храбриков, — есть тут один липкий тип, который приставлен к вертолетам, — будет совать свой нос в мои к тебе письма. Лучшее уж отправлю сам, когда буду в поселке, через почту, все как полагается.

В общем, так, Аленька. Живем мы тут не ахти как весело. Скучаем без цивилизации, без людей. Я по тебе скучаю, Гусев — по своей жене да ребяташкам, Семка, радист наш, зеленый пока парнишка, по дому, кажется, скучает, хотя и не говорит, а дядя Коля Симонов по жене своей Кланьке, которую клянет и к которой обещает не возвращаться. Однако, я думаю, вернется, потому что любит ее, любит, несмотря ни на что, и без Шурика, сына своего, жить не может.

Разный народ у нас тут собрался, разноцветный, можно сказать, и по возрасту и по жизни, а все-таки только тут я узнал настоящее товарищество.

Не знаю, Аленька, как дальше будет, как повернется жизнь, но нравится мне мое нынешнее бытие. Еще в институте я заметил: когда выучили что-нибудь здорово, разберешься как следует, и ребята к тебе идут, словно к спелу, за разъяснениями, чувствуешь себя хорошо, уверен в себе, собой доволен. Теперь такое состояние у меня постоянно. Каждый вечер, когда сидим у костра после дневной жуткой, изнурительной гонки, чувствуешь себя человеком, хорошо как-то, в душе музыка играет.

Еще вот я тебе что скажу. Человеку очень важно одиночество. Не такое одиночество, когда ты совсем один, а вот такое, как у нас. Каждый по кому-то скучает, каждый здесь одинок, и это одиночество нас сблизает, соединяет в свой мужской коллектив. Можно, конечно, опуститься в мужской коллективе, тут важен, так сказать, основной дух и главный человек. Наш главный человек — Слава Гусев; наш основной, обаятельный дух — вот это скучание по близким, и одиночество наше, если хочешь, нас облагораживает.

Я часто думаю: почему так? Нас всего четверо, нас никто не контролирует, на нас никто не глядит. Что же движет нами, что заставляет не волноваться, честно вкалывать, вкалывать от души, помогать друг другу, заботиться, как заботились сегодня обо мне Симонов и Гусев, не пуская вперед, ненавязчиво, скрыто,

как бы стесняясь, заботились; что Семку заставляет встречать нас с работы, словно родителей, что ли, дикой тунгусской пляской, криками, а то и пальбой. (Это он, когда космонавты летали, палил в их честь, а потом, когда мы первое место за апрель получили.)

Нет, ты не думай, Аленька, что обстановка у нас дистиллированная. Слава Гусев свои мысли, особенно в маршруте, выражает чаще всего в бранных словах, но я к этому привык, к тому же сие отнюдь не говорит о его испорченности или порочности. Просто он вот такой — и все тут. Но начини я стихи, к примеру, читать, Гусев и слова плохого не обронит и, наоборот, на дядю Колю Симонова цыкает, если тот как-нибудь неловко выразится.

Ни нежности, ни внешней заботы никто у нас, упаси бог, друг к другу не проявляет, наоборот, скорее ругнется лишней разок, но в середине-то — я это очень хорошо чувю — спаялись мы в плотный монолит, и, случись так, чтоб нам пришлось разойтись, разжаться, разлететься, каждый долго тосковать о других станет, потому, как говорил кто-то из великих: «Нет уз святое товарищества», — и товарищество это, вот поди ж ты, обосновалось у нас, таких разных людей.

Я понимаю, конечно, все поверяется делом, все испытывается бедой, и настоящую цену друг другу мы поймем, когда — не дай бог! — случится что-нибудь с нами. Но чувствую, что и в испытании, коли придется, все у нас будет нормально. Не больно-то силен я, прямо признаюсь, хотя и матерею, крепкую у себя на глазах; хлипко довольно Семка, оттого и не берет его в грудные маршруты Слава Гусев, заставлял кашеварить, поддерживал связь и сторожил лагерь; зато дядя Коля Симонов силен, и Слава Гусев тоже, и оттого, что мы не каждый поодиночке, а все вместе, и мы с Семкой сильней и надежней какемся. И, в общем, знаешь ли, так оно и есть. Семка вон охотится у нас научился, прямо профессионал, хотя он очкарик и по зрению в армию не пошел. И с рацией работает исправно.

Видишь, Аленька, какое у меня длинное и путаное послание. Утром писал — Славу Гусева слегка осуждал, себя высоко ставил, а к вечеру — наоборот. Но, ей-богу, непостоянство мое не от болтливости и не от неуверенности в себе. Просто, видно, жизнь сложнее, чем мы хотим ее представить, и на каждое дело, на каждого человека может быть сто точек зрения. Все будет алогично, если эти точки отрывает друг от друга. А если объединять, то и получится искомое — жизнь, сложная, многоликая и хорошая.

Хорошая, Аленька, хороша!»

— Сколько ракет положено иметь группе?

— Нормы нет. Я, когда был в положении Гусева, брал два-три десятка.

— У них оказалось девять.

— Нет виднее. Это, хоть и косвенно, говорит о начальнике группы. Мог, кажется, позаботиться. Это-то уж зависит только от него.

— Я проверял. Завхоз отказался выдать больше десятка.

— Этого не может быть!

— Было. Завхоз ссылался на ваш приказ об экономии любимых материальных средств.

— Но не сигнальных ракет!

— Это в приказе не оговаривалось. Вы требовали экономить все и на всем.

— Не для себя, для государства. И потом, я старался, чтобы было хорошо людям. За экономию ведь нам, кроме всего прочего, полагается премия.

— Хорошо. Пока оставим это. Итак, ракет было девять. Одна найдена у Симонова в кармане. Она не пригодилась. Ракеты им не помогли.

24 мая. 20 часов. Николай Симонов.

**К** вечеру Николаю полегало. И то уж не раз он замечал: как намолотился за день, наматывешь поспину, ноги, руки, всего себя — сразу легче становится. Зуд рабочий голову утишает, мысль сбивает. Думаешь уже о том же самом совсем иначе, проще и спокойней. А когда еще полопаешь от пуга диночки опять же, глядишь, и загнал в себя на неделю свою хворь. Живи, знай себе, не ковыряй болячку, слушай сквозь дрему, как Валька стихотворение читает, Семка балагурит, Слава Гусев сопит, про план соображает, про ускорение работ или про зарботок.

Нет, слава богу, повезло ему, Николаю Симонову. Он тут, среди ребятешек этих, как в санатории, душа отдыхает от тягостей, от грязного духа, который в заключении, хоть не хошь, а имеется. Да уж и то, кто тюрьму себе выбирает? От сумы да от тюрьмы, говорят, не откажешься.

Вот сколько, думал про себя Николай Симонов, сколько ни прикидывал, неспешно перебирал свою нескладную жизнь, три только момента и было у него счастливых: когда с Кланькой гулял и не лаялись они еще, когда Шурик родился да вот теперь, после заключения, в партии этой.

Работал он за проволочкой зверем, все мимо ушей и глаз пропускать, только бы скорей на волю выйти, исправить свою промашку страшную, а в голове все свербило: как он станет после тюрьмы, ну как людям в глаза подглядит? Ведь скажет только в любом месте: из заключения я, отсюда отбывал — так тут хоть как ни объясняй, за что и каким случаем туда попал, все в сторону шархаться станут.

Так оно и шло.

Освободившись, ходил по разным конторам, наминался. Как добирался до того, что идет из заключения, на него будто со страхом глядели, мемекали, говорили, не требуется, что объяснение у входа висит: требуется, требуется... И не искал Николай Симонов ничего такого особенного — лишь бы заработок на пропитание и на обмундирование штатское да еще общежитие.

Ах, общежитие, пропади оно пропадом! Приняли-таки все же на одну новостройку, поместил комendant в общежитие — комната большая, на девять человек, все молодые парняги, в сыны его годятся, а нет-таки узнали, что он бывший эжк, напaskудили. Объяснили, будто бы пропал у одного парня костюм ненадеванный, польский, за сто тридцать рублей. Поглядел на них Симонов — те в сторонке сидели, пили перцовую, его не приглашали, — понял, какую шутку они учинить хотят, плюнул в горестях, поднял из-под койки свой мешок, выданный при освобождении, натянул телогрейку, нахлобучил картуз, сказал им на выходе:

— Ну, попробуйте простить друг друга за этот факт, за это пaskудство. Объяснять вам не стану, скажу, однако, что сидел не за воровство, а за то, что задался машиной человека. И не вам меня корить. А чтоб не замарались об меня ваши чистые хари, ухажу.

И хлопнул дверью.

Который-то из них бежал потом по коридору, хватал за рукав, приговаривал: «Погоди, дядька, ну бывает, ну сдурю». Но он рукав выхватил: сбывался его опаска, сторонились его люди, — и ушел в дождливую непогоду, неизвестно куда и к кому.

Ночевал на вокзале, доставлялся розовоцеки ми-

лиционером в отделение, на проверку подозрительности, но другим, пожилым, был отпущен с советом побыстрей вернуться домой.

Эх, домой, да кабы мог он вернуться домой, как бы побегал к кассе за билетом на выданные при освобождении небольшие рубли, как бы бежал потом к своему дому, в дальнем краю улицы маленького городка!

Но не мог, не мог, никак не мог Николай Симонов домой вернуться...

С Кланькой жизнь у них шла ровная, трясущая — ровно ехали на худой телеге по колдобистой дороге. Поздно он женился, в годах уж, так вышло, а Кланька молодая еще была, не обкаталась — не награлась, молодых мужиков глазами мимо себя не пропускала. Когда Шурик родился, утихла вроде, но сын подросток, опять за свое: ты же такой да не ждакий, другое, мол, при галстуках и книжки читают, про кино судят, а от тебя слова ласкового не дожидешься. Так-то оно так, не мастак Николай был на рассуждения культурные и на прочие такие дела, шофером, считал, родился, шофером и помрет, главное бы машину беречь да в аварию не попасть.

В то утро с Кланькой схватились, — опять она свои требования к нему, — весь день ездил, зубы сжав, руки тряслись от обиды, от несправедливости ее злой, бабьей. Под конец смены к «гастроному» подъехал, взял бутылку, чтоб, машину поставив, распит, забиться, и еще бутылку пива заодно, приехал в гараж, ободрал пивную пробку о дверцу, не вылезая из кабины, выпил, вынул ключи, собрался выйти, а тут диспетчер Семина. Так и так, мол, Николай вырывать базу надо, срочный груз со станции вывезти требуется, заказчик рвет и мечет, потому как за простой вагонов штраф берут.

Облокачился он тогда, помнится, о дверцу, подмал-подмал и согласился, забыв о пиве. Про Кланьку все соображал: к чему, считал, домой торопиться, если ты там постылый, ненужный, чужой.

Завел машину, выехал, а у самой станции выскочил под колесо ребяتنю, вихрастый такой, бело-брысы, на Шурика смахивал. Рульнул тогда Николай резко, но не рассчитал, улица узка была, наехал на человека. Пожилый был мужчина, в парусиновых штанах, с потрепанным портфельчиком, много лет, видно, носил.

Николай ручную тормоз выжал, на руль голову склонил и ничего больше не видел. Как «Скорая» мужичку того увезла, как толпа собралась, как милиция приехала. Мальчонка сгинул, словно в тартарары провалился, ладно еще нашлись двое прохожих, дали показания, что рулил он для спасения ребенка, а то бы еще хуже было.

Да уж куда хуже, мужчина с портфельчиком в больнице помер, — портфельчик этот и парусиновые, не новые штаны до сих пор ему мнятся, — а милиция признала, что шофер был выпивши, — провели обследование — и бутылку под сиденьем нашли.

Про суд Николай вспомнил ничего толком не мог, понял только, что помогил ему те двое прохожих, да еще хорошо помнил Кланьку: она, сидя в зале, редела, как корова, и казала ему кулак.

Но и это мог утишить Николай Симонов, мог спрятать, забыть — то же, что случилось дальше, забыть было бы позором.

В заключении работал, как дьявол, пяталку ему скостили до трех лет, а то, что Кланька надела, скостили никто не мог.

Сперва он писал ей краткие, кургузые, нескладные письма, и она отвечала — костерила его, корила,



что подвел, оставил одну,—но отвечала. Потом письма ее стали приходить реже, а затем, как раз к Новому году, в подарочек,—ничего себе,—пришло враз два конверта: одно от нее, обыкновенное, как всегда, второе от каких-то добрых людей, неподписанное, и в этом втором сообщалось сердечно, что Клянcka — потаскуха, связалась с мастером какого-то завода, моложе даже ее, а у него жена и дети. Николай поверил этому неподписанному письму, поверил сразу и затрясся плечами — первый раз заплакал во взрослом возрасте.

Мужики, жившие с ним, — а разный, надо сказать, был народок, — умолили, подставили стакан денатуры, добытый каким-то хитрым образом, но пить Николай не стал, потому как понимал: такое не запьешь, не успокоишь.

Клянcka продолжала писать, он складывал ее письма в мешок, но она настигала своими письмами, видно, поняла, что он все знает, настигала — через милицию, что ли! — и здесь, в тайге, в пертин, куда он устроился, уйдя от тех парней из обшечки.

Тут, в группе, никто не досаждал ему разговорами, никто не боялся его, бывшего заключенного, ребята видели в нем другое: выносливость, старание, безотказность, — и он среди них отошел, отгорелся.

Лежа у костра, успокоив работой и плотной едой утреннюю тяжесть, Николай думал о том, что теперь уже не боится людей, не боится, как посмотрят они на него, что спросят. В конце концов Клянcka еще не пуп земли, не последняя инстанция, есть вон и Нюрка-буфетчица, здешняя баба, вдова.

И только мысль о Шурике, белобрысом Александре Николаевиче, саднила душу.

Взглядывая в костер, в кровавое его пламя, Симонов думал, что все не просто, что Нюрка — это так, заблуждение, и что Шурик — вот кто для него самый главный смысл жизни.

— Какова обычная система связи с группами, которые находятся в поле?

— Дважды в сутки, как правило, рано утром и вечером. Днем группы работают.

— А в случае ЧП?

— Есть аварийная радиоволна, которую наша станция прослушивает постоянно, в конце каждого часа. — Я проверю. И простые и аварийные радиogramмы центральной радиостанции принимала четко, исправно. Исправно, то есть вовремя, они передавались и по инстанциям. Но я хотел бы поговорить о системе рассматривания радиogramм.

— Пожалуйста.

— Начальник радиостанции, начальник партии показывали, что очень часто радиogramмы групп, адресованные вам как руководителю экспедиции, валились на вашем столе неделями. Что пренебрежение к документам связи — для вас норма, обычное дело.

— Но в этом случае все было не так.

— Разберемся, как было в этом случае...

24 мая. 22 часа 15 минут. Семен Петрущенко

«Вечерний сеанс,—напомнил он Славе Гусеву, надев наушники и подкручивая настройку.

Слава восторженно, обер ладонью щетинистый, колкий подбородок, велел привычно:

— Передавай!

Семка перекинулся с радистом отряда обычными приветствиями, поглядел на Гусева.

— Давай! — велел тот. — Работы идут нормально. Заключим объект двадцать пятого вечером — два-

дцать шестого утром. Последующей связи уточним. Сообщите Цветковой, надоело просить у нее лодку. Ветер теплый, идет резкая потайка.—И рубанул твердой, как лопата, ладонью.—Гусев.

Семка передал радиogramму, попрощался с отрядом, снял наушники.

— А ветер-то, правда, теплый! — сказал он удивленно.— Я и не заметил.

— Во дает! — засмеялся Гусев.— По брюхо испулся, а что весна, так и не заметил.

— И правда, братцы,—виновато ответил Семка,—совсем мы тут зазимовались. Дома-то май, все под-ка цветет. Управление наше на пляж после работы ездит.

— Гроби шире! — откликнулся дядя Коля Симонов.— Не-а, ныне весна задала.

— Да она в здешних местах всегда такая, — засмеялся Слава,—наверху-то река уже лоды от льда освободилась, а тут и не думала.

— А я люблю половодье, мужики, — оторвался от бумаги Орелик. — Едешь на лодке, гробишь потихоньку, глядишь — а лес в речку зашел. Черемуха цветет, в воде отражается. И вода черная, вроде неподвижная. Заглянешь в нее — трава, как длинные волосы, шевелится.

— Хе, хе,—оживился дядя Коля Симонов.— Ты у нас, Орелик, прямо это, так его, релик.

— Кто, кто? — захохотал Семка. — Рилик! Ну, ты даешь, дядя Коля!

Симонов смутился, махнул рукой, полез в спальню мешок, заворочался в нем, словно медведь-шатун, аж полога ходоном заходил. За ним ушел Гусев. Семка сидел у костра и глядел, как пишет длинное, на много страниц, письмо Орелик. Пишет, пишет, не может кончить, даже удивительно, как у него терпения хватает! — и, главное, не отправляет свое письмо, ждет, когда сам вернется в поселок.

Семка глядел на костер, на его трепещущие, жаркие языки, переводил взгляд на Вальку, хотел спросить его про то, о чем давно думал, и не решался.

В палатке на разные голоса захрапели Слава и дядя Коля Симонов — с присвистом, с протяжкой.

— Теплынь-то! — удивился негромко Семка.

Небо над головой было бездонным, смолыным. Ни одной звезды не видно, и от этого Семке делалось еще торжественней и слаще. Он вдыхал запахи, которые приносила ночь, вглядывался в темноту, и ему казалось, что его ждет кто-то. Может, в этой темноте, хотя это глупо, кто же может ждать в темноте, посреди тайги или в поселке? Но в поселке никого не было у Семки. «Мама!» — подумал он и сразу отверг это. Мама ждала его всегда, ждала отовсюду, где бы он ни был, и Семка знал это, чувствовал, понимал. Но сейчас было что-то другое. Где-то кто-то ждал Семку совсем иначе, чем мама.

Он вздрогнул, астал на колени, прислушался. Ветер дул неизменно с юга, оттуда, где поселок, где город, и Семка неожиданно для себя вспомнил девочку.

Сердце его колотнулось неровно.

Странно, как он мог забыть ее. Девочка шла в школу, а он уже учился на радиста.

Была зима, очень морозная, но очень прозрачная, даже, наверное, звонкая от мороза. Если стукнуть палкой по березе в парке, то стук этот звучал бы долго и мелодично.

Семка не стучал по березам, это ему просто казалось так. Уже потом, когда она ушла.

Он встретил ее днем на пустынной аллее парка, вдоль которой росли старые деревья. Было солнечно, солнце лилось откуда-то прямо сверху, падало вниз, оставляя короткие, смешные тени, и девочка

шла навстречу Семке. Она не торопилась, она не замечала его, и она не просто шла, а гуляла.

Семка, увидев ее издаലെ, замер, а девочка была неедине с собой. Она иногда останавливалась, крутила вокруг себя маленький черный портфель и сама кружилась, прыгала, стучала валенками друг о друга, будто играла в классики, подхватывала пригоршню чистого снега и кусала его.

На девочке была рыжая круглая шапка с длинными ушами; когда она ушла мимо Семки в конце аллеи, он подумал, что издаലെ она походит на одуванчик. Одуванчик зимой — это было странно и удивительно. — Семка, не понимая себя, повернул за девочкой и, не приближаясь, проводил ее к школе. Она исчезла в дверном проеме, и Семка долго стоял, не замечая, что уши у него перестали чувствовать холод. Потом он повернулся, побежал вприпрыжку домой, березы мелкими вдоль аллеи и Семка счастливо смеялся, а потом забыл...

Надо же, забыл!

Взвнувшись на коленях, глядясь в черное небо, он пытался представить девочкою лицо и не мог. Никак не мог его вспомнить. Он вздохнул, поглядел на Вальку, на счастливое человека, который каждый день пишет свое бесконечное письмо, и пожалел себя: ему писать было некому, кроме мамы.

Снова подул теплый ветер. Валька оторвался от письма и увидел обожненное Семкино лицо.

— Ты чего? — спросил он и засмеялся.

— Да так, — пожал плечами Семка. — А что?

— Лицо у тебя странное, — сказал Валька.

— Будет странным, — неуверенно ответил Семка. — Такой ветер, а они дрыхнут, как цуцки.

Валька рассмеялся опять.

— Тебе не спится?

— Нет, — вздохнул Семка.

— Мне вот тоже не спится...

— Дописываешь? — деликатно полюбопытствовал Семка.

— Я и не знаю, — задумчиво ответил Валька Орлов, — допишу ли когда-нибудь...

Семка, пытаясь забраться в спальник, застегнул его до подбородка, притих. В приоткрытый полог палатки гляделось черное небо. Ветер негромко трепал брезентовый полог.

Притиснувшись костер, влез в палатку Валька. Он быстро захлопнул, теперь уже целый оркестр играл в тайге, а Семка никак не мог отключиться.

Ему представлялась звонкая зимняя аллея — и девочка в конце ее, похожая на одуванчик.

Девочка проходила мимо него, проходила и проходила, как в куске фильма, который крутят много раз подряд, и вдруг Семка услышал плеск.

Он вздохнул и закрыл глаза. «Каким там плеск, — решил он, — вокруг зима...» И уснул.

— Первая радиогрaмма от Гусева поступила вечером 24 мая.

— Я не признаю эту радиогрaмму тревожной, требующей каких-либо моих действий.

— А начальника партии?

— Вы опять намекаете на лодку?

— Да.

— Но не могли же мы гнать вертолет ночью. Тем более что авиаторы могут садиться в темноте только в условиях аэродрома или хорошо освещенной и ориентированной площадки.

— Я не говорю про ночь.

— Будем считать, что мы это выяснили. В том, что у Гусева не оказалось лодки, в первую очередь виноват он сам, во вторую — Цветкова, в третью — Храбrikов.

— Теперь о второй радиогрaмме. Утренней, от 25 мая. Когда стало ясно, что группу надо выручать и как можно скорее.

— Меня не было в это время в поселке.

— Вы отсутствовали по служебным делам?

— Безусловно.

25 мая, 9 часов. Кира Цветкова

Она проснулась рано, как бы искупая этим свои недостатки, деловито выходила из дому, не зная толком, чем заняться? Геодезисты были в тайге, ей оставалось только следить за ними, поддерживать связь, получать информацию — опытные начальники групп знали свое дело и не нуждались в командах.

В этот раз она проснулась так же рано, как и обычно, но решила перелистать инструкции, конспекты, чтобы обновила в памяти порядок и систему геодезических вычислений — время от времени это приходилось делать, чтобы не оконфузиться.

Раскрыв тетрадку, заполненную аккуратными, маленькими буквами, Кира уставилась в нее невидящими глазами. Ей было одиноко и страшно, она опять подумала о своей судьбе, вспомнила мечту о пединституте. Она даже в загородные походы никогда не ходила, и вдруг — начальники партии.

Кира оторвалась от тетради, обессиленно захопнула ее, надела куртку. Единственное, что у нее получалось, — отчеты. Она умела их оформлять, подчеркивала разделы, итоги, цифры разноцветными карандашами и поэтому считалась неплохим начальником партии. Но Кира понимала: она только переписывает результаты чужого труда, как бы примазывается к работе других. Кира вышла из дому, побрела по улице, вдыхая сырой, туманный воздух. Делать ей было нечего — надо только зайти ненадолго к радиостанции, прочитать радиогрaммы групп, кому-то ответить, что-то просто принять к сведению. Связь находилась в покинутом доме, который экспедиция отремонтировала и приспособила к своим нуждам. Хозева избы исчезли и не появлялись, не предъявляли своих прав, — наверное, перебрались в город. Кира вошла в дом, обтерев на крыльце липучую поселковую грязь.

— Кира Васильевна! — окликнул ее начальник радиостанции Чиладзе, худой, словно изможденный, грузин с огромными, «казалось, во все лицо грустными глазами. — Кира Васильевна! — повторил он. — Хорошо, что пришли, мы к вам посылать хотели. Тут две радиогрaммы от Гусева.

— Опять раньше работу кончили? — усмехнулась Кира, вспомнив Гусева, грубоватого, простодушного мужика, который вечно торопился, неизменно перевыполняя план, будто за ним кто-то гнался, кто-то его торопил.

— Одна вот вечерняя, — подошел к ней Чиладзе, протягивая бланк. — А эту сейчас приняли.

Кира пробежала строчки. Первая радиогрaмма напоминала про лодку; читая ее, она с раздражением вспомнила Храбrikова, которому передала лодку еще неделю назад с наказом немедленно переслать ее Гусеву. Храбrikов кивнул, сразу возвращаясь к своим делам, будто Кира — назойливая муха и отвлекает его от важных забот, и, конечно, лодку не перевез, а она, растяпа, забыла проверить.

Кира раздраженно взяла второй бланк, исписанный каллиграфическим почерком, и ею овладела тревога.

«Наблюдается подъем Енисея, — прочла она. — Возвышенность в пойме реки, где находится лагерь,

окружена мелким слоем воды. Выходим работу. Предполагаем завершить четырнадцать часам. Этому сроку высылаете вертолет. Гусев».

Кира снова вспомнила Храбрикова, его хорькоподобное маленькое лицо, мелкие серые глаза. «Все-гда так,— подумала она, раздражая еще сильнее,— всегда мешает, ластится только к Кирьянову, а виноватой будешь ты».

— Ничего страшного, э? — спросил Чиладзе, полблескивая глазами, выражая добродушие и симпатии к ней.

— Пока ничего, — ответила Кира.

Она взглянула в окно. Погода прояснялась, воздух светлел, делая пространства емкими и прозрачными. Кира кивнула Чиладзе, велела поддерживать с группой Гусева связь и вышла на крыльцо.

Этот Храбриков всегда раздражал ее, как, впрочем, и всех остальных начальников партии, проявляя к их делам полное равнодушие... «В конце концов это не может продолжаться бесконечно, — подумала она, стараясь расшевелить себя. — Когда-то и кому-то надо с этим покончить».

По ее мысли, сейчас был самый подходящий момент пойти к Кирьянову, использовать его расположение, пожаловаться на Храбрикова, доказать с фактами в руках, что игнорирование им заданий начальников партии может привести к неприятностям, но что-то мешало Кире решиться на такой разговор.

Она не была уверена, что Кирьянов не станет на защиту Храбрикова. И почему выступать против экспедитора должна именно она — ведь есть в конце концов начальники партий — мужчины. Она понимала, что жалоба есть жалоба, как ни крути...

Кира сошла с крыльца и нерешительно пошла в сторону дома Кирьянова. Нет, все-таки она должна была об этом сказать. Это ее обязанность. Речь идет о людях ее партии, она за них отвечает.

Стараясь распылить себя, а в самом деле робая все больше, Кира подошла к конторе, где работала и жил Кирьянов, но его на месте не оказалось, и, когда ей сказали, что начальник ушел к вертолетам, она облегченно вздохнула.

Жалоба на Храбрикова, это неприятное дело откладывалось на какой-то срок, пусть даже не на очень большой, и это успокаивало ее.

Кира вернулась к себе, снова открыла тетрадь, но в голову по-прежнему ничего не шло.

Неожиданно словно что-то толкнуло ее. Машинно, еще не сознавая, что делает, Кира оделась и вышла кона на улицу. По дороге к вертолетной площадке мысль оформилась и созрела: она должна сказать все Кирьянову прямо при Храбрикове. И немедленно послать лодку. Пусть это будет уроком для маленького, облезлого человека.

Кира шагала, не разбирая дороги, разбрызгивая грязь, и была недалека от площадки, когда разделся привычный грохот винта, и зеленая пугающая машина взымала вверх, уходя к тайге. Волнуясь, Кира подбежала к избушке возле площадки. Второй вертолет был тут. Кира увидела пилота, рябого молодого парня, совсем мальчишку, и крикнула ему:

— Где Кирьянов?

— Они улетели, — ответил летчик, постукивая гачичным ключом о какую-то железку.

— Кто они? — спросила Кира.

— Кирьянов и Храбриков.

— А куда? И надоело? — настойчиво спросила она, понимая наивность своего вопроса.

Пилот пожал плечами, отнулся, и тут только Кира заметила, что лопасти хвостового винта с вертолета сняты и пилоты вместе с механиком возятся возле него на расстеленном брезенте,

«Профилактика», — отметила она механически и вдруг увидела у порога избушки небрежно брошенную надвинутую лодку. Она узнала ее: это была лодка для Гусева, и она с острой неприязнью подумала о тщедушном и вредном Храбрикове.

— Я хочу вернуть вас к одному своему вопросу. Хочу повторить его. Как вы оцениваете вторую радиогруппу?

— И ее я не считаю тревожной. Видите, Гусев же собирался продолжать работу.

— Однако несколько позже он направил новое сообщение. Вот оно: «Уровень воды поднимается. Попытались перенести лагерь триангуляционной вышке. Сделать это не удалось большого объема груза. Остров, на котором находимся, постепенно сокращается. Просим вертолет перенесения лагерь более высокую точку. Гусев».

— Но эта радиогруппа пришла намного, а не несколько, как вы выразились, позже.

— Через четыре часа.

— Видите!

— Их можно понять. Они пытались исправить положение своими силами.

— А нас нельзя понять?

— Я хочу повторить один вопрос.

— Слушаю.

— Вы вылетели в тот день по служебным делам?

— Я же сказал. Конечно!

25 мая. 12 часов 10 минут. Петр Петрович Кирьянов

**Д**ень рождения, черт побери! Он считал себя обязанным быть временами сентиментальным. Для большого, мощного человека очень даже своеобразно проявлять иногда свойства, вроде бы для него чуждые; их надо проявлять, если даже их в самом деле нет; нет, так надо создавать, синтезировать.

В день своего рождения, каждый год, он вел душевные беседы с окружающими людьми, валяя дурака, представлялся симпатягой, обаяшкой, умницей. В день рождения, выпив, он обожал всплакнуть, рассказать в лицах какую-нибудь притчу, пофилософствовать, стараясь совсем формулировать старые мысли или раскавычивать классиков.

Этот день был как бы смотром его всевозможных дарований, и всякий раз он оставался доволен, убирая в стокилограммовую оболочку, как в пенал, свой действительный характер.

Сейчас, когда вертолет несся над тайгой, оставляя на земле неотвязную тень, и разговаривая из-за треска моторов было невозможно, Кирьянов как бы внутренне готовился к предстоящему вечеру.

Время от времени он взглядывал в иллюминатор, хотя глядеть по негласному уговору должны были пилоты, знающие, куда и по какой надобности летит сам начальник, и взгляды на землю вызывали в нем чувство приятного удовлетворения.

На сотни километров внизу кипела тайга, однообразная, скучная весной, и на этих сотнях километров он, Пэлэ, был полновластным хозяином. Он работает тут уже несколько лет, его деятельность придавали значение, каждый год увеличивая количество партий, людей, техники. Сибирь осваивалась во всю, по-настоящему, но сколько еще было до этого настоящего! Сколько первых троп, первых просок, первых отмогов на картах, пока не начнется здесь хоть какая-нибудь мало-мальская жизнь.

Нет, все это было впереди, и про себя Пэлэ готовился к будущему, к тому, что заслужено: новым

должностям, на этот раз в управлении, а то и выше, к наградам, вполне возможно, орденам, к скромным рассказам в тесном кругу приятелей,—впрочем, чем же стесняться, можно и в широкой аудитории,—о нелегком, суровом, полном лишений и невзгод, как пишут сочинители, труде знатного, умелого первопроходца.

Это, конечно, будет, придет, бесспорно, надо только не загадывать вперед, не гнать динамо, вопрос упирается во время, в несколько каких-нибудь лет.

Кириянов вспоминал двух геологов, молодых доволно парней, выступавших у них в управлении. Оба получили Ленинские премии за открытие нефти, кандидатские степени без защиты — только по отчетам, и их появление тогда влило в ПаПэ новые силы. Теперь образ двух парней в освещенном яркими огнями зале был для Кириянова своеобразным эталоном, жизненным стимулом, миражем, который, возникшая время от времени в памяти, обнадеживал на дальнейшее...

Он гляделывал в иллюминатор вертолета, властно осматривал таежную равнину и, не смущаясь смелых параллелей, сравнивал себя с Семеном Дежневым. Кириянов усмехнулся. Что скрывать от самого себя — ему казалось, что даже внешне он походил на Дежнева, если бы вот только волос на голове побольше. Но этот недостаток свой он прикрывал, зачесывая волосы назад и с боков вперед, а в остальном — в чертах лица, по его мнению — все сходило.

«Ха-ха!» — рассмеялся над собой Петр Петрович. — А вы порой глумитесь, так до орденов и регалий можно и не добраться! — Но тут же успокоил себя: — Ничего, в день рождения можно.

Можно, конечно, можно, а ему, хозяину всех этих необжитых, пустынных мест, «губернатору», как шутят его друзья, можно много.

Кириянов вновь косил глаз в иллюминатор, усмехнулся, вспомнил одного начальника партии, который ушел от него каким-то клерком в геологическое управление. Насчет клерка — это он, ПаПэ, пообеспочился, не лыком все-таки шитье, все-таки кое-что разумею в устройстве этого мира, но было время, тот начпартии бушевал. На открытом собрании правду-матку резал. Объяснял ему, Кириянову, что-де для него тайга лишь ступенька вперед, что ему на тайгу наплевать. Тогда он отбояривался, пришлося, говорил красивые тексты, но потом взял крикуну за грудки, — нет, не в переносном, в прямом смысле слова, — поднял его за телогрейку в тихом перелексе, выследив, конечно, заранее, и высказал ему что положено. Чтоб убирался прежде всего и что тайга — она и есть тайга, молиться на нее он не собирается. Он тут хозяин — и точка. Начпартии быстро сматался, молот что-то в городе на Кириянова, но поди-ка, доберись к нему из города!..

Вертолет пошел вниз. Храбриков заметался у иллюминатора, стал подбрасывать мешки к дверце, чтобы Кириянову мягче было стоять на колене, — стрелял он всегда с колена, распахнул дверь, устроил специальную решетку, — не дай бог, вывалишься. Кириянов приветливо улыбнулся ему, помахал пилотам — они сигналяли руками, указывали пальцем вниз — и пристроился на колене. Теплый ветер рвался в открытую дверь. Петр Петрович замирился в удовольствии, обратил внимание, что вертолет повис совсем низко, и только тогда, не волнуясь, выглянул.

На большой прогалине, не зная, куда бежать, носились взад и вперед три лося.

Самый большой из них, самец, пугаясь стрекочущего чудовища и черной тени, скользящей по снегу, порывался к лесу, но тень перерезала его путь,

и тогда он круто разворачивался и мчался назад. Это была игра живого и мертвого, игра крови и металла. Она забавляла Кириянова, он гулко хохотал, предвкушая победу над лосями.

Он поставил удобное колено, щелкнул затвором и положил ствол карабина на решетку. Пилот на какое-то мгновение завис неподвижно, и Кириянов неспешно, через ровные интервалы времени, буд-то робот, выпустил в самую цель пулю.

Оружие приятно отдавало в сильное плечо, карабин харкал злыми, почти невидимыми на солнце всплесками пламени, пули уходили вниз, взрывая снег, но ни одна не достигла цели. Кириянов, честно говоря, не получил бы удовлетворения, если бы с первого выстрела уложил лоса. Он хотел игры, но не короткой, неинтересной. Его увлекла азарт охоты. Он перезарядил карабин и, целясь уже тщательно, выпустил обойму рядом с лосем. Зверь затравленно метался по прогалине, увлекая за собой других — видимо, самку и детеныша.

К Кириянову наклонился Храбриков, что-то лопоча. — Ори громче! — велел ему ПаПэ, не расслышав. — Вы прямо как в тире, Петр Петрович, — крикнул в ухо Храбриков. — Красиво бегте!

— Красиво? — гаркнул Кириянов, любящая собой, своей силой, меткостью, хваткой настоящего промысловика. — Гляди, как будет тепер!

Лось упал, точас вскочил, волоча заднюю ногу. ПаПэ прицелился снова, но на этот раз промазал.

Третья пуля попала лосю, кажется, в позвоночник. Он упал, забрыкал ногами и полolz, оставляя тягучий кровавый след.

Кириянов устало откинулся от карабина. Посмотрел, жмурился на летчиков. Они вопросительно показывали на землю, спрашивая, садиться или продолжать. «Продолжать!» — велел знаком Кириянов и снова припал к прицелу...

За всю охоту жалость ни разу не поскреблась в его сердце. Удовлетворенно разгладывая свою рубашку, он махнул пилотам, сигнала, чтобы они возвращались к прогалине, где лежал убитый лось.

— Ну что ж, я еще раз хочу узнать ваше мнение о Храбрикове.

— Я уже говорил. Или вы проверяете меня, не изменил ли я по ходу следствия свое мнение?

— Вы излагали здесь много точек зрения на разных людей. Ради истины надо признать: знаете вы большинство из них весьма приблизительно. Но про Храбрикова говорили крайне положительно.

— Безусловно.

— Вы считаете его человеком, на которого можно положиться?

— Конечно.

— А на пилотов, с которыми вы летели в тот день?

— Ах, вот оно что? Но они тоже получали свое.

— У этих людей хватило совести самим прийти ко мне.

— Я повторяю, они тоже нестерильны.

— Кто подтвердит это?

— Храбриков!

— Вы уверены?

— Конечно.

— Вот его подтверждение.

— Что это?

— Коробка из-под зубного порошка. Откройте.

— Я не понимаю.

— Это пули. Пули вашего карабина.

(Окончание следует).

## Мара Гризане



✧  
Когда строка воистину народна —  
твоя душа воистину свободна  
и полноводна, радость, как Волга,  
ведь чувство воли — это чувство долга:  
с ним ярче цвет полуденного неба  
и слаще вкус полуденного хлеба.

✧  
В Латвии, как в шкатулке,  
спрятано мое детство:  
розовый хрусткий пряник,  
кувшин с молоком парным...  
[Ах, ерунда какая!]  
В Латвии, как в шкатулке,  
спрятано мое сердце,  
словно щегол, живое...

И только заветная песня —  
от этой шкатулки ключ.

### Ночлег на берегу

Звезда у ночи на виске.  
Скала. Пещерная камора.  
Костер пахучий на песке.  
И песня хриплая помора.  
И лодка дремлет на волне.  
И плеск волны — что всплыв младенца.  
И свежий ветер в тишине.  
И море теплое у сердца.

### Старинная песня

Подымай повыше весла,  
опускай поглубже!  
Пусть попутный вольный ветер  
дует в паруса!  
Свой большой бушлат рыбацкий  
затяни потуже  
и прищурь свои большие  
серые глаза...  
Вольный ветер, вольный ветер  
обжигает губы.  
И баркас уходит быстро  
от багровых круч...

Паруса гудят раздольно,  
как большие трубы,  
И веселый бог удачи  
смотрит из-за туч...

✧  
Под вечер  
в латвийском море  
печально,  
как в русском поле:  
печальны  
седые дали,  
и тучи  
полны печали.  
и месяц  
печально светел,  
и душу  
тревожит ветер,  
и яхта  
так сиротлива,  
как в поле  
седая ива...

✧  
Вечно струится  
в женской крови  
чистое пламя  
первой любви.  
Десять любовью  
встретятся мне:  
испелются  
в этом огне.

✧  
Был самый серый понедельник.  
Машины плавали в пыли.  
Не намечалось новых денег,  
да и дела почти не шли.

И никуда уже не деться —  
броди, толкайся, пей ситро...  
Но вот обычного младенца  
я вдруг заметила в метро.

Глазел он розово, плакатно,  
как бы с обложки «Огонька»...  
И стало ясно и понятно:  
беда моя невелика.

Понятно стало мне и ясно,  
что унывала я напрасно,  
что понедельник — тоже день,  
а деньги — просто дребедень.

### Орловщина

Заката теплая малина  
так мягко тает на губах.  
И среднерусская долина  
висит на радужных столбах.

И туча темная разятая,  
И дождик искрится слепой.  
И облака, как жеребята,  
бегут к реке на водопой.

И хаты близкое соседство  
приятно в доброй тишине.  
И ночка, тихая, как детство,  
выходит из лесу ко мне.

ИВАН  
КОРНИЛОВ



# ПОГОНЯ ЗА ВЕТРОМ

Рисунки  
Г. Пондопуло.

ПОВЕСТЬ

## I

**С**моренные сытным полдником, спать улеглись где кому хотелось.

Саша устроилась в телеге. Нагретый солнцем войлок приятно теплил живот, бедра и грудь. По всему долу шумела под ветром трава. От затухающего костра потягивало дымком. Потом кто-то запел. То ли женщины проехали полем, то ли ветер поддал силы, а всего скорее это незаметно одолел сладкий, сладкий сон...

Словно в хорошем сне прошел у Саши Владыкиной отпуск в родных Мостках. Было много веселых солнечных дней. Дожди перепадали тоже, но это были все случайные, парово-теплые, несерьезные дожди. После таких дождей часто зависал над полями лучезарный свод радуги, притихали травы, в

чуткую струнку прямилась хлеба. «Нынче сама земля растет!» — радовались хуторяне.

На выгонах и по низам, сквозь траву прорываясь, в несметном числе высыпали сдобные на вид опята; склоны долов начинали алеть земляникой. И все Мостки носили даровую эту благодать кто чем мог: и кошелками, и ведрами, и тазами!

По-новому изумлял Сашу Трофимыч, муж старшей сестры Марии. Не веселым и ровным нравом своим изумлял — таким был он и раньше; и даже не тем, что в сорок лет выглядел таким же молодцом, каким был и в двадцать пять, когда женился. Изумлял Трофимыч моторностью. По своим бригадирским делам уносился он с самой рани, замученную к обеду Рыжуху сменял на Воронка, наскоро закусывал и исчезал снова. Совсем возвращался лишь перед заходом солнца — пропавший травами, в пропыленной рубашке, зато с неизменной улыбкой во все лицо и с какой-нибудь поживой в телеге: то

это бараний сбой, то полведра карасей, а то вдруг свалит на траву мешок, мокрый, нечистый, а в мешке возня. «Раки! Варите, я побегал купаться».

Он же, Трофимыч, устроил и эту вот рыбалку — на дальнем за хутором пруду. Пустой, без улова оказался рыбалка, но само путешествие Саша запомнил. За кучера был Женя, ее муж, а Саша сидела в задке телеги, на этом же холмике. У вынутых ног Саши расположился Андрейка. В хуторе мальш хабрился, что будет смотреть он в поле «каждо до одной птичек и цветочков», однако тряская телега убоякала его, едва стронулись со двора.

Откинув голову на стеганый ватник, спал и Трофимыч. Временами он рассыпал такой храп, что Женя только оглядывался да покачивал головой. Пробудился Трофимыч на попытку к пруду, однако встать не встал, лежал просто так, глядел в небесную синь.

Ехали шагом. Ветер клонил к земле хлеба, заворачивал ветви вязы и кленов в лесной полоске. Лес этот рассадил давно, еще в Сашино детство, но, оставленный на произвол сучьев, он так и не поднялся, лишь разрогалился вширь, занавесил дорогу.

А потом случилось то, что осталось в Сашино памяти накрепко. Навес ветвей раздвинулся, и в провете открылось пространство — очень большое и как бы подернутое нежной фиолетовой дымкой. Телега неспешно подавалась вперед, лесок расступался, а дивное это пространство все разрасталось, раздвигалось и ширилось. Оно уже сплошь застелило увалы, косогоры и все уходило вдаль и будто бы даже вверх.

Еще не понимая, что же такое она перед собою видит, Саша привстала на колени, и сердце у нее застучало горячо.

— Овсянчик! — ахнул Трофимыч и тоже встал на колени. — Вот это вымахала, вот это да! И когда она успела? Я же был тут. — Он пошептал, что-то высчитал на пальцах и заговорил, вконец ошеломленный: — В три заря! Женя, Саш, всего три заря — и нате вам, в пояс!

— Косилки-то готовы? — спросила Саша.

— Косилки? — Восторг Трофимыча сменился растерянностью. — Как назло, ни одной!

И притих.

Чистая, жирующая на теплых дождях и волглых утренниках-туманах, овсяница раскачивалась под ветром охотно, вольно, лоснилась с изнанки седым атласом.

— Женя, остановись-ка, — попросила Саша.

Скинула шлепанцы — и босиком. Да чуть не присела: горячая пыль обожгла ноги. Слово бы входу в знобкую воду, Саша приподняла подол сарафана, в траву шагнула с осторожностью.

— Вот чудно: земля горячая, а трава холодит.

И не очень-то ногам доверяя, нагнулась, принялась ворошить траву рукой. Рвала ее, к лицу, к плечам прислоняла и все не могла надвинуться: прохладной была трава!

Неожиданно для себя Саша легла и покатила с боку на бок, с боку на бок; холодок обжигал теперь и лицо, и руки до самых плеч, и ноги. Понимая с шумом, трава стелилась впереди мягкой волной. Андрейка, Трофимыч с Женей и даже Рыжуха — все смотрели на Сашу затеянно, чего-то ожидая.

Вдруг Андрейка соскочил с телеги — и к матери, давай кувираться тоже. И вот они барахтаются, смеются вдвоем, на пару.

— Ящерка! — крикнул зоркий Андрейка и, широко раскинув руки, зацеплял по траве.

Саша затмила дыхание: утопая по шейку в зелени,

лугом бежал ее родной сын! Из-за леса выскочил маленький двукрылый самолет, вот он накренился и так низко пролетел над лугом, что Саша увидела летчика. Летчик смотрел вниз с таким же интересом, с каким смотрела на него Саша. Стрекоха и покачиваясь, самолет пролетел, а Саша все еще стояла и смотрела ему вслед. «Отчего он летает?» — подумала Саша о самолете. Она знала, конечно, отчего самолеты летают, это она «проходила» в школе. И все же она каждый раз удивлялась: тяжелый, а летает... «Он от ветра летает. Пропеллер крутится, делает ветер, и от этого ветра самолет взлетает...». Такое объяснение Сашу удовлетворило. Отчего летают другие самолеты — те, что без пропеллеров, как они поднимают в воздух неподъемные тяжести — в это ей вникать не хотелось, ей достаточно было сейчас своего простого объяснения: от ветра, от луга, от солнца, от радости.

— Зеленая! Ящерка зеленая!

Раскрасневшийся, возбужденный охотничьим азартом, Андрейка подбежал к Саше, и она жарко обняла его и, не стыдясь слез, стала целовать. А сын примолк.

А потом они играли в догонячки. Придерживая подол сарафана, Саша носилась за быстронгим сыном, ловила его за вздувшуюся на спине рубаху.

— Попаless, что, попался? Сынок, а ты прыгай с горочки, с горочки. И руки вот так — будто летчиш.

А теперь догони-ка меня.

Вскрикивая, она кружила по овсянице. Ветер снес с ее головы косынку, распался по траве; метелки стали Сашу по коленкам, а она все удивлялась, что бегае быстрее сына и долго не устает.

Некруто стевая в ложину уклон, Рыжуха качнула головой, всхрапнула и сама, без понукания, с мерного шага перешла на спорную рысь. Дорога была не из тех, какие некают разной грузовики, а простая тележная, и колеса запыряли на толчках, застучали. Под удалой этот перестук Женя, сдерживая улыбку, говорил Саше на ухо:

— А ты знаешь... Сейчас, когда по траве бегала,

ты, Саш, была какой-то другою...

— Другой? — радостно удивилась Саша. — Какою же я была?

— Волосу у тебя раздмались. Вверх — вниз, вверх — вниз. Этакое золотое облачко... А еще мне показалось...

— Что еще тебе показалось? — перебила Саша в сильном нетерпении.

— Показалось, что тебе не двадцать семь твоих лет, а шестнадцать.

— Шестна-дцать?

— Ага.

Саша даже не попыталась сдержать обуюющей ее радости. Смех ее распылился звончиками.

— А вот не угадал! Мне сейчас шестнадцать с половиной! — И озорно посматрела ему в глаза.

А Женя зашептал ей в лицо — горячо зашептал, тайно:

— Скоро, что ли, у нас Леночка появится? Обещала...

— Сегодня к вечеру тебя устроит? — смеялась Саша.

И подумала: как славно отдыхает им у сестры Марии, как славно спится в саду, особенно под утр. Тихо шепчется над сеновалом яблоня, циркают синицы, а потом с тяжелым медным звоном начинают носиться пчелы.

— Нет, Женя, с Леночкой еще успеется.

— Сколько уж ты говоришь это свое «успеет-ся»...! И отвернулась.

Она взьерошила ему волосы и поцеловала в висок.



— Не дуйся, слышишь?

Она и сама не знала, отчего так упорствовала, когда заходил у них разговор о втором ребенке. И сама думала не раз, что неплохо б родить еще и девочку, беленькую пискунку. Однако стоило мужу напомнить об этом, как что-то в ней затворялось.

Распугали Рыжуху возле пруда, и она, не тратя времени попусту, закрутила пирсеем здесь же, прямо у телеги. Кинула на куст чилим рубаху и брюки. Женя разбежался и с невысокой кружки бросился в пруд. Тело его взметнулось над водой гибким полудугим и без брызг вознизошло в воду.

— Умеет, лучший ты под-микитки! — оценил Трофимыч. — Что значит городской!

Кидая сажени, Женя плыл уже серединой пруда, а Трофимыч знай себе покачивал головой да приговаривал свои халевные слова.

Потом они ловили рыбу. Рослый Трофимыч потянул от глубины, Женя подбивал коленями воду у берега. Собирать улов в полуведерник напился Андрейка. А Саша тем часом разводила костер, усохшие коровьи шлепки скоро взяли жирным копытным пламенем.

Рыбачили-рыбачили, а поймали пяток карасей.

— Ветрено, подождем затишки, — оправдывался Трофимыч.

А Саша над ним подтрунивала:

— Рыбак всю свою жизнь ждет погоды.

Уха, однако, и из этих карасей получились неплохия, и вот, сморенные сытным поледным полдником, они свалились где кто хотел. Андрейка заснул в холодке под телегой, Трофимыч с Женей облюбовали местечко возле куста, а Саша устроилась в телеге на войлоке. И вот Саше уже неважно, то ли она дремлет, то ли уже спит, сон слышит, как шумит под ветром пруда и кто-то недалеке поет очень задумчивую песню.

И домой уехали. Владычины тоже в хороший, солнечный день. На той же Рыжухе подкинул их Трофимыч за хутор, до большака.

Провожала их вся родня: и старшая сестра Мария, вечно занятая на своем молочном пункте, и соседние ребята, и Грунша Ковалева, дальняя родственница, которая уприсла оставить у нее на лето Андрейку.

И Саше хорошо было идти вместе с ними и говорить о том, про что переговорено было за отпуск десятки раз.

А над головой гитарными басами постанывали телеграфные провода, и бился вдоль дороги, то ли прощально раскланиваясь, то ли взлететь пытаться, серебряный ковыль. Саша набрала пучок ковыля — в память о родных местах и о родных людях.

И об этом очень хорошим своим отпуске.

## 2

У паковывая посылку Андрейке, Саша исподволь посматривала на мужа, который колдовал над шкафом. Вот пальцы его мягко и быстро постукивали низ шкафа, вот они пробежались по одной перекорке и перешли на другую. Женины пальцы касались дерева слегка, самую малость, а порой начинало казаться, что не задевают его и вовсе, и только глухой полный звук выдает, что по дереву все-таки стучают.

Саша улыбнулась: какой-то месяц не видел человека своего жилья и так по нему соскучился. Все постукивает, все и постукивает: не отстала ли где краска, не дала ли случайно лопину дверца или перекорка.

О как понимала Саша мужа! Что в их комнатах есть — все эти кресла, столы, этажерки, шкафы, серванты, — все было сделано им самим, Женей. Краснотеревщик самой большой руки, он для своей семьи делал все с выдумкой, по собственным чертежам. Целый год, когда они с частного угла переехали сюда, в новый дом, Женя только строгал да клеил, шуршал наждаком да накладывал лак — и целый год из их комнат не выветривались запахи опилок, стружки, канфилов и красок. Веселое было время! Женя был жаден до каждой свободной минуты, он был увлечен и одержим... И с присущей доброму человеку особенностью благодарно оглаживаясь назад, Саша думала сейчас, и думала искренно: тот год был лучшим годом их жизни.

Пришла Оля Нечеева, соседка, и стала пристально, без потайки рассматривать Сашу.

— Я думала, тебя там, на вольном молоке, разогнит, в дверь не пролезешь, а ты ничего, в прежних берегах. — И обняла Сашу, поцеловала в щеку.

Взглянув на Женю, она высказала идею: — Вот ты, Владычин, съезди на деревню с пользой, поправилась, помолодел, и этого дела так просто оставлять нельзя, это надо отметить... Сейчас я пригласю своего Нечая и кое-что есть.

Нечеевы не заставили себя ждать, появились через минуту. Макс, пощипывая усы и улыбаясь, шел впереди; Оля держала руки за спиной, и вид ее был таков: «Угадываете-ка, что у меня!»

— Угадываете-ка, что у меня? — спросила Оля и, ответа не дожидаясь, поставила на стол пазуату бутылку в плетеной корзиночке. — Мы здесь, как видите, тоже не тратили времени попусту.

Макс обласкал жену долгим влюбленным взглядом.

— У нее командировочка подвернулась в винные края, вот мы и учли.

— Вы посмотрите, какие у меня конфеты, они тают во рту. — Оля высыпала на стол ворох конфет в обертках с иноязычными буквами. — Чур, наши коньяк и конфеты, а ваши яичница и все остальное.

Женщины удалились на кухню готовить закуску. И здесь, за совместным занятием, у них случился всем известный в таких случаях разговор двух приятельниц, давно друг друга не видавших, когда обеим хочется рассказать обо всем сразу, да ничего не получается: перебиваешь друг друга и не замечаешь, что перебиваешь.

Уже высветчало по рюмкам вино, и Оля, пробуя шипящую с пламени яичницу, ойкала, когда пришли Барковы. — Неля и Володя, до смешного одинаково художесные. Завидя их, Женя так и просялся: Барковы он любил давно и преданно, особенно Володю. Вместе они окончили училище и уже несколько лет вместе работали.

После первой рюмки дружно принялись есть, после второй заели.

Саша заела тоже, и ей привелся просторный за Мостками пуг, догонялки с Андрейкой по высокой овсянице. Не стало ни комнаты с зеркалами и жаркой лютрой, ни стола, ни застолья.

— Дружнее, ребята, дружнее! — из далека-далека слышался Олин голос. Песня тянулась нестройно.

— Может, другая пойдет лучше?

Стали перебирать, какую бы песню спеть, но любящая песня кем-нибудь да отвергалась по причине старомодности или же потому, что надоела по прошлым вечерам.

— Опять он со своими «Ландышами»? Может, еще «Репку» затянешь? — крикнула Оля. — Саша, ну до чего же твой Женя... Он законченный, как бильярдный шар. Уж лучше давайте станцуем. Включите магнитофон.

И Оля стала двигать кресла, толкать к дивану стол; лицо ее пылало жаром.

А у Саше перед глазами все стояло неохватный луг. Убирая со стола посуду, она уронила тарелку — и вдребезги.

— К радости! К счастью! Го-рько! Целуйтесь, Владимиры! Вы приехали из деревни — это все равно что из свадобного путешествия. Ах, вы сгнетесь? Тогда буду целовать я. Ма-кс, Максимушка мой милый, давай сюда свои крашенные усы.

«Вечно-то распырается наша Оля. Зачем?» — рассенно подумала Саша и стала глядываться в каждого как бы заново. Что бы ни начал кто-нибудь говорить, она уже вперед знала все остальное. «Макс, ты опять пускаяешь мне в лицо дым». Сейчас Оля непременно добавит: «Какое идиотство, или ты не понимаешь?» И ведь точно: она сказала именно это, слово в слово...

«Я становлюсь привередливой. Может, я старею?» — подумала Саша.

— Макс, милый ты мой Максимка, кой черт назавал тебя на мою душу?

А через минуту Оля уже плакала. Возле нее уивались Макс и Женя, поднесли ей холодной воды, но Оля, капризная, повторяла одно и то же: «Уйдите, уйдите, уйдите!»

И тут Саше подумалось, что все это было у них вот так же и десять лет назад, и двадцать, и сто. И самой-то ей, Саше, не двадцать семь, а уже пятьдесят семь, а то и целая сотня.

— Ребята, милые, мне отчего-то нездоровится сегодня. Может, выйдем погуляем на воздухе? Тут все вспомнил, что пора спать, и разошлись по домам.

А Саша опять подумала: может, она стареет? Закрытая дверь за гостями, она подумала, что завтра после долгого перерыва пойдет опять на работу, и этим утешилась.

### 3

**П**олумсяцем изогнувшись аллея узколучич пирамидальных тополей. Ходить этой аллеей — все равно что ходить по светлomu коридору с высоким потолком и длинными, вытянутыми окнами: столько потолка над головой, свет, торжественность. Радуются бы на такой аллее, но ходят по ней все больше с хмурыми лицами: к хирургическому корпусу, даже с виду тяжелому зданию, ведут эти красавцы тополя.

Сашин путь лежит мимо них. Корпус нервных болезней, где она работает, затерялся в глубине больничного двора, в кустах акаций и сирени. За отпуск Саша крепко соскучилась по всему знакомому и пришла на работу раньше положенного часа, чтобы на обширном больничном дворе увидеть все перемены, какие всегда случаются, если уезжаешь надолго. Она даже выбрала для себя не асфальтовую аллею, прямую и короткую, а земляную тропку и шала по ней до самой тропки расслабленно, неторопливо и осматривалась вокруг. Но тут наперерез Саше из-за куста высочил высокий человек в больничной пижаме. Он посмотрел на Сашу мельком, как смотрят на досадную помеху, и сейчас же скрылся. Саша улыбнулась про себя: беглец! Знакомая картина...

Больничные запахи в корпусе показались Саше необычайно резкими, а пологи — ниже. И только в стретничной ничего не изменилось. Годами на том же месте стоял рассыпавший шкаф, годами тускло отблескивал со стены осколок зеркала. И годами, вываривая шприцы, булькала на электрической плите вода.

Увидев Сашу, радостно взвизгнула Люся Трушина, палатная сестра, еще незамужняя. А старшая сестра Таиса оглядела Сашу с головы до пят.

— Вернута! Вот и слова бoгу, все будет полегче.

Слышала ли Саша новый анекдот про медиков? Ну, тогда послушай. И пока Саша прибирала в своем столике, Таиса, сама себя поощряя смехом, рассказала две непростительные истории. Говорили, что в свое время Таиса была худенькой и резвой, но теперь в это не верилось. С годками фигура ее раздалась, живот отяжелел, и ходила Таиса по больнице неторопливо, чинно.

Взглянув на себя в осколок зеркала, Саша broadly изогнулся к делу — разносить лекарства, отсчитывать порошки и записывать назначения врача.

В десятой палате залежались двое, оба шоферы, оба с простуженной поясницей. Они обрадовались Саше, и она им тоже обрадовалась. Все другие в ее палатах были новые. Тот, которого она встретила — беглец-то! — тоже оказался у нее, в восьмой палате. Сидя на койке, он мельком взглянул на Сашу и углубился в свое дело. На коленях у него лежал какой-то планшет не планшет — плоский ящик с прорезями и белыми кнопками. Человек нажимал пальцем на кнопку, внутри ящика что-то срабатывало, щелкало, и он смотрел в прорезь.

«Сторож», — прочитала Саша на его бирке. И чуть ниже латинью — диагноз.

Вокруг него на постели и на тумбочке — листы бумаги со столбцами слов и цифр; толстая тетрадь и книги лежали вразброс, таблетки положили некуда, и Саша спросила, где ей оставить лекарства.

Он неохотно оторвался от своей щелкалки. И хотя смотрел он очень внимательно, Саша была уверена, что он ее не увидел: взгляд его был неосмыслен, он был там, в своем деле.

И потом сколько ни заходила, сколько ни заглядывала Саша в восьмую палату, Сторож сидел в той же позе — с опущенной головой и с этой щелкалкой на коленях. Перед обедом его пригласили к телефону, и Саша слышала, как он твердил в трубку: «Так и передай шефу: в Жаксы-Гумар еду сам и только сам, понятно?.. Это — мое дело... О, да ты меня плохо знаешь: сбегу — и все дела».

Потом к нему приехал толстый очкарик, и они о чем-то спорили на скамейке под окном, и опять Саша услышала это нерусское слово «Жаксы-Гумар».

Сторож и на второй день сидел, сидел и на третий. Сидел, что-то записывал и без конца щелкал.

«Дни и ночи работает, так и в самом деле можно схитнуть... Что у него за щелкалка? Для чего она?»

Сама того не замечая, Саша смотрела на Сторожу все чаще и во однажды, пригладившись, подумала, что где-то она его видела.

«Кого он мне напоминает?.. Ой, что это я остановилась на пороге? Больные точно же что-нибудь подумают. И обязательно подумают нехорошо».

Разносила обед, отсчитывала порошки, а думала все о своем: где она его видела?

«Он же выпитый Трофимыч! — как будто бы сказал в ней однажды кто-то, но сейчас же и стал возражать: — Да нет, не должно быть... Не похоже».

И снова, прохаживаясь коридором, она замедляла шаги перед восьмой палатой, заглядывала в угол к окну, где его койка, неслышно заходила в палату и тайно высматривала Сторожу всего — и спереди, и со спины, и сбоку. Какой уж там Трофимыч! Тот большой, весь лихой, розовый. А у этого плечи хотя и не узкие, но сухие. У Трофимыча ладони вроде лещей — круглы и увесисты, а у Сторожува они



тонки и длиннопалы. Этот волосом темен — Трофимыч белобрыйс. Ничего общего! Однако стоило войти, как опять началось это непонятное: Сторожевы и Трофимыч совмещались в одно. Саше подумалось однажды: заговори Сторожев, и первое, что она от него услышит, это будет не что иное, как любимая присказка Трофимыча: «Леший ты подмигтики».

В тот день перед уходом домой Саша узнала о Сторожеве все, что можно узнать из истории болезни: что ему тридцать четыре года и что живет он на Седьмой Парковой, с женой разведен, а травму получил в автомобильной катастрофе.

## 4

**У**тренний обход шел своим порядком. — Что-то вы, дорогой товарищ, того... С вашим заболеванием поаккуратней надо. Травма черепа есть, травма черепа, пускай и старая. Встаньте-ка.

Сторожев встал, и рядом с ним сухонький старичок Филипп Николаевич показался и вовсе маленьким.

— Пятки вместе, носки тоже вместе. Закройте глаза, руки вытянуть перед собой.

Сторожев усмехнулся: знакомая, мол, волянка. А Филипп Николаевич между тем посмотрел на тумбочку, заваленную книгами, и усмехнулся тоже.

— Нынче все в науку подались. Мода века...

— Ругать науку — тоже мода века.

— Я не против ученых, не против. Только не слишком ли много их нынче?

— Их слишком мало, доктор!

Потом у них произошел короткий спор-перепалка. Филипп Николаевич: они, мол, ученые эти ваши, на горе человечеству атомную бомбу изобрели. А Сторожев ему: вот и хорошо, говорит, что изобрели. Саша тут даже головой покачала: глядянка, дерзкий какой! Все у него наперекор...

— Бомба эта опасная игрушка, никто не спорит. Но она же и отрезвитель хороший... Для горячих голов!

Филипп Николаевич слушал, согласно кивал, а взгляд его поскучнел, он глядел на собеседника все строже.

— Саша, покажите-ка большого окулисту еще раз. Мне не нравится его глазное дно. И вот еще что, заберите его бумаги, снесите их под замок. И эту балалаику унесите тоже.

Сторожев попытался было отстоять свою щелкалку, но Филипп Николаевич был неумолим.

— Никаких книг, никакой балаалайки, никакой пишанин! Из передач — крепкая, мужицкая еда. Лежать и думать о футболе...

Сторожев смиренно кивал врачу, но Саша видела, что смиренность его притворная. Пока он с Филиппом Николаевичем вот так — то явно, то скрыто — пререкался, Саша успела разглядеть его хорошо. Лицо его ужасно неправильным оказалось — с кривым носом и неровными по высоте бровями; глаза у него зеленые, а улыбка очень молодит его; при быстром разговоре Сторожев слегка заикается. А какие беспоярочные у него руки! Когда Саша собирала его бумаги, эти руки барабанили по тумбочке или шарили в карманах как потерянные.

И, глядя на эти нервные длиннопалые руки, Саша еще раз удивилась: с чего вздумалось ей срав-

нить его с Трофимычем? Ничего же общего! Эту похожесть она придумала сгоряча, вопреки здравому смыслу. Но для чего?

Выходя из корпуса, Саша лицо в лицо столкнулась с кудрявым парнем. Он, видимо, бежал от самой автобусной остановки: его щеки пылали румянцем. В руках у парня был такой огромный букет, что цветы загорадили добрые полдвери.

— Сестрица, нельзя ли вызвать Сергея Сергеевича Сторожева? — Парень перевел дух. — Вот так нужен! Срочно!

— Срочно не получится. Сергей Сергеевич принимает галльванический воротник. А что, у него день рождения?

— Да нет. Лиза выходит замуж! Лиза Панова, слышали?

Парень по-прежнему стоял в двери: ни войти, ни выйти; и Саша засмеялась и этой его торопливости и его рассказу о какой-то там Лизе Пановой, а заодно предложила отойти от подъезда в сторону.

— Вы не знаете Лизу? — очень удивился парень. — Ту самую Лизу, которую Сергей Сергеевич нашел на трамвайных рельсах?

Теперь удивилась Саша: как это найти человека на трамвайных рельсах?

— Так неужели вы ничего об этом не слышали? И опять Саша засмеялась: этот человек говорит так, будто бы живет он в деревне, а не в большом городе.

— Гм... А ведь и в самом деле... И как это у меня из головы! — засмеялся парень. — Помните, под Новый год пурга разыгралась? Ну, тот случай, когда по всему городу ни трамваи, ни автобусы не ходили?

Саша кивнула: это-то она помнит. А парень, горячась, то и дело поглядывая то на часы, то на боковые ворота, стал рассказывать, и с его слов Саша поняла вот что... В тот вечер, когда никакой транспорт не ходил, Сторожев возвращался с работы пешком, по трамвайному пути. На спалах-то он и набрел на эту самую Лизу. Что-то у нее там с сердцем случилось. В общем, замерзал человек. Сторожев подобрал девушку и нес ее на руках километра два, до первопопавшейся больницы. Ну а потом... потом девушка стала просить, чтоб спаситель навещал ее в больнице. «Просит и просит. Даже на поправку не идет, по целым дням в слезах». Волей-неволей Сторожеву пришлось навещаться к ней едва не каждый день. Работы полно, дыхнуть некогда, а вынужден ходить. У девушки ни отца, ни матери, она и привяжись к Сторожеву, и вот теперь он для нее вроде бы за отца, что ли. А сегодня эта самая Лиза Панова замуж выходит. С минуты на минуту примчится с женихом сюда. «Там такой шикарный автомобиль, там столько шелковых лент и цветов!» А Сторожев и не догадывается о свадьбе, и Лиза хочет преподнести ему сюрприз!

— А мы подумали, — кричал во всю силу молодых своих легких парень, — мы подумали: пусть и с его стороны будет сюрприз для новобрачных! Скинулись по пятке да и купили вот это. — И только теперь увидела Саша в руках парня еда и сверток. Парень хотел было похвалиться своим подарком, но Саша остановила его.

Потом парень стал интересоваться, не скучает ли здесь их Сергей Сергеевич и не положено ли, мол, по больничному этикетке привезти ему гитару. «О, гитарист он отменный!»

Тут из подъезда показался Сторожев, и парень бросился к нему.

Саша посмотрела на Сторожева и улыбнулась: жене: ей пришла в голову озорная мысль: не поздравить ли Сторожева с замужеством приемной дочери? Подумать подумала, но поздравить не отжилась...

## 5

**С**естрам, что помоложе, большие любят говорить любезности. Поначалу их комплименты кружат голову, но довольно скоро надоедают, и их пропускаешь мимо ушей.

В свое время Саша Владыкина все это пережила тоже. Однако после возвращения из отпуска комплименты сыпались на нее со всех сторон, валом валялись, и под благодатным дождем этой полустыни-полуплюсти Саша и вправду стала замечать, что с нею словно бы началось что-то новое или же повторяется очень-очень знакомое, но такое давнее, что успело забыться. Ловчее облегал плечи халат, легче стала походка. Разносила ли больным лекарства, сопровождала ли на обходах врачей, она мысленно подгоняла себя и всех: «Скорее! Ну скорее, что ли! Опять этот Петров собрал вокруг себя консилиум, вечно-то он плачется!»

И вдруг спохватывалась: «А куда я, собственно, спешу? Отчего меня никто, как ветром выблук?»

И однажды Саша подкараулила, куда это она все время спешит. Едва случилась свободная минутка, она почти бегом помчалась к белому своему столу в сестринской. Круглая ключом, выдвинула нижний ящик — и вот они, бумаги Сторожева. Осторожно, опасаясь, что не попадет на табурет, Саша присела и прикрыла рукой глаза.

— Ну чего ты там копошишься? — осердилась Таиса, старшая сестра. — Лекарства разносить пора! — Отпусти меня, Тамс Федоровна, домой. У меня отчего-то все из рук валится.

— С Жененькой, значит, попачкался! Ладно, иди, а завтра меня подменишь.

«Сторожев. Неужели? — думала она по пути домой. — Нет-нет!»

Ни о чем она с ним не говорила, ничего она о нем не знает, а стало быть, все пустое. «Это семнадцатилетних завлекают глазками, а мне-то уж...» Она попыталась вспомнить, какие глаза у Сторожева, но как ни старалась, не только глаз — лица его вспомнить не могла.

«О чем же тогда разговор? Это какой-то шальной случай, затмение ума».

Но сейчас же снова и снова вспоминались ей счастливые минуты, когда, торопясь-горячась, она подходила к своему корпусу, накидывала на ходу халат и летела из раздевалки наверх, надеясь встретить Сторожева еще в коридоре. А потом, притихшая, ощущая в груди холодок, заходящая в восьмую палату, старалась не смотреть на него, но видела только его.

Ей захотелось посмотреть, где он живет.

От трамвайной остановки к его дому шла она украдкой, словно бы кто-то мог догадаться, куда это она идет и что при этом думает. В незнакомой подъезде вошла, чуя в висках невятный стук, как от вина.

Вот она, его дверь — обычная, не лучше и не хуже любой другой. Саша замедлила против нее шаги, прислушалась и едва удержала себя, чтоб не потрогать дверную скобу. Потом — не стояя же

перед дверью! — она поднялась на площадку между этажами и остановилась у окна. Прямо перед нею стояло голубенькое строеньце с куполом — церквушка, переделанная в планетарий. «А что за этим куполом?» — и поднимаясь этажом выше.

Так, с этажа на этаж поднимаясь, взшла она до чердачного помещения и отсюда заливовалась на крыши. С печными трубами — то длинными, то присадистыми, с витью антенн, голубые, зеленые, розовые, холодного цинкового литья и цвета земли — крыши устилали собой все пространство вверх. Они лежали ровно, сплошь, по ним, казалось, можно было гулять так же привычно и просто, как по лугу или по площади или полевой безлюдной дорогой.

«...Отчего этот парень так на меня смотрит? Он что, догадывается, где я была? А вон и другой посматривает с ухмылочкой. Может, я задумалась и о чем-то проговорилась?.. Боже, как много народу, некуда деться!» — И вышла из трамвая, не доехав до дому.

Но и на тротуаре были все те же люди, люди, люди. И все толпятся, идут туда, идут сюда, встречаются и обгоняют, задевают плечами и сумками, заглядывают тебе в глаза. И чего бы им заглядывать? Может, у меня на лице сейчас что-то такое, о чем догадается и Женя? Нет, сейчас я домой не могу.

Кривая, немощная улочка привела ее на окраину, к кладбищу. Могилы без оградок — памятников, покосившиеся трухлявые кресты, и вдруг часовенка с золотым крестом, возле которой паслись куры.

Саша привалилась спиной к ветелке; ветелка, качаясь, тихо поскрипывала, пошумливая листвою, навевала сладкую грусть.

Интересно, что сейчас делает Сторожев? Заскучал он без своих бумаг и без щелкалки. «И вот опять я о нем... Для чего? Зачем? Такое случается, говорят, только в недружных семьях, а мы-то с Женей... мы ведь живем хорошо, и я его по-прежнему люблю. Ведь люблю!» И вдруг забеспокоилась, а еще через минуту ее охватила паника. Саша уже готова была бежать снова в город, на-люди, но тут из часовенки вышла старушка с ситом: «Гульки, гульки, гульки!» На ее зов из-под карниза часовенки, из-за оградки и отовсюду налетели голубы. И пока птицы клевали, а старушка сеела им пшено и хлебные крошки, о ее ноги все время терся дымчатый котенок. Он и убежал следом за хозяйкой в часовенку, играя на ходу и подпрыгивая. Это Сашу развеселило, и домой она шла успокоенная.

— А я тут пельмешки катаю!

Без майки, в комнатных шароварах Женя вышел навстречу с румянцем в щебе щек.

— Женя, давай куда-нибудь сходим.

— Может, для начала ты хотя бы прикроешь за собою дверь?

— В кино. А еще лучше в парк, на качели. Там еще самолет есть...

— Что это с тобой? Новое дело!

— Женечка, милый, мы каждый день что-то теряем.

— Ну уж! Мы живем, как все. Может, не лучше, но и не хуже других.

— Что мне другие? Мне не нравится, как живем мы. Каждый день все одно и одно, все одно и од-

но. Ну давай что-нибудь придумаем, а? Знаешь что пошли в ресторан!

— Вот это да! Замащечки...

— А что? Мы так давно нигде не ходили.

— Да ведь в субботу на дне рождения у Володи — заблуди! Сейчас я кликну Нечаявну — давай!

— Нет! Говори: идешь со мной или не идешь?

— Интересно...

Он откинул голову к стене, оглядел жену с расстояния.

С расстояния и как бы чужими глазами взглянула на Женю и Сашу. Взглянула и чуть не вскрикнула: «Женя, да у тебя брюшко!» Да-да, именно брюшко! Еще небольшое, но в то же время и уже довольно отталкивающее, оно плавным овалным козырьком нависало на поясной ремешок, отчего Женя показался Саше до обидного непохожим на себя — на того Женю, каким он был совсем недавно: юношески стройным, поджарым. «Гм... у него брюшко, а я и не замечала», — подумала Саша рассеянно, а когда заговорила вслух, то поразилась своему голосу: был он до удивления спокойным и негромким:

— Ты, значит, не идешь? Хорошо, тогда я иду одна. Вернусь нескоро.

Вернулась, однако, минуты через три, не дойдя и до соседнего дома. Женя встретил ее усмешкой. Не набросив на плечи домашнего халата, не скинув даже туфель, она выдвинула из угла на середине комнаты зеркало, а на его место загнала телевизор. Под оттоманкой что-то скрипело, дряло пол, но Саша и ее передвинула на другое место. Очередь дошла до шкафа.

— Ты что, рехнулась?

Привалась плечом к стенке шкафа, Женя наблюдал за Сашей вприщурку.

— Не мешай! — оттолкнула его она, и опять Саше бросилось в глаза брюшко мужа. Брюшко — большого ничего она почему-то не видела. Мимолетом мелькнуло: «Никаких забот, вот он и толстеет».

Сдвинуть шкаф Саша оказалась бессильна, и от бессилия своего вдруг заплакала.

— Что с тобой, Саша?

— Отойди-и!

Ткнувшись в подушку, она заплакала все горше и все безудержней.

Женя стоял над нею потерянный.

## 6

Утром, поднявшись с припухлыми веками, Саша дольше, чем всегда, наглаживала платье и дольше обычного пушила перед зеркалом прическу. Строго рассматривая себя, она здесь же решила: сегодня буду следить за собой, за каждым словом, за каждым движением. Следить постоянно, каждую минуту. И только с холодной головой. С холодной...

Однако стоило завиднеться больнице, и Саша незаметно для себя стала прибавлять шагу, а в цементный полуподвал, где раздевала, неслася уже бегом. Халат едва накинута, и наверх, наверх — в свое отделение.

«Постой, постой! Зачем ты прыгаешь через две ступеньки?» — окорачивала себя Саша. Только не поднимайся ей ноги, ноги несли ее и несли.

«Вот тебе и холодная голова!»

В две палаты разнесла лекарства привычно, а перед восьмой заребела. Не могла войти туда, и все.

Вернулась в сестринскую, посмотрела на себя в окошечко зеркала. Лицо пылало.

Не попросить ли Трушину Люсю: пусть в этой палате раздаст лекарства она? А в обед, а завтра кто за тебя это сделает? Никто не сделает. Хочешь не хочешь, а когда-то придется перебороть свою робость. Уж лучше сделай это сейчас. Иди сама. Иди.

Готовый к завтраку — умытый и выбритый, — Сторожов лежал поверх убранных постели и, прикрыв глаза, слушал музыку: крохотный, с лодной, радиоприемничек тихонько верещал у него на груди.

Услышав, что подошла сестра, Сторожов приподнялся, кивнул Саше и снова лег. Она оставила ему таблетки на тумбочке и уже уходила, когда услышала его голос:

— Сестра!

Оглянулась, не совсем уверенная, что окликнул ее именно он. Но окликнул ее он, Сторожов.

— Подойдите, голубушка.

Не чуя ног под собой, Саша вернулась. А Сторожов быстро метнул глазами по койкам вокруг себя — плутовской такой с искоркой взгляд.

— Не можете ли вы рискнуть?

Саша сделала движение сейчас же с готовностью ему ответить: она может пойти на любой риск, но слов у нее в этот момент не нашлось.

— Мне очень нужна одна книжонка. Из тех, что где-то там у врача. Не надолго. — Он еще раз оглянулся, перешел на шепот. — Не бойтесь, я буду осторожным, вот увидите... Что вы смеетесь? Я говорю глупость, да?

— Что вы, не волнуйтесь, пожалуйста... Книгу? Которую?

И он сказал короткую.

«Сестра, голубушка».

Как-то очень уж хорошо он это сказал! Так не говорил ей никто. Потом слово в слово она запомнила, что и как сказал он и что ответила ему она. И снова все повторыла его это: «Подойдите, голубушка». И краснела и стыдила себя за то, что говорила не так, надо было говорить ей как-нибудь получше, поумнее, и теперь они приходили на ум, эти складные слова, да проку-то, поздно уж, поздно! Будет ли случай поговорить с ним еще?

«Подойдите, голубушка» — и не сиделось на месте. То и дело забегала в ординаторскую, весело отвечала на телефонные звонки, наполняя киполом подушки, разносила обед.

«Сестра, голубушка» — и незачем уходить домой, сказала Таисе, что хочет работать и в ночную. — Ага, прокатала денечки в отпуск, теперь подзаработай надо? — весело погрозила та, довольная своей проницательностью. — Асеева уходит со вторника в отпуск, заступитесь вместо нее.

— Только со вторника? А сегодня?

— Сказано со вторника!

Неподалеку от больничных ворот, в холодке под кустом акacias, сидела старуха, вся в черном, продавала семечки. Она сидела здесь каждый день, а может, и целую вечность, и Саша так к ней привыкла, что часто проходила мимо, как проходил мимо телеграфного столба, не замечая, стоит ли он, или его убили. Сейчас же, увидев старуху, Саша оглянулась: нет ли поблизости ногой из знакомых, и опустилась перед нею на корточки.

— Бабушка, я слышала, вы гадаете...

— Гадаю, а как же! Тебе по руке или карту раскинуть?

Из-под передника, из потайного места, будто бы даже из-под юбки откуда-то бабка достала трепаную колоду карт.

— Все знаю, все вижу: муж ушел. От такой-то крали ушел! Приворожон. Завтра в ногах будет валяться.

Говорила старуха так напористо, что Саша и слова не могла вставить, но вот та взяла передышку, и Саша воспользовался ею, успела.

— Нет, бабушка, у меня совсем-совсем иное... Вы умеете отгадывать, сны?

— А то Ну-ка, что там у тебя?

— Еду я будто бы в поезде... с одним человеком.

А поезд-то коротенький, всего из двух вагонов.

— Так-так.

— В одном вагоне — я, а в другом — он... Выглянули из окон, смотрим друг на друга, и обоим нам так хорошо, так отчего-то весело, что и не сказать, как весело. Но вот что удивительно: поезд-то наш идет не по рельсам, а водой.

— Зрешный сон, пустой. Вода... стало быть, на воде вилами. Выкинь этого человека из головы. Выкинь, забудь, отруби. Будто бы никогда не знала, будто бы никогда его не видела.

Саша совсем опечалилась. Она собралась уже уходить, да вспомнила еще один сон...

— Вроде бы купила я себе шубу...

— Нехорошо живешь, милочка! Нехорошо живешь, от этого и сны у тебя нехорошие... Видала шубу — значит, быть шуму. Жалко мне тебя, возьми стопку семечек за так.

«Пошла ты со своими семечками!»

А дома опять ей вспомнилось: «Сестра, голубушка» — и захотелось сделать что-то не каждодневное, не надоевшее.

Взялась мыть еще чистые окна. Распахнула настежь все три, а ветер только и ждал этого — подкинул к потолку занавески. Стекло под рукой подпрыгнуло, лязло, и с каждым вымытым стеклом в доме становилось светлее.

Меняя воду, она шлепала босыми ногами по крашеным доскам, и каждый раз приходилось отдавался четко, звонко, и звук не затухал сразу, как при закрытых дверях и окнах, а заенел-отдавался долго-долго. На середине большой комнаты получалось особенно полнозвучно: здесь Саша остановилась и топнула покрепче.

— Но-у,— запело по углам.

Она засмеялась и принялась шлепать босой ногой еще раз, и еще раз, и еще раз... Снизу, из комнаты под ними, сосед Василий Капитонович забубнил ключом в потолок: «Владыкины! Эй, что там у вас, угоститесь!»

Потом Саша вымыла пол, умылась и прилегла отдохнуть. Ветер по-прежнему гузырил и подкидывал занавески. Ничнее, казалось, и воздуха больше стало, чем во все прежние дни, и был он, воздух, необыкновенно легок, чист и припахивал молодой тополиной листвою.

Замирая от радости и пылая щеками, Саша стала думать: вот живут они со Сторожевым в высоком доме, на самом высоком этаже, и под их окнами лежат крыши. Никому не видимое, только им одним видимое царство крыш — красных, сизо-цинковых, зеленых, с дымовыми и вытяжными трубами, с антеннами и с голубыми чердаками. Над крышами в небывшую видность возносится вечное небо, но только им одним видно, как оно высоко и вечно. И делается от этого сладостно и легко вверху: нам суждено остаться молодыми, молодыми на века... Вот такая нелепая, такая правдивая в своей четкой реальности и в острой радости картина предстала сейчас Сашиним глазам.

Девочкой любила Саша уходить за хутор, на Каменный холм. Внизу растянулась ровная-ровная даль, мягкие травы загибали в свои просторы. И чудилось: вот закрыл глаза и так, замкнутой, иди час и еще час — и ни разу не спотыкнувшись, ни разу не наступив на что-нибудь грубое, жесткое: такая это уходящая, ну совсем-совсем ковер-земля. Веря и не веря воображению, наперед зная, чем все это кончится, Саша тем не менее сбегала с холма в низину, в зеленую, но всякий раз возвращалась едва ли не в слезах: ровная издали безмятежность вблизи оказывалась грубым обманом. Тут что ни шаг, потнулись кроватые чонки, попадались водомоины; плотными сплюсн лежала старая солома и коряги, занесенные сюда полой водой. А сиреневые кулиги, казавшиеся издали цветами, оказывались все-навсего унылой голощичиной, неплодным солонком.

Что-то похожее происходило нынче и в Сашиных мыслях о Сторожеве. Вот уж какой раз ловила она себя все на одном: ее влечет узнать его поближе. Но в то же время заходить с ним в близкое знакомство она опасалась. А боялась Саша вот чего: вдруг окажется он черствым, каким-нибудь нехорошим человеком. Мало ли людей, которые с первого взгляда приятны, а при близком знакомстве... Ах, будь что будет!

Однажды, когда ей посчастливилось разговориться со Сторожевым, Саша потянулась к нему сразу, вмиг забыв обо всех опасениях, и долго потом благодарила себя за свою неожиданную смелость. Увидела из окна: Сторожев, то ускорив шаг, то почти останавливаясь, ходит в глубине двора и при этом то и дело поглядывает на каменный забор, словно бы к чему-то прицеливаясь. Саша направилась ему навстречу, заговорила первая:

— Гуляйте-ка, Сергей Сергеевич. На завтра служба, погоды обещает дождь.

— С громом или без него?

— А как бы вам хотелось? — И почувствовала, что уловила его тон. А он увидел пролом в заборе и задержал на нем свой взгляд.

— Вы сказали «Сергей Сергеевич». Был когда-то Сережа. Нынче Сергей Сергеевич — поправка на возраст.

— Бумаги ваши лежат у меня в столе...

— Они, значит, у вас!

— То и дело попадают под руки. Каюсь, я кое-что почитала...

— Не стоит каяться, греха тут нет. В данном случае нет...

— Вам, может быть, вернуть какую-нибудь книгу?

— Не надо, нет. Слишком я улекся, слишком. И он это хорошо сделал, что отнял. Этот наш Филиппок...

— Филипп Николаич-то? — засмеялась Саша.

— Извините, пожалуйста. Я прозвал его так дня себя.

— Фи-липп-поп!

Саше легко, хорошо смеялось. А Сторожев опустил голову.

Между ними что-то произошло. Неожиданно Саше показалось, что Сторожев пожал ей руку. Пожатие было — если оно было — мимолетным, как бы случайным, и Саша отшатнулась от Сторожева, чтоб не идти в опасной с ним близости. Но едва она сделала свои полшага в сторону, как сейчас же и пожалела об этом.

— Не обижайтесь, пожалуйста... Со стороны вы такой бука.

— Я бука?! — неподдельно удивился Сторожев.  
— Конечно. Вечно вы задумчивый, нигде не смóтите.

— Никуда? Это еще как сказать... Вот сегодня я и вправду бука.

Саша посмотрела на него внимательно: да, глаза его были несвеселы.

— Вот гуляю с вами, шучу и все такое, а дума только одна, и притом самая авантюрная: как бы сбежать отсюда? И поскорее.

— Сбежать?

— Сегодня у нас особенный день, своего рода событие. Я причастен к этому событию. На объект, конечно, уже невозможно, так хотя бы с расстояния, издали...

— А что для этого нужно?

— Для побига? Пока что не хватает решимости. Но решусь! Еще невозможно, и решусь.

— И прямо вот так, в больничной пижаме?

— А что поделаешь? Тут то и дело носится легковушка, как-нибудь столкнется с шофером.

— Погодите... Стало быть, одежда?

— Часа на два, не больше. — Он понял Сашу с полуслова и сказал это с мольбой.

— Не обещаю, но попытаюсь...

Сказала неуверенно, однако сразу же поняла: она не попытается — сделает это. И сделает тотчас же!

## 8

Слабостью кладовщицы Капитоновны были тыквенные семечки и пиво.

Саше повезло: на ее счастье, в ближайшем ларьке оказалось бутылочное «Игитлевское», а у знакомой гадалки в черном она купила два стакана поджаренных семечек. Когда она спустилась в прокладку кладовой, Капитоновна, чуть сутуля плечи, по своему обыкновению сидела на привычном месте, под лампочкой, и вязала.

Старуха взглянула на Сашу поверх очков и, чую нечто особенное, задвигалась, забеспокоилась. Предчувствие тотчас же оправдалось: Саша выгрузила перед ее лицом гору литых, крупностью с наперсток семечек.

— Какие, ой какие! — тихо воскликнула Капитоновна.

А Саша тем временем выставляла еще и пиво, но сразу же и свое условие: всего на минутку ей нужна одежда одного человека. Ну конечно же, конечно, она принесла и расписку. Капитоновна взяла эту расписку, загнула ее в левое полушарие ладони и с неожиданной для своих преклонных лет расторопностью затерлась в царстве чужих узлов. Скоро она вернулась с большой сумкой, но прежде чем отдать сумку, она взглянула на часы.

— Через три с половиной часа у меня пересменка, смотри не опоздай. В случае чего, с работы поспинают обеих.

«Поспинают... Не поспинают!» — и стрельнула вверх по ступенькам. Она знала, что Сторожев будет благодарить ее, но не ожидала, что он так обрадуется. Нет, он не говорил много, он только смотрел на Сашу, и радость его была видна во всем. Потом Сторожев спросил, можно ли вызвать такси. Ну конечно! И опять он благодарил ее долгим взглядом, хотя теперь-то уж не стоило бы: ведь это такой пустяк — вызвать по телефону такси!

Спортивного покроя, на «молящих» куртка и узкие брюки изменили Сторожеву. Стал он еще выше, статнее и ловчее.

Он предложил Саше проехать вместе с ним.  
— С вами?

При упоминании о дороге Саша почувствовала знакомый озноб. Как и в детстве, ее невыразимо тянуло куда-нибудь ехать — все равно куда, лишь бы ехать и видеть новое.

— Ну что ж, я сейчас... Я попытаюсь отгоспитряться. И опять она ощутила неожиданную, но уже и знакомую в себе твердость духа: не попытается, а отпросится наверняка.

Город остался позади, бетонка потянула их через скучную равнину к холмам.

Ехали на большой скорости. Саша нет-нет да поглядывала на Сторожева, но не узнавала его: стараясь перебороть какое-то свое волнение, Сторожев обхватил себя руками за плечи и не мигая смотрел на дорогу.

У подножия холма он велел таксисту подождать, а Сашу пригласил с собой. «Здесь близко», — сказал он, и они пошли. Скоро они оказались на краю глухого буерака, поросшего кустарником, и на их пути оказался столбик «Запретная зона». Недалеко за столбиком виднелась проволоочная ограда. Здесь Сторожев остановился и стал слушать. Невнятный звук доносился издали и как бы еще из глубы. Время от времени он становился явственней, и тогда земля под ногами чуть заметно подрагивала, а след затем возникало какое-то глубинное, утробное движение, будто бы сразу тысяча непомерно и неправдоподобно больших машин, расшатывая материковые устои, выдиралась откуда-то из глубин, из своего подземного плена, сюда, на вольный свет.

Этот звук и эта тряска земли были то, ради чего Сторожев так стремился сюда. Он каждую секунду неуловимо менялся в лице, каждый миг становился для Сашы новым. Когда звук садился, Сторожев тоже как бы садился — сутулился и досадливо морщился — как музыкант, уловивший фальшь. Но вот звук нарастал, и Сторожев вместе с ним как бы вырастал тоже: он распрямлял плечи, ясел лицом: «Ну-ну, милый, давай-давай!» После очередного сбоя звук ровно возрос и вскоре набрал такую могучую силу, что Сторожев еще раз, совсем уже по-новому преобразился. Он показался Саше безумным. Глаза его блеснули горяченько, он весь напрягся и замер, вслушиваясь.

«Сумасшедший. Боже мой, он сумасшедший!»

Где-то вдали и в глубине, случившись, как видно, что-то такое, во что Сторожев верил и не верил.

— Слава богу, раскогечерили!

И тут он внезапно угас, на глазах постарел, как человек, прошедший тернистый путь и теперь оказавшийся в тихой гавани. Как бы желя угасить его, Саша качнулась ему навстречу, но он не дал ей ничего сказать, он только взял ее за руку и крепко пожал ее. Ладонь его была горячая.

— Наука — она как горизонт. Сколько ни идешь — все перед тобою горизонт. Чем больше узнаешь, тем большего и не знаешь. Это моя жизнь...

Когда шли обратно к такси, Сторожев не то выдал тайну, не то обронил случайно:

— Вот откуда начинается наш путь на Жаксин-Гумар... Раскогечерили! Ай да молодцы, ай да ребята! — И засмеялся.

Все время, пока ехали назад в город, улыбка не сходила с его лица. Он что-то напевал, потом показывал, какой чудесный повсюду вид, и даже ни с того ни с сего подмигнул Саше и засмеялся в полный голос: «Ах, как хорошо!»

«Законченный, как бильярдный шар», — откуда-то



всплыло у Саши воспоминание о муже, но сейчас же и потонуло.

Уже показались дым и трубы заводской окраины, когда Сторожев спохватился: куда же мы торопимся, целых два часа в запасе. Уж лучше погулять здесь, в этой роще, на свежем воздухе. Саша не возражала, и они отпустили таксиста.

А роща и вправду оказалась чудесной: молодые ветки и липки, еще зеленая трава и неброские полевые цветы. И было непривычно после жесткого асфальта бродить по этой мягкой траве; каблучки то приятно упружили, то проседили в грунт.

На полянке, у кем-то оброненной булки, топилось с десятком голубей. Оттапливая друг друга, птицы клевали булку торопливо, и каждый старался оторвать себе кусок покурнее. Взглянув на голубей, Сторожев о чем-то подумал, улыбнулся и стал осматриваться по сторонам. Вот он нашел проволоку, быстро мастерил из нее сетку-ловушку на длинной ручке и, облюбовав чистенького голубя, стал за ним ходить. Вскоре он изловчился и поймал птицу.

— Голубь или голубка? — с такими словами подбежал он к Саше.

Саша покала плечом: она не могла определить. Бойкие, как и у всех голубей, глаза в оранжевом ободке посверкивали на Сашу с любопытством и доверием; радужный, от зеленого до розового перелив перьев на зобу и шее и красные «носочки» голубя не говорили Саше ни о чем. Нет, она решительно не могла угадать.

— Это голубка. Смотрите. — Двумя пальцами Сторожев слегка сжал птицу клюв, и голубь тотчас же затаялся, притих. — Видите, она не сопротивляется. Самец — тот всегда вояка, непременно будет крутить головой, выворачиваться.

А Саше неожиданно вспомнилось «Сестра, голубушка...» и сердце ее замерло.

— Прелесть, какая смиренница! Что мы с ней будем делать?

— Может, несем в больницу? — предложила Саша.

— Верно! У больничных сизарей такой утонченный вкус, такой высокий интеллект, они оценят незнакомую красавицу. Слышали, как сердечко воркует они по утрам? Куда там! Проникновенные голоса у них — от эрудиции. А здешние пиканы поддерживают свой авторитет на апломбе, — говорил Сторожев, не переставая улыбаться.

— А может... может, она к чужим не захочет?

— А вот мы посмотрим.

Сторожев вытянул руку перед собой и разжал ладони, голубка затаялась, как бы веря и не веря свободе, и вдруг — знакомый посвист крыльев.

— А! Что я говорила?

Голубка метнулась было куда-то под гору, да передумала, развернулась и пошла круто вверх над самой рощей. В частом плескании ее крыл слышалась радость. Она зывала подруг и друзей на свою высоту, в небо, где так прекрасно жить. И призыв ее был услышан. Белые, рыжие, полосатые моряки, а больше все привычные сизары по одному и парам зашептали к подруге со всех сторон. И вот уже стая в добрую сотню птиц залепескалась в небесной сини на такой высоте, откуда и шума не слышно.

— Вот кружат голуби, — сказал Сторожев взволнованно, — и я уже не удивляюсь, как в детстве, их полету. Теперь я точно знаю: летают голуби не оттого, что они птицы, а оттого, что у них малый удельный вес, превосходно развиты грудные мускулы, а крылья в каждой фазе полета изгибаются именно так, как нужно, чтоб лететь. Как много узнаем мы с годами и как много теряем, узнавая.

И посмотрел на Сашу: так или не так? Она все ждала от него чего-то необычайного ученого, опасалась, что не поймет его, а выходило, Сторожев и сам в чем-то сомневался, сам чего-то не понимал, и это — вот странное дело — Сашу сблизило с ним. Проникшись к нему полным доверием, она уж хотела было поделиться своей «теорией» — от ветра, мол, птицы, летают, но не решилась, сказала совсем другое.

— Надо идти в больницу.

— А что, разве уже пора? — И замолчал. И посмотрел на траву, что-то ища глазами.

В это время они обходили кулигу непролазных кустов.

Неожиданно Сторожев схватил Сашу руку и встал поперек дороги. Бесстрашно, дерзко посмотрел ей в глаза и объял. Поначалу она слышала, как колотится, готовое из груди выскочить, ее сердце, и лишь потом ощутила его ладони. Были они так горячи, что казалось, обжигали лопатки. А потом был его крепкий и долгий поцелуй.

«Он хитрый, очень хитрый!» — успела подумать Саша и поддалась его настойчивости, раскрыла губы навстречу.

«Хитрый, какой он хитрый! Сестра-голубушка... Голубка-смиренница... И вот я покорная! Боже мой, я ему покорная!»

— Только не надо, не надо, не надо уходить! — взмолился после всего Сторожев.

Не надо, так не надо, согласилась Саша с неожиданной для себя легкостью. Будь что будет. В больницу вернемся, когда стемнеет. Но вот стемнело, вот уже показалась и снова скрылась тоненький ободок месяца, а Саша все твердила про себя: «Я не могу туда возвращаться, не могу».

Лишь под прикрытием полной темноты пришли они к больничной калитке. Сторожев объял Сашу, поцеловал и тотчас же исчез. А она постояла, прислушалась и лишь после этого — прямая, вся напряженная, — стараясь ступать неслышней, пошла к себе в корпус.

## 9

Их больничный корпус был когда-то обыкновенный жилой дом, средний по высоте, но очень длинный, и во всю длину дома протянулся коридор. Позже к корпусу под прямым углом подстроили еще один дом такой же вышины и протяженности, свели их под одну крышу, а коридоры соединили. На стыке двух коридоров, под самым потолком, круглые сутки не выключалась электрическая лампочка, и в коридорах вечно держался сумрак, одинаковый вечерами и днями.

Однако на этот раз показалось Саше, что на месте тусклой лампочки у потолка подвешен необычайной яркости прожектор и направлен он своим лучом прямо на нее, на Сашу. Она вошла было в коридор, но сейчас же отпрянула назад. Ей казалось, что врачи, и сестры, и больные — все уже знают про нее и про Сторожеву, и стоит ступить сейчас в коридор, как что-нибудь переменится. Саша не представляла в точности, что может перемениться в ее нынешнем положении, но была убеждена, что перемены ей не миновать.

А корпус затаялся. Это была не та тишина, какая устанавливается, когда больные уже наступались в домино, нарисковывались анекдоты, тайно от де-

журного врача наигрались в карты и давно видят вторые сны,—нет! Ныне тишина была выходящая, язвительная и подозрительная. И стены, и темные ночные окна, и раскрытые двери палат — все это сейчас не что иное, как сплошные глаза и сплошные уши.

В дальнем крыле коридора невнятно, как бы сквозом сон, застонал. Через минуту стон повторился. Надо идти. Нельзя не идти.

Стараясь ступать как можно бесшумно, Саша пошла мимо темных окон с одной стороны и раскрытых настежь палат по другую руку.

«Они меня видят!—думала Саша о притихших больных.—Такие хитрые! До поры до времени будут помалкивать, будто бы ни о чем не догадываются...»

В ординаторской на голой кушетке, придвинутой изголовьем к телефону, спал дежурный врач, молодой мужчина из хирургического. Спал он на скорую руку — в халате и полуботинках, опущенных зеленой пылью, какая остается на обуви после ходьбы по лебеду. И Саша подумала, что врач, должно быть, только что прохаживался больничным двором и видел, как они со Сторожевым подошли к калитке и как потом расставались. Видел или не видел? Спит он или только делает вид, что спит?

Не спала, казалось, и Люся Трушина в дежурке. Она сидела, облокотясь на стол, подложила под левую руку кулак на кулак. Саша наклонилась к ней: «Люся, я перед тобой виновата. Домой поедешь, я такси...» «Отойди, отойди... дай досмотреть сон!» И эта хитри!.

Даже больная Смирнова, которая вот уже с полгода не подымается, живет лишь на искусственном дыхании, даже больная Смирнова что-то, казалось, о Саше знает. Желтая, изможденная, она держала в руке большую расческу, и, пошевеливая восковыми пальцами, подызывала Сашу к себе, и глядела на нее сухими глазами. «Это нехорошо, очень нехорошо, что ты загуляла с чужим, неродным мужчиной!»,—красноречив был ее строгий взгляд. Саша поправила ей подушку, дала лекарства и вышла. И лишь теперь почувствовала, что вся она опустошена и хочет, безумно хочет спать.

В сестринской Саша распахнула окно на весь разлет. Окно снаружи подпирала ветки сирени, и едва Саша распахнула раму, как они провалились в комнату, сплхнув с подоконника порошник, пузырек, и пузырек весело покатились под кушетку. Вместе с ветками напылил в комнату горьковатый запах листьев, а еще через минуту волной накатила прохлада.

И сразу спать раскотелось. Саша устроилась неудобнее на широком подоконнике и, ощущая спящий холодок красного косяка, заглядывая в небо. Оно было темное, без единой звезды.

«Сторожев, Сергей Сергеевич... Ты же спишь, милый? Или, может быть, смотришь, как и я, в открытое окно? Если не спишь, то о чем думаешь ты сейчас? Наверное, это опять твоя работа, лишь работа и книги. А может, думаешь ты обо мне? Если есть что-то свыше — бог ли, судьба ли — и если этой судьбе угодно будет смириться со мной и к тебе, и если когда-нибудь мы будем вместе, мы каждый вечер, каждую ночь — в часы, когда переданы все дела, будем открывать на всю раму окно и молча сидеть на подоконнике. Ты — прислонясь спиной к одному косяку, я — к другому. Мои колени будут упираться в колени твои, а руки наши переpletутся. Наш подоконник будет в самом высоком доме, на самом верхнем этаже, а ниже, под нами, будет царство огней и крыш. (Интересно, как они выглядают ночью, крыши? Надо как-нибудь посмот-

реть.) На наших глазах будет оставаться и затихать уставший за день город, одно за другим погаснут окна, отойдут ко сну целые улицы и кварталы, и вскоре на весь огромный город останется лишь несколько случайных машин, да изредка поздний дежурный трамвай, да где-нибудь карета. «Скорой помощи» попросят к больному. На наших глазах будут умирать одни звезды и нарождаться новые, выглянет из-за края земли полумесяц. А к утру на невидимых крыльях залетит из степей в город ветер, принесет с собою неуловимый звон поспевающих ошсов, запахов горькой полыни да луговых трав. Потом на крыши падет роса, и они заблестят тускло. На востоке прорежется свет нового дня, небо охватит заревом, а мы все будем сидеть, молчать, и думы наши будут высокими, светлыми. Вот улицы опустеют. Все спят — лишь мы разбужены. Парим с тобой над городом — счастливые и гордые... Роса на крыши ломится, у нас с тобой — бессонница, шальная ночь бессонная у лета на виду. Еще у нас — вселенная и звездные владения, и реки горворливые, моря, ветра, холмы. И самые счастливые на этом свете — мы!

Милый, милый! Я научусь заботиться о тебе, как не уметь заботиться о другом человеке никто. Если ты захочешь, у меня не будет жизни своей, я буду жить для тебя и только для тебя, и мне это будет счастьем. Только ты, пожалуй, оставайся таким, каким я тебя узнала. Не останавливайся никогда! Никогда... Все мы, должно быть, сотворены матушкой природой для назначения высоким; все мы, наверное, мечтаем гореть вот так же всю жизнь, да не каждому это удается. Мне не удалось — ну и что ж! Зато я буду возле тебя, буду постоянно видеть, как живешь-тылаешь ты, буду помогать тебе, и мне это будет счастьем».

Так, сидя на подоконнике, думала Саша Владыкина, не замечая, что ночь приближалась к половинной черте, к своему слоуму. А на сломе ночи тяжелейшим больным становится еще тяжелее, на сломе ночи этого чаще в больницы навевается смерть. И в этот раз из тяжелой палаты в дальнем крыле коридора принесся стон — высокий, резкий и страшный своей протяженностью. Последний стон человека живого. Саша сорвалась с подоконника и помчалась к стону, как умеют бегать больничными коридорами лишь врачи да опытные сестры, — стремительно и бесшумно.

## - 10

**Н**а утреннем обходе Сторожев развеселил всю палату. Когда они вошли сестрой — Филипп Николаевич, ассистент, Саша, старшая сестра Таиса да еще врач, Саша увидела, что Сторожев спит. Вот он услышал говор и обычное при врачах оживление, тряхнул спросонок головой и сел. Показал Саше глазами, что: страшно хочет спать, а она еще покачала головой: потерпеть, мол, надо.

Врачи выслушали четверых и подошли к Сторожеву, а он опять уже спал — в неудобной полусидячей позе: руки крест-накрест, голова на груди, волосы свесились на лоб. Поша упряжца.

— Каков? — указал на него Филипп Николаевич, и все засмеялись. Сторожев не проронсил.

На поправку взял — возгордился Филипп Николаевич. Что значит вовремя опять книги!

И разбудил Сторожева, пощекотав ему подушью бронзовой булавкой. Сторожев протер глаза и быстрым взглядом обвел всех.



— Извините, пожалуйста.— И соседу по койке: — Что ж вы меня не разбудили?

Все опять смеялись.

Когда Саша кончила смену, Сторожев пошел ее проводить к калитке в конце узкой нелюдной тропы. Саша не знала, как себя держать после вчерашнего, она стыдилась Сторожева, но первые же его слова в один миг прогнали и ее стыд, и скованность, и все ее опасения. Весело, приветливо ей улыбаясь, Сторожев сказал:

— Всею лишь второй раз вижу нашу палатную сестру Сашеньку не в халате, а в платье и без чепчика. Еще вчера мне хотелось сказать: как это все-таки некрасиво под каким-то казенным чепчиком прятать вот такую красоту,— и потрогал ее светлые волосы.

— Так надо было сказать об этом еще вчера. Отчего вы не сказали вчера же?

— Вчера мы были еще юны и застенчивы... Если нам улыбнется судьба еще раз остаться одним... И правда, какие прекрасные волосы! Расточительно прятать красоту, красота целительна.

— Как поживает ваша дочка Лида Панова? Я заметила: она с молодым супругом навевают вас часто.

— О, вы знаете и это? Прекрасная девушка, и жених, мне кажется, человек толковый. А как ваш сынок, что пишет о нем родные?

И Саша стала рассказывать об Андрееке, и, как у всякой любящей матери, выходило у нее, что сын ее — самый лучший ребенок на свете.

Так шли они и говорили, и Саше было так хорошо, как, может быть, ни разу в жизни. Она готова была гулять со Сторожевым вплоть до самой ночной смены, но тут ее окликнули.

Пряча усмешку, к ним приближалась Оля Нечаева, и Саше пришлось со Сторожевым распрощаться.

— Извини, я на минутку,— сказала Оля на ходу.— Дай скорее десятку, очередь заняла за кофточкой. Там такие кофточки выкинули... Поздравляю, ты этого длинного любишь. Но уйди, Сашка, ты-то им ослеплена, а он тебя не любит. Ни чуть-чуть, он только заигрывает с тобой.— Оля взяла деньги и поспешно, но вот обернувшись еще раз и шумнула издали: — Ни-ни! Ни чуточки!

«Любит — не любит — не твоё дело... Сегодня меня не рассердит ничто на свете», — подумала Саша. А на душе сделалось нехорошо.

Вот он дом, многолюдный, многоэтажный. Гремучая деревянная дверь в твоей подъезд. Сорок четыре бетонных ступеней вверх — и окажешься у двери другой, аккуратно обшитой коринфиевой обивкой. За дверью этой — все твоё, только твоё: комнаты со всеми этими шкафами, этажерками, платяными и посудой. Все то, от чего ты уходишь по утрам и к чему возвращаешься каждый вечер; все то, где ты отдыхаешь, а порой устаешь, но чаще все-таки отдыхаешь — от своей работы, от очереди в магазинах и от всей разномыслий городской суеты; все то самое, о чем ты скажешь где-то или просто подумав: «Пойду-ка я домой», или «У нас дома», или «Пойдемте-ка, ребята, к нам».

Уже целый год Саша входила в свой дом до того привычно, что и не замечала, каков же он, их дом, кто около подъезда постоянно сидит и кто перекрасил в новый цвет рамы или балкон.

А сейчас, подойдя к своему дому, Саша почувствовала растерянность: «Зачем я сюда пришла? До мелких подробностей представляла: сейчас она войдет в свои комнаты, что-то там будет делать, потом встретит Женю и что-то ему скажет, а стало быть, скажет... Можно, конечно, не говорить ничего, да

ведь порой и молчание не самая ли большая ложь?

Не удаляясь от своего дома, но и не собираясь в него заходить, стала она прохаживаться взад-перед.

— Вы, должно быть, клоч потеряли,— окликнули Сашу с четвертого этажа.— Я смотрю, ходите и ходите. Подождайте, видно, мужа? Нескоро его дожидетесь: в столовой с получки!

«Боже! Опять кому-то что-то надо! И все-то им известно! Шагу не шагнешь без подсказки. Получка! Ах, у него сегодня получка!...»

Направляясь в столовую, где троица неразлучных — Володя Барков, ее Женя и Макс — «обмыла» получку. Пили они обычно лишь пиво, неторопливо пили, сбавляя трапезу безобидным каламбуrom да анекдотами. В такие дни Женя приходил веселым, одаривал Сашу с Андреекой сладостями да безделушками с галантерейного прилавка, и Саше нравились эти дни.

Повторяя: «Получка, ах, у него сегодня получка», — Саша увидела ребят издали, еще с улицы, через широкое окно. Облокотясь на высокую стойку, они потягивали пиво. Сейчас она подойдет к ним, наговорит грубостей, чтобы знали...

«Боже, да зачем это? — спохватилась Саша. — Телерь-то это уже ни к чему». И остановилась, в столовую не вошла.

Куда же теперь — домой? Но и домой идти она не могла. Неожиданно явилось яростное отвращение ко всему тому, что находилось там, за их аккуратно обшитой дверью. Все свое нажитое показалось ей дурным, опостылевшим грузом.

И прошла мимо своего дома.

## II

**К**уда пойти? У кого бы остановиться? У Женин сестры Юльки — она всегда такая приветливая. Нет-нет. Идти к родственникам покинутого мужа — это ли не кощунство? К Нечаевым? Барковым? Опять не то: в своем доме оставаться больше не могу, нет. К Люсе Трушиной? Что Люся? Приютит на ночку-дню да и то лишь для того, чтоб вызвать все: как, зачем да отчего все это случилось, чтоб потом все это рассказать «из самых первых рук»... И отвечать, ни рассказывать Саше не хотелось сейчас ни о чем и никому. Не нуждалась она и в сочувствии.

Так шла да шла Саша Владыкина — бездумно, сама не зная куда, шла просто вперед, лишь бы не оставаться на месте. И все прикидывая, все перебирала в памяти, у кого бы можно было остановиться и пожить. И оказалось, что знакомых-то много, а пойти вот не к кому.

— Да ты что это не откликаешься? Шумлю: «Саша, Сашенька!» — а она и ухом не ведет.

Хлопая густо накрашенными ресницами, Сашу догнала Таиса.

— Ты отчего такая сумрачная?

— Да нет, я ничего, Таис, ничто...

— А отчего ты не дома?

— Да вот по магазинам надо.

— По магазинам? С коих это пор в моих деревенных краях появились магазины? — Таиса взглянула на Сашу внимательно и вдруг сказала решительным своим тоном, каким привыкла распоряжаться в больнице: — Знаешь что, милая девочка, идем ко мне.

И Саша пошла за ней, не прекослова.

Домик у Таисы, как и у многих на этой окраине: деревянный, с палисадником и крашенными в голубое наличниками.

Едва переступила порог комнаты, как Таиса спросила, не желает ли Таиса принять ванну. Нет, Саша уже искупалась — у себя в большой душевой.

— А я, грешница, люблю понежиться в нагретой водичке. — С этими словами Таиса заплела газ, стала греть воду, и вода сейчас же весело зашумела.

Под этот шум Таиса расстелила на диване простыню, абила подушку и опять куда-то удалилась. Ходила она, несмотря на свою полноту, расторопно и бесшумно. Потом принесла книгу, роман, велела Саше прилечь отдохнуть, а сама опять удалилась в ванную комнату и пробыла там долго, не меньше часу, зато вышла оттуда совсем новой — ничуть не похожей на ту старшую сестру отделения, какую привыкла видеть Саша каждый день в белом строгом халате и чопорном высоком чепце. Сейчас Таиса была в домашнем платье — простеньком и не новом. Но главная перемена была не наряд, а лицо — брови и ресницы. У Таисы всегда они густо подкрашены в черное, и ресницы кажутся длинными-предлинными, а брови — широкими, яркими. Неокрашенные же брови и ресницы оказались совершенно бесцветными, их даже будто бы не было совсем. Потеряла свою выразительность и глаза. Но вся эта перемена, как ни странно, рождала какую-то необъяснимую симпатию к Таисе: в этом простеньком своем одеянии и без косметики она казалась очень уж доброй и тихой хозяйкой по дому. И к такой, к новой, Таисе вдруг захотелось подойти, и, как в детстве часто бывало у них с матерью, прислониться щекой к ее плечу, и слушать что-нибудь — пусть это будет сказка, рассказ о живом прошлом или хоть песенка — все равно.

Вот Таиса стала поливать цветы, в чистеньких горшках подвешенные под белой тканью, и в движениях ее полного тела и полных рук была неожиданно своя красота и своя gracia: все эти движения были мягки, округлы и законченны.

«Ах, город ты, город! — тихо поражалась Саша. — Сколько лет работано с Таисой, а не знаю, как она живет и чем. А вот в Мостках я бы с малых лет знала о ней все».

Таиса между тем тихо постукивала кончиками пальцев по аквариуму, этому стеклянному ящичку с водой, словно бы подкрашенной в зеленое, и на ее призыв сбегались нарядные рыбки. Округли выпученные глаза и широко раскрыл беззубые пасти, рыбки тыкались неслышно изнутри в стекло тулыми рыльцами и, казалось, угрожали, силились кого-то насмерть перепугать.

— Проглодалась? Ах вы мои касатки, ах вы пичужки беззачитные! Ешьте, кушайте на здоровье, — задумчиво говорила им Таиса, рассыпая поверх воды сухой корм.

И Саша опять дивилась, не могла надивиться: откуда у Таисы эта ее задумчивость? Где же та властная, грубая и самоуверенная старшая сестра отделения Таиса Федоровна, что ходит по коридорам больницы так, будто бы она королева?..

От этой, новой, Таисы не услышишь, казалось, грубого слова; эта не расскажет стыдного анекдота, не на шумит, не кричит.

И тогда Саша неслышными шагами подошла к ней, зарыла лицо в ее теплые, мягкие руки и заплакала.

— Ну-ну, девочка моя, ну-у, — только и сказала Таиса, и мягко, необходимо вернула Сашу на диван, и села рядом с нею.

...Помните? Поезд все убыстрит и убыстрит свой бег, убегает все дале и дале от вашей стан-

ции, от вашего родного дома. Мертно покачивается большой, уютный, теплый вагон. Задумавшую, мягкую, бьющуюся мелодию завистливо по рельсам колеса. А за окном надвигается ночь — бесконечная noch поздней холодной осени; голыми полями носится ветер, он за кем-то гонится, он кого-то ищет, да так, видно, и не находит, и оттого так жутко и неистово-слезно его завывание в проваодах; вот он с шумом грядущей воды ломится на грунт, вот он ревет, грозясь поломать деревья, колыхнет, клонит к земле податливую чилигу, порывит а окно последней листовой. О, это уже не ветер, но зверь, неприютен и зол, и в нем холодная изморось, то и дело переходящая в мокрый, липучий снег. И хорошо, и боязно, и жутковато слушать это завывание, этот кураж за окном — хорошо оттого, что сидите вы в тепле, при неярком сиянии ночника. А напротив, за тем же столиком, ваш полутчик, чужой, незнакомый человек. Он тоже устался в одну точку, тоже вслушивается в музыку бегущих по рельсам колес и тоже думает, наверное, каково-то сейчас там, за стенами вагона, в этих полях и лесах. Вот человек потрогал пальцами черное стекло окна, как бы желая проверить, холодное оно или какое, вот он чему-то своему улыбнулся, потом негромко, словно бы невзначай, бросил одно слово, другое, третье... И случилось диловинное: вдруг показалось, что вы знаете этого человека давно-давно — может, с самого первого дня своей жизни, а может, еще раньше, раньше. И вы прониклись к нему доверием в минуту, в один миг, сразу. Вы у него в плену. В плену его голоса и его слов. И вот уже меж вами негромким ручейком закружил самый разговор-исповедь о самом сокровенном, самом-самом личном, когда вовсе не к чему объяснять, кто а есть и откуда, когда вовсе не к чему заботиться о красноречии — складные слова льются сами собой; когда говоришь и все хочется, хочется говорить еще, и все сказанное не утоляет ни вас самого, ни вашего полутчика. В такие вот минуты душевной раскрепощенности вы незаметно для себя расскажете то, чего минуту назад считали никак не возможным рассказывать никому на свете.

Вот и Саша рассказывало сейчас тоже охотно, тоже в сладость, и голос ее был то чист и ясен, то как бы потерял, то радостно-пухляк. Рассказала она все. И про то, как жила раньше, — это были монотонные, одинаковые, как столбы на полевой дороге, дни; и про то, как все у нее изменилось после знакомства со Сторожевым — жаль только, что случилось это так непростительно поздно.

Таиса слушала. Уронила круглую свою голову на оба кулака сразу, сидела тихо, не шелохнувшись, только похлывала бесцветными ресницами и опять казалась какою-то очень уж домашней — смирной, покорной и нежной. Но если б Саша не ушла так глубоко в свои думы, в свои печали и радости, она давно бы заметила, что лицо Таисы как бы отражает в себе и эти ее думы, и печали, и радости.

— Со стороны все это, может быть, и смешно, и ты, наверное, осуждаешь меня... — Саша взглянула на Таису в большом смущении.

— Осуждено? Не говори так, не надо... Я-то давно за тобой все это заметила.

— Правда?

— Конечно. С самого первого дня. Да у тебя же все на виду, все нараспашку: и улыбка, и голос, и эта временная твоя красота.

— Временная? Как это временная?

Таиса стала говорить про красоту женщины в дни долгой ровной радости или большой любви. Тогда улыбка словно бы витает вокруг лица, тогда

неожиданно появляется плавность и ловкость в движениях, голос становится глубоким, грудным, полнотонным, а походка — летучей, легкой...

— Да что тебе объяснять? Ты и сама знаешь это за собой. Знаешь и радуешься.

И Саша легко согласилась, что замечает это за собой всегда. Ныне каждая минута у нее — сама радость. Такая радость, такая! Она нехорошо, непростительно счастлива нынче. Так счастлива, что порой стыдно от людей: ведь очень многие, а может, большинство людей за всю свою жизнь не испытывают и доли той радости, что выпала ей одной, Саше.

— Да-да. Ты, по-моему, стала даже высокотонной от своей радости. Не замечалась ли за собой такого?

Ах, не все ли равно, отвечала Саша. Но она так счастлива, что порою начинает бояться своего счастья. Порою ей начинает казаться, что наша жизнь, жизнь любого смертного, идет по какому-то своему неписаному жестокому закону, по закону моря. Как в море за приливом неизбежен отлив, так и у нас чужь ли не всегда за радостью надо распахиваться, а смех приходится окупать слезами.

— Ах, Таиса, милая, я совсем запуталась, как видишь. Я уже и в счастье начинаю искать несчастья. Мне так хорошо, так хорошо нынче каждый день, но не знаешь ли ты, что в конце концов из этого выйдут?

— А зачем тебе ждать какого-то конца? Ты живи, и все. Если останется в тебе все это надолго, считай, что тебе повезло, ну а если пройдет, уляжется, — переживешь, как пережили другие. Кто из нас не прошел через это?

— Ты сказала «прошел через это»? По-моему, все это случайно, недолго, на время? — И Саша подалась вперед, к Таисе.

— Я ничего-ничего не знаю и ничего не хочу пророчить. У каждого это случается по-своему. Начинаешь у всех по-своему, а кончается, как правило, одинаково.

— Как же? — Саша притихла в ожидании.

— У всех кончается обычно это тем, как если бы ловить в поле ветер.

— Ветер... ветер, по-моему, это что? — спросила Саша. — По-моему, это все пустое?

Таиса молча пожала плечами: «Если хочешь, понимай так».

Они еще некоторое время помолчали, а потом Саша сказала:

— Вчера я загляделась на то, как ребята запускали змея. Один из них держал змея, а другой был далеко впереди со своею ниткой. И оба они так бежали, так бежали...

Таиса посмотрела на нее выжидательно, как бы желая спросить: «Ну и что?»

— Ну и что? — спросила Таиса.

— Как это что? Без ветра не взлетишь... А впрочем, я говорю, наверное, что-то не то, совсем не то. — А как, по-моему, он, твой Сторожев... он, по-моему, любит тебя?

— Любит? Не знаю, не думала...

Тут Саше внезапно вспомнилась встреча с Олей Нечевой в больничном дворе и этот красноречивый ее знак «ни-ни, ни чучотки». Что-то вроде досады или неприятия приключалось было к этому воспоминанию, и Саше вдруг показалось, что она бедная, бедная, беднее всех на свете. Успейм воли ей удалась все это подхватить, скрыть, и Таиса ничего, кажется, не заметила.

— Любит? Да это не имеет никакой важности. Главное — люблю я! — сказала Саша с жаром, но тут опять вспомнились ей Олины слова и знаки... Я сейчас сильная, уверенная, готовая перенести мно-

гое. Я и к тому даже готова, что он не захочет встречаться со мною потом, после больницы. Миг, день, вечность — не все ли равно? Для меня нет сейчас ни вчера, ни завтра. Я и не подозревала, что способна чувствовать такую силу, какая у меня теперь.

— Боже, все, наверное, прошло через это. Всел! — Не говори, пожалуйста, своего всел, мне почему-то обидно от этого «всего». А у тебя, Таис... у тебя тоже это было?

— Было, было. Еще как было!... Самое начало войны, самые первые раненые... Впрочем, к чему все это?

— Таиса, милая, прости меня, пожалуйста. Я не хотела, это вышло само собой.

Но Таиса казалась уже совершенно спокойною. Казалась... На самом же деле это уже немалодолгих лет женщина думала о своем, о далеком-далеком. О том думала она, что жизнь все и вся любит перекирывать на свой манер, и перекирывает безжалостно. Когда-то говорили Таисе, что лучший целитель, лучший лекарь от былого — время. Случилось же обратное: чем глубже уходил в годы, тем все нестойчивей, все чаще возвращаешься памятью в те свои горькие, но и золотые денки. Отчего это? Может, это лишь у меня одной? — думала Таиса не раз и тотчас же возражала себе, что нет, что и другие, наверное, помнят. Еще как помнят! Особенно те, кто кортает жизнь в одиночку. Они только говорят, только не признаются, что забили, а сами помнят и помнить будут до конца своих дней.

Заболитесь мы с тобой, а соловья вы баньями не кормят. Давай-ка сделаем вот что, давай-ка закусим и наливочкой побалуемся. Знаешь, какая наливочка! Саша делала.

Усадив Сашу за стол, Таиса доставала из холодильника и с полком то пирог с яблоками, то сдобушки, то сыр, то стаканчики да графинчики. И за этим умело заставленным столом, за самодельной вишневой наливкой, напоминающей вкусом хорошее крепкое вино, у них журчал да журчал разговор — о работе, о врачах и о больных. Разговор был настолько простым и житейски откровенным, что Саша не постеснялась сказать того, чего не сказала бы старшей сестре своего отделения никогда.

— Таис, милая, я не узнаю тебя сегодня. Там, на работе, ты совсем-совсем иная...

— Грубая?

— Да, порой и грубая. Но в основном — деловая, слишком серьезная и... сухая, что ли. Ты не любишь своей работы?

— Как тебе сказать... В восемнадцать лет я стала медицинской сестрой, то есть тем же, кем осталась и теперь. Вот уже скоро тридцать лет все одно и то же, одно и то же, одно и то же. В перспективе — пенсия и старость. Как бы держала себя на моем месте ты?

От такой откровенности Саша растерялась, не знала, что и возразить.

— А учиться? Ты поступала в институт?

— Пыталась, конечно. И не раз. Да что поделаешь: не идет учение. Я и в школе-то еле тянула на троечку. Голова, выходит, не та.

И опять Саша крепко позавидовала такой простой человеческой откровенности.

— Не надо сейчас о нем, не хочешь! — восстала Саша. — Опостылею все... Одни и те же слова, одни и те же шуточки. Утром скажет первую фразу, и я уже знаю, о чем будет говорить он в течение дня... В будни еще так-сяк, в будни работа спасает, а в выходной со скуки умереть можно... Верши ли, он и поет-то всегда одну и ту же песню: «Ландыши, ландыши...» И чего он помешался на этой песне? Диву

даюся, как это я с ним так долго выжила. Давай о нем больше ни слова.

— Ну, давай...

— А уже пьяна, Таис... Что-то я скажу тебе сейчас, а ты не обижайся, ладно?

— Давай, чего там.

— Порой смотрю на тебя — там, в больнице, и ты кажешься мне пожилой, даже старой. Но вот прикину, что всего через каких-то двадцать лет стану такую же, а то и старше на вид я сама... знаешь, страшно становится. Страшно не оттого, что буду старой и я, а страшно, что наступит это очень, очень скоро.

— И не заметишь как!

— Когда-то мне казалось, что настоящая, главная жизнь начнется у меня после двадцати. Двадцать лет виделись мне неким порогом. Этот порог обещал зрелость ума, трезвость мысли и полную независимость от преподавателей и от родителей. И вот минуло двадцать... Отчего это после двадцати так часто, так внезапно подлетают дни рождения?

— Э, погоди, потом они побегут еще быстрее.

— Будто бы ехала сначала обычным поездом, а после двадцати пересела на скорый.

— Еще и на самолет пересядешь...

Вот такой был у них разговор — неспешный, обстоятельный, допоздна. Здесь же и порешили, что жить покамест Саша будет у Таисы, а что и как дальше — жизнь покажет сама.

## 12

**Ж**еня подждал ее у больничной ограды, неподалеку от главных ворот; стоял он, накрылив по-птичьему плечи и слегка подавшись корпусом вперед. Увидев Сашу, он энергично вскинул голову, и пока она приближалась, смотрел на нее напряженно, прямо, не отводя глаз. В этом его взгляде было глубокое недоумение, своя правота и жесткость, и только раз промелькнуло в этом взгляде что-то безнадёжно-беспомятое — так смотрят в глаза близкому, превращаясь в знак, что случилось что-то из рук вон плохое, но все еще не желая верить, что это плохое уже случилось.

— Саша, а я тебя так долго искал. Где ты была, у кого сегодня ты ночевала? — спросил он негромко, и силовый срывающийся голос выдал его огромную тревогу.

— Где была, там же нет. Это — мое личное дело, — сказала Саша на ходу, не укорачивая шагу. Но Женя схватил ее за руку.

— Саша, поскольку мы семья...

— Была семья, да кончилась. — И опять бросилось ей в глаза его брюшко.

— Ка-а-а! — вскричал он словно от боли и развернул Сашу лицом к себе. Грубо, жестоко взял ее за подбородок, так что не шевельнуться, не отвернуть от него глаз.

— Ты говоришь, все! — повторил он еле слышно, и она показала глазами, что да, все, мол. — А? А сын! Андрейка наш как же? — спрашивал он еще тише.

При упоминании об Андрейке что-то перехватило Саше дыхание, но сейчас же и отпустило. Но отпустило еще не настолько, чтоб можно было говорить, и Саша только глазами, одним только взглядом сказала Женю, чтоб он не держал ее, и когда он принял свои руки, она не отвела взгляда в сторону, а продолжала смотреть мужу в глаза.

Уже по одной и парами торопились на работу сестры и врачи из других отделений; уже покурива-

ли, прокашливаясь ранним утренним кашлем, пожилые больные у своих корпусов, а дворник Петр Захарович прибирал в сарай черные поливальные шланги. Саше не хотелось привлечь на себя и мужа чужого внимания, и она собрала все силы, чтоб сказать то, что сказать было необходимо.

— Я полюбила другого...

— Правда?.. Сегодня ты... значит, — он не мог говорить, задыхаясь. — Сегодня ты ночевать опять будешь, не дома?

— Опять? — она увидела, как челюсти его начали сжиматься, желваки взбурливались, разбухли, и поспешила добавить: — Я буду ночевать не дома, но и не у него, нет.

А он не сводил с нее темнеющих глаз и молчал.

— А я знал это. Знал вчера, позавчера и еще раньше... Предчувствие, — сказал он наконец, и во взгляде его мелькнула тонкая пронзительность ревнильца.

«Знал, но ничего не говорил, так как боялся: а вдруг мои подозрения окажутся верными», — мысленно довершила за него Саша.

— Любвиной твоей... он кто? — спросил Женя, не разжимая челюсти. — Я говорю глупости, чушь... извини, — зашептал он потерянно, и кадык его сделал громкое сухое движение сначала вверх, а потом вниз.

И вот эта его убитость Сашу рассердила.

— У-у, как надоела мне вечная твоя уступчивость. Ты ни разу в жизни не сделал своего самостоятельного шага, ты всегда выжидал, жил по чужим, готовым меркам, всю жизнь копировал с других. «Жить, как все». «Чем мы лучше других?» Телевизор купим, как у Нецаевых».

— Ты говоришь неправду, неправду подряд. Неправда, что я такой нехороший, неправда, что у тебя что-то там есть. Ты просто разглагольствуешь меня, — и опять поймал ее за руку, заглянул ей в глаза и вдруг словно бы улавливал в росте. — Саша, родная, ты затеяла что-то плохое, очень даже плохое затеяла... Знаешь, я сейчас напьюсь до потери сознания.

— Пей. Пожалуйста... Отпусти руку, я опаздываю на работу.

— Саша, ты разорвешь семью...

— Довольно, все. Не встречай меня больше никогда. Я к тебе уже не вернусь.

— А я буду приходить. Буду... Каждый день... Я буду ждать тебя всегда... Я перетерплю все и дождусь тебя... Дождусь. Вот увидишь.

Саша содрогнулась: в его твердых, с паузами словах, в его сухих, остановившихся глазах было сейчас что-то тяжелое, как бы даже роковое. И уже больничным двором шагая, она долго еще видела то этот горячий его взгляд, то новое — волевое, непокорное лицо упряма. Долго еще стояла в ушах его чеканные, с расстановкой слова: «Дождусь. Вот увидишь».

И точно. С того самого дня Женя будет приходить к больнице с аккуратностью курьерского поезда. Саша будет заходить его издаль, если с трамвайной остановки, и вынуждена будет идти прямо на него. А он будет стоять, опершись плечом о телеграфный столб, стоять не шелохнувшись и смотреть, смотреть на Сашу. В его взгляде будет и стыд и позор покинутого, но надо всем этим воспримет неумело скрываемое ожидание. А Саша будет и будет проходить мимо него, не сбавив шагу, не удостоив его ни кивком головы, ни единым словом.

Но все это случится потом, много позже. А сейчас Саше всего удивительней было то, что в душе своей она не заметила ни ужаса перед мужем, ни неловкости на стыд или раскаяние за свою близость с

другим. А ведь недавно, какой-нибудь месяц назад, женщину в своем положении Саша посчитала бы низкой и, наверное, презирала бы ее.

Но чем дальше заходила Саша в глубину больничного двора, чем отчетливее выступал из-за тополей корпус нервных болезней, ее корпус, тем энергичней выбрала она шаги, а на душе становилось веселее.

«Какое же чудесное сегодня утро,— думала Саша.— Какая обильная роса по траве и как славно постарался дворник. Так промывать асфальт— надо же! Он блистает словно зеркало или начищенный паркет. Вон как горделиво вышагивают по нему голуби, вон как они разворковались, как, потягиваясь, распускают крылья и встраиваются. При такой чистоте и родственники больных и сами больные держатся куда веселее и встречают тебя приветливо, сердечней... Сейчас я увижу его, уже сейчас».

Поначалу мысли о Сторожеве были все новы, лучезарны и возвышенны. То виделась его улыбка, которая так его молодит, то совсем осязаемо, вьвая ощущала Саша прикосновение непривычно горячих его ладоней или слышала его смех.

Но вспомнилось неожиданно и совсем иное, горькое, а то именно вспомнилось— это как Таиса и Оля почти в один голос сказали о том, что он, Сторожев, наверное, ее не любит...

И сразу сделалось так нехорошо, что каблучки по асфальту дали осечку, сбой.

Ну, Оля, положим, не в счет, размышляла Саша. Оне просто-напросто захотелось посердить меня и посмотреть, что из этого получится. А вот Таиса... Что же такое знает она! Что она заметила между нами! Когда? Где? А что она сказала-то!.. Да нет, Таиса ничего, кажется, и не сказала, она всего лишь спросила, и все.

И хотя Саша помнила прекрасно, что тогда еще, перебивая Таису в разговоре, уверяла запальчиво, что для нее, Сашин, разговор не важно, любит или не любит ее Сторожев, она тогда еще почувствовала, что Таиса знает про них— про нее и про Сторожева— что-то гораздо большее, чем она сама, Саша; почувствовала и поспешила перебить ее в разговоре, хотя ее связал изнутри неприятный холодок, и еще тогда она успела подумать почти с суевренным страхом: «А вдруг и правда не любит?»

«А правда, любит он меня или нет?— думала она сейчас.— Как бы это узнать, как бы это увидеть? А еще лучше, если б сказал обо всем этом он сам... Я спрошу его, и он скажет правду, скажет. Но как это сделать?»

Надо б было обдумать все это обстоятельно, неторопливо, но уже во весь рост приближалась ее корпус, вот уже главный подъезд, а вот и сам он, Сторожев. Приветливо улыбаясь, он идет Саше навстречу.

И увидев его, Саша так обрадовалась, словно бы он, целый и невредимый, вернулся из бог вестя какого опасного путешествия. Обрадовалась и в один миг забыла все свои сомнения и опасения, какие зародились было у нее минуту назад.

— Здравствуйте, Александр Павловна!— сказал он, не переставая улыбаться.

— А я знаю теперь, отчего это куртка у вас зеленая,— сказала она вместо приветствия.

— Отчего же?

— Человек по интуиции, по чутью подбирает одежду под цвет глаз. А у вас глаза с зеленой—

— Да здравствует интуиция!— засмеялся Сторожев.— Зеленый цвет— это цвет надежды и, как утверждают социологи и медики, он к тому же еще и успокаивает. Возле меня всегда и всем будет спокойно,

И ведь верно: от его ли слов, а может, и еще отчего-то в раздевалку Саша вошла совершенно успокоенною и уже наперед знала, что и весь этот день будет у нее в меру веселым, удачным и полным большого смысла. Да таким он и получился, этот ее день, только очень уж коротким, как и все дни в больнице при Сторожеве.

## 13

И а другое утро Саше передали записку. От мук.

«Саша! Мо встрече с тобой я держал себя плохо. Прости меня. Я все обдумал за эту ночь. С тобой там что-то случилось, но когда у тебя это кончится или станет вдруг нехорошо тебе, то возвращайся домой поскорее. Я буду любить тебя по-прежнему, и все у нас будет хорошо. Вот увидишь. Твой Евгений».

Записку Саше передали на другое утро, а вечер накануне прошел у нее со Сторожевым. Саше в тот вечер повезло прямо-таки удивительно— и на дежурного врача и на погоду. Дежурил Виктор Васильевич из терапии, мужчина флегматичный, не придира. С вечера, еще до захода солнца, он зашел, сказал Саше, что «в случае чего» ему надо позвонить в ассистентскую, ушел к себе наверх да так больше и не появился.

А погода стояла ровная, при чистом небе и без ветра, и даже тяжелые больные почти не беспокоили.

Саша и Сторожев встретились в анатомичке, длинном, уютном помещении. А чтобы стоны и просьбы больных были слышнее, сидели при открытой двери. Сторожев учил Сашу играть в шахматы. Раньше она посматривала на шахматные фигуры как на что-то недостаточное для своего ума, а больных, умеющих играть в эту игру, считала людьми серьезными, образованными и загадочными. Но вдруг сейчас сама она с какою-то непостижимой легкостью, с какою-то радостной уверенностью усваивала и коварные выпады коней и косые, далекие удары слонов; ее восхищали своими поистине безграничными возможностями неуязвимый ферзь, а пешки удивляли.

— Только прямо перед собой и никуда больше!— изумленно говорила она о пешках.— Да это ж слепые кутята!

— Но слепой кутенок вырастает ведь в зубастую овчарку.— И Сторожев показывал, как пешка может стать ферзем.— А король, по-твоему, кто же?

— Самый отчаянный трус! У него только вид да звание. Вид его так и говорит: «Я руковожу государством, я команду полками». А сам наставил вокруг себя тьму охраны, отгородился от мира стеной и не видит, что там вокруг творится. Потому-то в конце концов он и попадает в ловушку, что теряет связи с массами.

— Зато королеве при таком горе-хозяине выгодно, ой как выгодно!

Сторожева веселили неожиданные Сашины сравнения, вот он и подпускал еще новые и новые шпильки.

— Ты б согласилась быть королевой?

— При таком-то увальне и трусе? Ни за что!

— А при каком бы тебе хотелось?

— При каком! Надо подумать...

Давно, с самой первой минуты, как зашли они в анатомичку, заметила Саша, что здесь, при тусклом свете, зрачки у Сторожева странно расширились, разлились по всему радужному кругу, и глаза его



выглядели мудрыми, спокойными и необыкновенно красивыми.

— Я люблю его. Люблю, Люблю! — шептала Саша где-то очень-очень в себе и так потаенно, что не знала, правда ли она шепчет или только это ей кажется.

— При каком же? — напомнил Сторожев негромко, и глаза его мерцали в тонкой усмешке.

— При каком? Я хотела б чтоб мой король... Сергей Сергич, вы меня любите?

Он засмеялся.

— Но я ведь не король и, кажется, никогда им не стану. Кто-то стонет, слышишь?

— Слышу. В больнице всегда кто-нибудь постанывает, но то она и больница... Вы любите меня?

— Любовь... Странное понятие, не правда ли? В далекие рыцарские времена говорились приблизительно так: «Дорогая, я люблю вас... так люблю, что готов на все. Хотите, я отдам вам свое сердце?» Нынче кто-нибудь отдаст свое сердце, то вы встречала ли таких чудачков? — и засмеялся.

— А разве в те, в рыцарские времена, свое сердце отдавали? — Саша улыбнулась то же.

И уж так случалось всегда: незаметно для себя в словах и мыслях своих Саша уходила за Сторожевым настолько, что ничто теряла мысль свою.

— Все это высокие слова, но, увы, пустые.

— Пустые, верно. И все же... и все же отчего так хочется слышать их постоянно, κάθε, каждый день, каждую минуту? Может, вам, мужчинам, как более сильным, это и не совсем понятно, а по мне... мне бы не надоело слушать это никогда. Господи, и чего это он расстался с? Это, кажется, Белов, он после трепанации. Извините, я сбегаю посмотреть.

Большой просил пить. Саша смочила ему губы, подождала, когда он уснет, и вернулась к Сторожеву.

— Так о чем мы говорили?

— О королях, как ни странно...

— Да-да, мы говорили о них. Но и о другом еще говорили... Вы любите меня? Только правду...

Сказала и сразу же спохватилась, что сделала это поспешно, ни к чему и зря. Но ком с горы сорвался, он уже летел, катился вниз, и его уже было не остановить. В душе себя всячески осуждая, Саша тем не менее ждала ответа — ждала мучительно, на пределе всех своих сил. Пусть будет ответ любой — лишь бы поскорее. И в том, как Саша поддалась вперед и как замерла в этом своем ожидании, Сторожев уловил глубинную горечь сомнения. И уловив это, он понял, что шуточной тут не отделаться — это было бы кощунством, — и встал. Как бы ни была поддержка откуда-то извне, он посмотрел через правое плечо в темные окна, в ночь, потом так же неторопливо в другую сторону — куда-то вдоль стены, к верхнему углу, и, наконец, чуть склонив голову, взглянул на Сашу.

И от этого его замешательства в ней все перевернулось и похолодело.

«Это — все... Его это не коснулось. Да неужели ничуть?»

А Сторожев все тянул, все переминался и медлил. И смотрел на Сашу в смущении, не знал, что ответить. И под этим его жалующимся взглядом Саша ощутила странное, неизвестное раньше чувство зыбкости... Вот бывает: откроешь шкаф со своими вещами, ты еще не видишь, что вынуто, что взято — все, кажется, на месте, и все-таки ты знаешь наверняка, что-то взято! Нечто подобное испытывала сейчас и Саша. Неожиданно ей представилось, что ее грудная клетка — тоже просторный вместительный ящик, где все давно и верно упорядочено, все раз-

ложено по полочкам, и вот из этого ее ящика что-то вынули... Спрашивая Сторожеву, она не знала в точности, что он ей ответит, вернее, что он должен ей ответить, а еще точнее: какого хочет ответа она. И вот пока он молчал, пока подписывал свои слова и смущался, она вдруг ощутила эту зыбкость, эту пустоту в себе самой — внутри, в этом ящике...

Сторожев наконец шагнул к ней, обнял ее за плечи, и она уловила, что объятие его было без волнения, без страсти — то было объятие родственное, отечески-ласковое, не большое. Он глянул ей в глаза очень строго, с шумом набрав в грудь воздух и, видимо, обдумывая каждое слово, начал было:

— Саша, я...

— Не надо! Пожалуйста, не надо! — взмолилась Саша.

— Нет, почему же?

— Не надо! Не надо! Не надо! Я спрашивала глупость, извините меня, ради бога.

— Знать правду — какая же это глупость? Так вот я попытаюсь сказать эту правду. Но... я затрудняюсь сказать нынче что-нибудь внятное. Любовь... моему... Нет, Саша, сегодня я ничего не смогу объяснить даже самому себе. Не смогу, извини... Спокойной ночи... И вышел.

Пока Сторожев говорил, Саша еще и еще раз чувствовала, почти слышала и видела, что из ее ящика что-то вынуто, и все его слова, это тутанью, сбивчивую речь, слышала она нечетко, будто бы сквозь сон.

«Постой, постой, чего же я от него хочу? Чего добиваюсь? — спрашивала себя Саша потом, когда осталась одна. — Ведь мне же и так хорошо. Ведь совсем не важно, как ко мне относятся он. Главное — изменилось что-то во мне самой, и изменилось к лучшему. Зачем же спрашиваю его, люблю ли меня или нет? Я уже чуть ли не связываю его какими-то обязательствами и путами. Но ведь все это уже было, было! Тысячи раз повторялось у других, и на грубом языке это называется заманивать мужчин в свои сети. Сторожев слишком умен, чтобы не понять этого, и как только он это поймет, он сразу же и не захочет со мною видиться. Выходит, что отталкиваю от себя его я сама. Но зачем же? Мне ведь и так хорошо. Любовь... и правда какое-то пустое, бесплотное слово, оно не говорит ни о чем, это пустой звук, ей-богу».

И в какой раз Саша поймала себя на том, что думает она совсем как Сторожев, повторяет его мысли. И опять незаметно для себя она стала думать о нем и только о нем — любовно, нежно, как и всегда. Но как бы ни лудила пред собою, как ни тешила себя хорошими думами Саша, ее все время неотступно, цепко и сторожно держала мысль и другая — холодная, горькая мысль. Та странная, навязчивая мысль, что из ее ящика что-то вынули.

И Саша четко сознавала, что мысль эта покою теперей ей не даст. Да так оно и вышло.

## 14

Уроженка тихого хутора, Саша Владыкина долго не могла привыкнуть к городу, к его светному укладу и шумам. Любую очередь, за чем бы она ни выстаивалась, Саша обходила стороной и поскорее; уж лучше купить у лоточника пирожок или остаться впроголодь, чем выстаивать в столовой по часу.

Но с годами у нее выработалась привычка растворяться среди людей, совсем их не замечая. Научилась даже размышлять при людях, мечтать, а порой и напевать, как будто бы никого рядом не было. И даже чем больше людей ее окружало или мимо нее проходило, тем более уединенно в своем отдельном мире чувствовала себя Саша.

Объявив посадку, люди стали заполнять автобус, и к Саше тотчас же пришел этот ее спасительный, оторванный от всех мир. Он устанавливался тем быстрее, чем больше людей становилось в автобусе, а когда занятыми оказались все места, Саша чувствовала себя уже на своей, только ею одной обжитой планете.

Нечетко сознавая, для чего и зачем, она все-таки поехала на родину, в свои Мостики. Но чем дальше уезжал автобус от города, от больницы и от Сторожева, тем оставаясь в автобусе становилось для нее невыносимей. Порой Саше казалось, что поступаешь она очень разумно, уезжая, но след за тем думала, что совершает какую-то глупость, и тогда ей хотелось остановить автобус, выйти на большак и вернуться назад с первой же попутной машиной. Мысль эта — остановить автобус и вернуться — была столь навязчивой, что Саша не раз приставала на своем кресле. Однако в самый решительный момент наперекор этому выступало соображение другое — первое и основное: «ты собралась кое в чем убедиться, кое-что проверить, вот и проверь. Съезди-съезди, ничего без тебя там не случится».

Под словом «там» разумелась, конечно, больница, Сторожев, и в еще более правдивом переводе это прозвучало бы так: «Ничего с ними не случится». Однако сама не зная зачем, Саша даже и в мыслях с собою туманила, чего-то не договаривала.

«И потом... ты же соскучилась по Андреюке!», — говорила она себе и сразу же чувствовала, что кровь приливает к лицу и совстно поднять на людей глаза. Совестно, что слишком увлеклась, что слишком много дум и мыслей уходит у нее на Сторожева, что спокойна она за Андреюку, который живет у родных, а беспокойство вызывает только Сторожев.

И — уж так случалось каждый раз! — стояло в ее мысли запясть Сторожеву, он уже не выходил из головы, начинала думать лишь о нем и о нем, забывая все остальное и всех. Когда он спросил, зачем она уезжает, Саша в полном смятении сказала первое, что пришло на ум: «Надо. К сыну». Он, конечно же, не догадывался, что у них с Таисой опять был долгий и подробный разговор о них, о Саше и Сторожеве. И когда Саша в десятый, наверное, раз выговорила свои опасения и сомнения, Таиса возьми да скажи: «Тебе надо куда-нибудь уехать. Неделию, дней десять не видеть его Съезди в свою деревню. Там в одиночестве ты и обдумашь, что к чему и как».

И вот Саша ехала. Но тревога ее не погасала — напротив, она все усиливалась с каждым километром пути, и вскоре Саша была убеждена, что ничего она этой своей поездкой не добьется: она не только не узнает, как к ней относится Сторожев, но и не успокоится сама. А еще над ней так тяжело нависла мысль, что в нынешнем положении ее не обрадует ничто на свете, даже сын Андрейка, видеть которого она очень хотела, но и робела перед этой встречей. И когда из-за Каменного холма показалась крайняя в Мостках, Фени Кузьмичевой изба, Саша растерялась. Растерястность эта оказалась столь сильной, что Саша готова была проскочить мимо своего хутора. Она, пожалуй, и проскочила бы, да водители, а не беду, оказалась человеком памятливым. Приостановив автобус и не оглянувшись в салон, он сказал нетерпеливо:

— У кого-то билет до Мостков. Я выбиваюсь из графика.

Вымороченной пустотой, полной покинутостью ошеломил Сашу хутор. От крайней избы до самой усадьбы Трофимича не встретился ей ни один человек, никто не окликнул ее с крыльца, никто не отодвинул занавеску, чтоб высмотреть тайком, кто это там идет. Можно было подумать, что над хутором пронеслась какая-то жуткая болезнь, покаяла, и в одночасье покосила вся и всех. Но «болезнь» эта была не что иное, как хороший, ведренный полдень, а в ведренный полдень, если созрел не только ячмень, но уже и пшеница, хутор оставался безлюдным из лета в лето — и в Сашино детство, и еще раньше, да так, видно, будет и во веки веков.

Как бы там ни было, но эта тишина и безлюдие показались Саше знаком очень дурным, а ощущение бессмысленности своего приезда усилилось. И, сама того не замечая, шла Саша улицей, стиская шаги и придерживая дыхание.

У родных тоже не было ни души, и Саша, умывшись с дороги и скинув туфли, ушла в сад. Нарвала почти полную миску смородины, когда послышался скорый топот бегущих детей, а потом и голос Андрейки:

— Я первый, Клавдя, первый! — кричал сын, и по

голосу было заметно, что он крепко захлебнулся.

— Куде-а тебе, городскому, ты сроду от всех от-

стаешь! — возразал голос другой, очень важный.

— А вот не отстаю!

— Куде-а тебе!

— Не отстаю! Не отстаю!

Услышав сына, Саша испугалась. Ее охватил почти суеверный страх. Зажмуригла глаза и придерживаясь рукой за ветку, она стояла, не в силах стронуться с места.

«Боже, я уже ненормальная... уже не мать. Показалась психиатру, лечь в больницу, что ли?» Ей сделалось и зябко и страшно.

Через минуту она тряхнула головой и с решимостью безумного направилась к калитке, на детские голоса. Она еще верила, еще надеялась, что страх пройдет.

Дети пыхтели и повизгивали — они востро дрались. Клавдя Наташина, голстая румянощечкая ровесница Андрейки, сидела на нем верхом и тузила его пухленькими кулачками по бокам, а тот обеими руками вклился ей в косицу и, притягивая ее к земле, шипел злюкою:

— Ты сама отстал! Сама, а не я!

Услышав поскрип калитки, Клавдя слетела с Андрейки и пуганой сорокой, вилая из стороны в сторону, умчалась в лопухи. Андрейка кинулся было за ней, но тут Саша его окликнула, и он остановился.

А-а,— он помолчал.— А что привезла?

И стоял на месте, и глядел на мать с досадой. Во взгляде его и в лице и во всей решительной фигурке все еще сквозил азарт незаконченной схватки. Гнев, злость и позор побитого — все смешалось и четко просматривалось и в этой его решительной позе, в особой постановке напряженных полусогнутых ног.

Стараясь придать лицу выражение самое приветливое, Саша стала перечислять, какие игрушки и сладости она привезла, но поймала себя на том, что нет ожидаемой радости. Нет!

Много позже, вечером, когда Саша испула Андрейку в корите гретой на кергазе водой и, одев теплее, усадила его на свои колени, а он все крутился и касался ее рук и тогда-то у них случился хороший семейный разговор, вот тогда-то лишь тогда! — оба они потянулись друг к другу по-прежнему.

— Мам, ты все молчишь и молчишь,— сказал тогда Андрейка.

— Да так, сынок, так...

Андрейка посмотрел ей в глаза, потом весь вжался в нее головой и ручонками, и сказал горячо и решительно:

— Мама, я тебя буду любить всегда!

И Саша не смогла сдержать слез благодарности своему крохотному комочку, который пригнулся у нее на коленях и который назывался ее родной сын. И, осыпая его поцелуями, она уже верила и знала, что любила его всегда — еще и тогда, когда его не было на свете, любила каждый миг, каждую минуту потом, когда он заходился в младенческом крике или радовался, когда подавал свои первые звуки и учился переступать с ножки на ножку. Любила больше всего на свете и будет любить его до конца своей жизни. И сын ее — то единственное, что не отнимет у нее никто на свете, только смерть.

Но все это случилось позже, вечером, в полумраке спальной комнаты, когда Андрейка был чистеньким и податливым-ласковым. Сейчас же перед нею стоял вояка, босогоногой мужиком, свирелый и диковатый в своей решимости мстить за поруганную мужскую честь. Этот сын был нов для Саши, и к этому новому надо было уметь привыкнуть. Меньше чем за месяц разгульной деревенской жизни он одичал и не то вытянулся, не то похудел. Это был парень-бой, и на такого поначалу было одно лишь удивление, а радости или материнской к нему нежности никак не пробуждалось.

— Я сейчас... я сбегаю докопчу Клавку.

— Да ты что, сынок, разве можно трогать девочку?

— Клавку можно. Пусть знает, что я бегаю уже скорее ее.

И тоже скрылся в лопухах. Скрылся да и не вернулся до самого вечера.

Пытаясь найти его и не разыскав, Саша незаметно для себя разгулялась по Мосткам. Но куда бы ни заходила она, ее по-прежнему и повсюду преследовала эта удивительная покинутость, по-прежнему не встретилась ей ни одной живой души.

Наконец Саша увидела хлебный ток. Там сновали грузовики, там пестрели яркие косынки и блузки женщин, оттуда приносился стук веялок и запахи обмолоченного зерна. Там-то, на току, на этих машинах да еще в полях — на тракторах и комбайнах, и был весь основной люд утвора.

Но Саша повернула от тока в луг — туда, где плещется из края в край овсяница. Смутно догадывалась она, что после неудачи с сыном луг оставался для нее, возможно, той единственной зацепкой, которая могла бы ее возволновать, обрадовать и удержать в Мостках на ту неделю, которую дели ей в больнице.

Вот показалась полоска леса, за которой откроется сиреневый разлив травы, и Саша все ускоряла и ускоряла свои шаги. Выходило это само собой, помимо ее желания и воли. И вот она уже поймала себя на том, что почти бежит. Остановилась. Подождала, когда успокоится дыхание.

«Куда я тороплюсь, чего я жду от этого луга? Ведь его-то здесь я не встречу. Так зачем же спешу да спешу? Что мне скажет овсяница шум? Разве скажет, что он так далеко, что теперь мне везде одиноко?... Прилети, прилети ко мне, милый, вольной птицей — орлом быстролетным. Мы пойдем по траве по дурце, и хорошее все повторится...»

Но и тут ждал Сашу грубый обман — луг оказался скошенным, наголым, и на месте раздольной овсяницы жались к земле беззащитно-молоденькая трава — отава да всюду стояли копны сена. Прилизанные

дождями и до бурости обожженные солнцем, они разбегались по косогорам и увалам, но так тесно забили низину, что там уже трудно было разглядеть каждую по отдельности копну, там стояла сплошная бурая стена. Новый этот луг — голощекый и низенький, выглядел как бы обкраденный и обиженный в своей бедности. Трава, конечно, на то она и трава, чтоб ее скосить на сено, и все же видеть все это было скорбно. И в какой-то раз за последние несколько дней показались Саше, что из ее ящичка что-то вынули.

В хутор вернулась она, когда ни Андрейки, ни кого-нибудь из родных дома еще не было, и Саша протерла влажной тряпкой полы во всех комнатах и на веранде. Делая работу, она не переставала думать все о том, что этот ее приезд — несуетная глупость. Она слишком много ставила на этот приезд, а он не изменил, да и не изменит, видно, в ее жизни ничего. Отсюда — издали, с расстояния дней и большой дорожной удаленности, ей хотелось увериться... но в чем? В том, что она Сторожева любит и дня не хочет прожить, не видя его? Да этого и проверить не за чем, и так все ясно. Поехала, чтоб убедиться, любит ли ее он? Но зачем же убеждаться на расстояния? — такое видится по глазам, по жести, по улыбке. А как увидишь ее, улыбку, отсюда, из Мостков?... Еще думала Саша, что, увидев Андрейку и всех своих, она обрадуется, поживет рядом с ними и хоть на малое время забудет Сторожева, выкинет его из головы, успокоится. Успокоилась?... Кода там, все вышло наоборот.

В эту минуту под углом избы послышался сухой колесный стук рессорки, всхрипнул конь, и сейчас же по ступенькам тяжелыми, но скорыми шагами взбежал на веранду Трофимыч. Саша затормозилась ему навстречу. Увидев ее, он засмеялся и сказал всего лишь слово:

— Ты!

И шагнул ей навстречу и протянул к ней руку обе руки.

Саша схватила эти руки хваткой утопающего и зарыла в них лицо. От ладоней пахнуло солярикой и сырмятными вожжами, но слезы хлынули разом и разом прогнали все запахи.

Если б по этим слезам мог догадаться Трофимыч, он узнал бы, что живет нынче Саша путаной, незадачливой жизнью, что от Жени она ушла и что за была все святое на свете и всех — и его, Трофимыча, и родную сестру Марию и даже Андрейку, и что Сторожев, наверное, ее все-таки не любит. Такой узор завязала она сама и распутывать его придется самой же, но как это сделать, ты не знаешь ли, милый Трофимыч? Ты такой большой, такой умный мужчина, ты живешь ясной, непутаной жизнью, но не знаешь ли ты, как это сделать — распутать чужой узел? Нет, пожалуй, не знаешь и ты. И никто посторонний не знает, как начинаются в чужих семьях эти тугие узлы и как их потом распутать. Порой слезы Сашу отпускали, и тогда от ладоней Трофимыча опять приходил этот запах соляры и сырмятных вожжей, и хотя эти ладони были жестки и короткопалы, они все равно чем-то напоминали те тонкие горячие ладони Сторожева. Наконец Саша успокоилась и в тот же миг почувствовала, что сповно бы זאת теперь, как с какого конца подступиться к своему узлу, чтоб начать его развязывать.

— А меня ведь ждут, возле кузницы дожидаются. Превезжие, лещий ты под-никити. Шефы,— сказал Трофимыч и побежал порожками вниз. И в самом низу, на земле уже, он остановился и с простежкой улыбкой добавил: — А ты, Саш, не больно-то здорово переживаю. Все перемелется, все. У иных стари-

ков за их длинную жизнь и не такое еще случалось, в ведь живут да еще и радуются.

Слова эти крепко успокоили Сашу, но и без них она уже поняла, что что-то в ее жизни начинает меняться, и меняться к лучшему. А вскоре присежал Андрейка, Саша испугала его, и когда он, голенький и верткий, крутился у нее на коленях и в особенности потом, когда он влился в нее ручонками и сказал свое решительное: «Мама, я буду любить тебя всегда!» — Саша ощутила в нем такую могучую опору, при которой она вынесет в этой жизни все. И, нежко прижимая к себе и всячески лаская сына, Саша думала уже о том, какая неповторимо прекрасная, какая эта великая штука — наша жизнь! А натуро у нее с Андрейкой случались неожиданные игры. Крутым кособором поднимались они на Каменный холм. Поднимались медленно и все равно упарившись. Саша переплела над головой руки, и ветер загуглял под платнем, приятно выстуживая тело.

— Мам, ты ловишь ветер? Я смотрю, ты пальчиками над головой перебираешь, и сразу догадался, что ловишь ветер.

— Ну да, конечно! Ты молодец, ты угадал. — Саше очень понравились фантазии сына.

— Мам, научи и меня.

— Это мы сейчас, сынок, сейчас. — И горлопиво скинула с головы косынку, взяла ее за два угла, Андрейка оставила третью, и они, слегка пригнувшись, повели его над травой, как бреднем. Ветер трепыхнул косынку, натянул, раздул.

— Держи, сынок!

— Я, мам, догадливый, я замотал угол на палец. Виль как! А ветер-то уже попался. Клавдия, Клавдия, мы поймали ветер!

Саша взглянула на сына и чуть не выронила косынку: такой же горячий блеск — блеск радости и счастья — она уже видела в других глазах, в глазах Сторожева... там, на краю буерака со знаком «Запретная зона».

К ним подлетела Клавдия Наташина. До этой минуты она держалась в сторонке, шла с ними, но в то же время вроде бы и сама по себе. Но вот услышала удивительную новость и подлетела: Бегло оглядев, что к чему, девочка смекнула, засмеялась.

— Кто ж его ловит, ветер? — трезво спросила Клавдия. — Ветер не ловится.

— А вот ловится, и мы поймали! — отрезал Андрейка.

— Поймали?

— Поймали!

— А фигу не хочешь?

— Поймали!

— Ну тогда покажи, где он, твой ветер? Какой он? Дай мне его поддержать.

Андрейка посмотрел на раздутую косынку, кинул взгляд вослед убегающей траве и вдруг остановил глаза на матери — да такие растерянные, что Саша рассмеялась.

— Ничего, сынок, еще поймает!

«Господи, ну какой же он еще глупенький!» — подумала Саша о сыне с умилением. И тут она поймала себя на том, что ей хочется родить еще и девочку — беленькую пискунку...

В Мостках Саша прожила полную неделю. Андрейка не отходил от нее ни на шаг, и она чувствовала себя настолько равносчастливой, уверенной в себе женщиной, матерью, что, казалось, успокоилась совсем. Но как только села она в автобус снова, так с той же самой минуты в нее поселился бес терпения и стал ее подгонять. «Скорей! Скорее, что ли! Плетемся, как на телеге!» — и смотрела в лысеющий затылок водителя очень сердито. А ко-

гда показались дым и трубы ее города, она уже не могла усидеть в кресле, встала и прошла в левый ряд автобуса, к ветровому стеклу.

С востанцием направились она не к Таисе, а сразу в больницы. Издали увидела: возле главного входа, снизив на грудь голову, везд-вперед прохаживается Женя, ее муж... Чтобы с ним не встречаться, свернула к боковой калитке.

В раздевалке передала Саше тяжелый букет кремовых, ее любимых роз и упаковку с подарками. Коробка дорогих конфет с угод на угол перетянута была шелковой лентой; бутылка шампанского вина завернута в тонкую бумагу, а шерстяной костюм сложен был аккуратно и овеян дорогими духами. В коробке лежала еще лаковая картонка с надписью: «Горько любимой жене Александре в день рождения от мужа».

Не зная, куда деть подарок и что с ним делать, Саша стояла, переключая его с места на место, а думала все о своем: а вдруг Сторожев ее все-таки не любит?

## 15

**В** палате Сторожева не было. Саша заглянула в водопельчатый, где его лечили, потом поднималась в кабинет физической терапии. Нет его, пусто. Оказалось, что не играл он и в шахматы за деревянным покосившимся столиком под топьями. Но у другого корытца на асфальтовом плетке три девочки играли в «классики», и Сторожев молча наблюдал, как они играют. Сердце хулило вниз и подскокило, потом замерло, как при взлете на качелях. Улыбаясь, Сторожев приблизился к ней и спросил, как ей съездилось и как поживает ее сын. Ответила Саша сухохато, двумя словами, что съездилось ей хорошо и что сын, спасибо родным, отдыхает прекрасно. Потом Сторожев сказал — с горделивой ноткой, что по его настоянию выпишут его не через неделю, а завтра.

«Завтра? Уже?» — и с неожиданной для себя решимостью Саша подумала, что сегодня она его не отпустит, она будет с ним всюду, все же день, до конца, может, пойдет с ним в рощу.

«В рощу?» — переспросил он. — Кто тебя научил читать мои мысли?»

И с Саше словно бы сняли некий панцирь — так она обрадовалась.

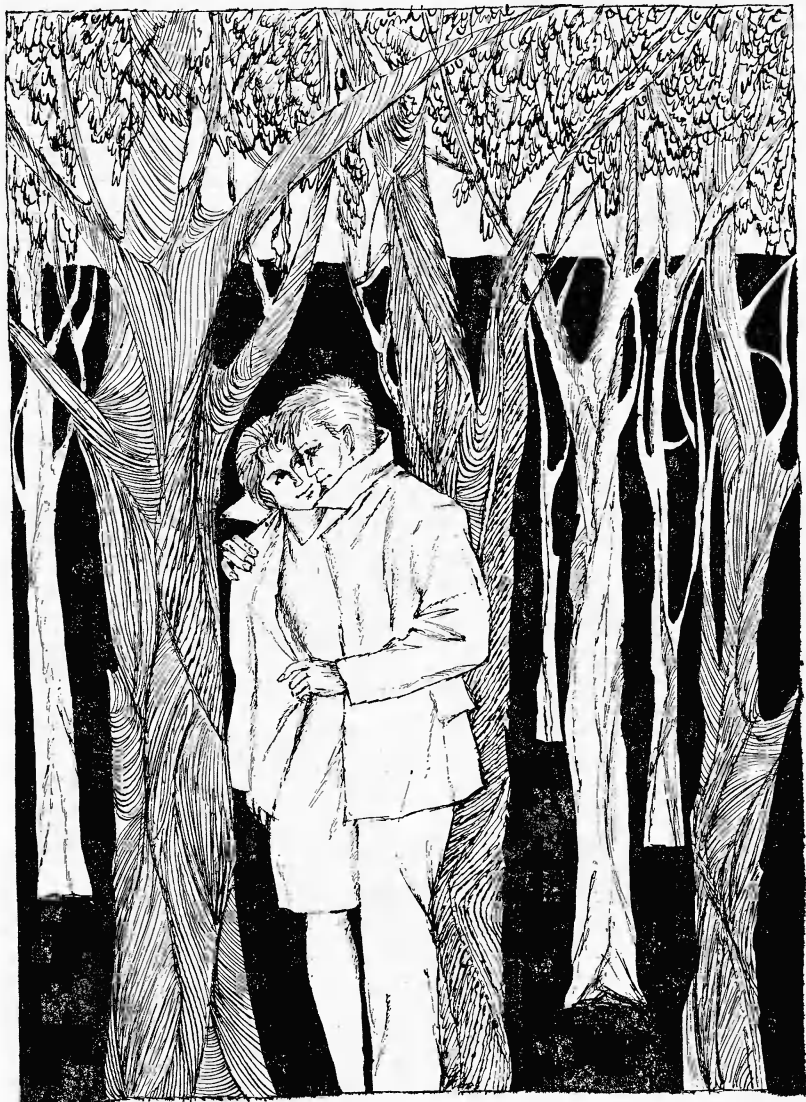
Пока шли знакомой улочкой в гору, она не переставала рассказывать о своей поездке в Мостки, о сыне и о всех своих думах. При этом она не переставала радоваться, потому что видела: Сторожев ловит каждое ее слово и рассматривает ее как бы вновь, заново — такое заметила она за ним со дня их знакомства впервые.

Брели уже глубиной рощи, когда позади как бы спросонек громыхнул гром. И лишь теперь заметила Саша, что добрые полбега все еще сылят безоблачной ясностью, но от близкой за роцей горы низко, словно бы норовя упасть наземь, катились расстрелянная туча с лиловым подолом дождя.

Укрылись за каким-то строением, под выступом железной крыши, по которой уже торопливо колотились крупные капли.

Сторожев распахнул полы куртки, раскинул их в стороны на манер крыльев и без слов, одной улыбкой, пригласил Сашу в этот нагретый своим телом шатер.

Так, в обнимку они стояли и смотрели на дождь. А дождь — прямой, отвесный — плотнел и плотнел, шумел все громче, все веселее, и вскоре к ногам



пала прохлада, воздух сделался свежим, а под углом неуверенным баском подростка забормотал первый ручеек.

— Как хорошо! — сказал Сторожев. — Как хорошо жить. Жить, просто жить. Знаешь, первый раз за долгое время мне было неприятно без другого человека. Без тебя, Саша.

— Её как будто бы с головы до ног осыпали жаром. — Повтори! Повтори! Повтори, пожалуйста, что ты сказал!

— Да что ж тут повторять, тут и повторять нечего.

— А ты повтори, повтори! Не скупись.

Но Сторожев лишь улыбался да грел своим дыханием ее голову сквозь косынку, ее шею и плечи. А дождь все шумел, а ручеек все бормотал и бормотал, и в его картёжном выговоре узнавала Саша свое, только свое: «Мне было неприятно без тебя, Саша. Неприятно без тебя, Саша».

И даже потом, когда ливень схлынул, а ручеек примолк, и только с крыши, лебеду прошивая, падали крупные, как монеты, капли, Саше и в этих громких хлопках слышался голос Сторожева и эти его дорогие, но и пугающие слова.

— Что будет? — спросил неожиданно Сторожев, и она в полном смятии поняла, что самые потаенные свои мысли случайно сказал вслух: — Не знаю, ничего не знаю... Все запутано, все непонятно... Я что-то никак не отбегало от своего первого брака. Уже третий год, а...

Таким — задумчивым — Сторожев и уехал назавтра из больницы. Прощаясь с Сашей, он смотрел на нее грустно, то и дело вздыхал, однако придет ли, нет ли и как долго его ждать — ничего насчет этого не сказал.

А сама Саша не спросила. Постыдилась спросить.

## 16

**Н**а целую вечность растянулся первый без Сторожева день. Обманывая себя, Саша то и дело ходила мимо восьмой палаты, заглядывала в угол, где его койка, однако там уже был новый больной. В какую-то минуту подумалось, что Сторожев, может быть, зайвится после работы, но вот пришел вечер, потом подкралась ночь, а его все не было и не было.

И еще один день истек в ничто, за ним и другой и третий. И целая неделя истратилась впустую. И всю эту неделю Саша одевалась в лучшие наряды, купила себе самые дорогие духи, а по выходе из корпуса придерживала шаг и оглядывалась по сторонам с единственной мыслью: не поджидает ли ее где-нибудь поблизости Сторожев. Но его по-прежнему все не было и не было. Вечерами, когда в отделении все притихало, а дежурный врач куда-нибудь пропал, Саша выходила к подъезду и стояла там, чуть прислушиваясь и вглядываясь в конце аллеи, что вела к Центральным воротам.

Однажды Саша поняла, что здесь не дожидаться ей Сторожева никогда, и, поняв это, она сразу же отказалась от ночной смены. Да вышла на свою же беду. Теперь на нее обрушилась такая бездна ненужного времени, что не знала куда от него и деться. Приглушая гостью, она кружила пешком по улицам города. Сначала уходила в те тупички и переулки окраины, где проходили они со Сторожевым. Покосившийся телеграфный столб живо напоминал ей шутку Сторожева: «Смотри, гуляка подбоchenился». Вот на этом повороте он и с того ни с сего по-

жал ей руку; здесь, украдисто оглянувшись, сорвал лист клепа и протянул его ей...

Но какой прок в пустых водоманинках? Саше хотелось в и дети Сторожева. Видеть назву, живого — смеющегося или хотя грустного. И вот с окраины она перешла на центральные улицы и площади. Северная на новую улицу. Саша зорко просматривала ее вдаль, отыскивала взглядом Сторожева в каждом высоком мужчине, ждала его из дверей магазинов и из притормозившего такси. Но Сторожев словно бы испарился.

Замучили сыны. Короткие, ранние и такие страшные, что за ночь Саша пробуждалась по нескольку раз. Однажды приснился: вот она гладит белье и вдруг слышит предупреждение, что на их город летит ракета с водородной бомбой. «Уже?» — только и успела подумать Саша. А бомба уже лопнула. Взрыва пока еще нет, в целом мире пока еще только свечение — огненное, беспощадно-яркое, оно ослепило глаза даже сквозь опущенные бамбуковые жалюзи. Спрятав за спину похолодевшие руки и отвернувшись в сторону лицо, Саша ждал взрыва. «Божке, я хоть успела узнать, что такое большая любовь, а многие этого теперь так и не узнают». И тут проснулось. Сердце стучало так, что никакие иных звуков. Свесив ноги с дивана, она сидела, вслушивалась в эти гудящие неритмичные удары и, как только что во сне, подумала все о том же: «Я полюбить успела, а многие не успели». Едва заснула, как то же самое: в чистом, спокойном небе плывет самолет с чужими знаками на крыльях. Вот он долетел до центра города, и от него отделилась пузатая черная бомба: Саша отчетливо видит на ней белую раскрасочную букву «А». Бомба снижается молча. Лопнула молча. Ослепительное свечение — молча. До боли жмима Саша голову в плечи, и, когда свечение погасло, видит, что она раздета до нитки и тело ее смугло, как у мулатки. «Атомный загар», — рассеянно думает она и еще раз пробуждается.

А однажды приснился ей Женя, муж. Сильный, мускулистый и бесстыдно голый, он ласкал ее под душой простыней, и ласки его были томительны и ненасытны. Но всего удивительней, что телом — был весь он, ее Женя, а ладони совсем не его — то горячие ладони Сторожева...

И уже не во сне, а в яви Женя словно бы почуствовал, что у Саши большие налады нынче в жизни, и стал поджидать ее не только по утрам, но уже и вечерами. Она идет с работы, а он стоит под часами. Стоит и стоит. И во взгляде его ожидание и неумело скрытая жалость. Не к себе жалость — к Саше.

## 17

**С**еренки, дотлевали сумерки, и Саша устроилась у окна, поближе к свету, ушивала в талии новое, всего два раза надевое платье. В кухне шипело масло: Таиса поджаривала на ужин свежего судака, купленного с рук у соседа-подочника.

— За сто-о-л!

— Ешь-одна, мне что-то не хочется.

— Опять ей не хочется. Я ей дам не хочется. Да тебя уже и так ветром шатает.

И в это время негромко, но настойчиво трижды стукнули в дверь. На ходу вытирая о гремучий пердик руки, Таиса пошла открыть.

Гостем оказался Женя Владыкин. Он вошел и привалился плечом к косяку. Немой, истосковавшийся взгляд его застыл на жене. Мельком взгляну-

ла Саша на мужа, но и этого было довольно, чтобы заметить: глаза его округлились, лицо осунулось и тронуто бедностью.

Таиса поспешила было оставить их с глазу на глаз, но:

— Можете не уходить, у меня тайны нет... Саш, я тоскую по тебе. Нет такой минуты, чтоб не думать я о тебе... Может, пойдем домой, а?

Саша молчала.

— Знаешь, давай оставим все нажитое и куда-нибудь уедем. По веревке. Начнем все сначала... Я думаю, время даст обиду на тебя или зло. Нет зла, нет обиды, а есть тоска. Нежность к тебе и любовь. Молчание.

— Знаю: я нехороший, слабый волей человек, но ведь это так нетрудно исправить... Тебе, верно, смешно это будет слышать, а я ведь в техникум поступаю. Для чего? Сам не знаю. Какое-то упрямство изнутри распирает. Два экзамена уже сдал.

— Ступай, Женя, домой,— сказала наконец Саша. Тон ее был ровным, без обиды, но в то же время он не оставлял надежды.

— Саш, я...

— Ступай.

«Безумство! Какое, если пригладиться, безумство — человеческая жизнь», — поглядывая на Сашу, думала Таиса. — Должно быть, все мы ложимся спать и пробуждаемся с мыслью о журавле в небе и не хотим замечать синицы, которая так привычна в наших руках. Мы зачем-то таяемся к равнодушным, но чуждым нам людям и не видим преданности близких. Как часто меж этими вот огнями колотится наша жизнь! А она куда проще, жизнь, чем мы ее придумываем».

— Да любишь ли ты своего Сторожева?

— Довольно об этом, не надо.

— Тебе, конечно, видней. Но ты подумай.

Было о чем думать.

Сторожев между тем по-прежнему не давал о себе никаких знаков. А Женя между тем поджидал ее у ворот по-прежнему.

И Саша думала об этом постоянно, везде. И однажды, в предвечерний час, собрала свои пожитки и сказала Таисе, что возвращается домой.

— Я слабый человек, всего лишь женщина... Жить в одиночку боюсь.

Таиса поздравила ее и сказала, что семья Владыкиных будет с этого дня самой прочной.

— Я тоже думаю так,— согласилась Саша.— Я много думала и поняла: в жизни часто надо поступать не «как хочется мне», а «как нужно». «Как нужно» — это крепче, надежнее. Если хочешь, это и чистнее.

Женя обрадовался ее возвращению несказанно. Он всячески старался погасить свою радость, но она так и выплескивалась наружу — в улыбки, в голоса, во всем. Тут уж он ничего не мог поделать с собою. А однажды в его взгляде сквозило даже что-то очень неприлично-ликующее: «Я говорил, что ты вернешься, говорил! Ну что?» Целый вечер молчали, и только перед самым сном теплым угольком занялся было у них разговор.

— Женя, а ты похудел.

— И поседел,— добавил он — Видишь? — И склонил к ней голову.

Саша посмотрела и смолкла: паутинки седины пробилась не только на висках, но и перепутались уже по всей его густой шевелюре. Женя откинулся головой к стене и остановил на Саше строгий взгляд.

— Саша... Знаешь... еще один твой такой же номер, и я не знаю, что со мной будет...

Сказано это было ровно, ужасно буднично, и Саша поверила. Ей сделалось очень неуютно и даже страшно. Но она промолчала.

Через день, в выходной, Владыкины съездили с Мостки и привезли домой Андрейку.

## 18

**П**еред осколком зеркала Люся Трушина пушила прическу.

— В шестую палату эх и мировецкий больной поступил. Кудрявый, веселый! Я уже навела справки: двадцать четыре года, не женат, центральным нападующим в классе «А» иррит.

— Эпителисы или менингит? — спросила Таиса.

— Сотрясение мозга.

— Ну, если всего-навсего сотрясение, крути на биуды.

В углу, на электрической плите, как всегда, кипятились шприцы, вода бормотала и пузырилась. Задумчиво глядя на пузыри, Саша помещивала шприцы длинной металлической спицей.

И тут в сестринскую заглянул больной и сказал Саше, что ее ожидают у входа в корпус.

День был светляно-светлым, с колким ветерком, и Саша поверх халата накинула плащ.

«Кто это может быть? — поспешно шагая, думала она. — Наверное, это Женя с Андрейкой зашли из дetsада».

Открыла дверь — Сторожев. Он!

В кипенно-белой нейлоновой сорочке при черном галстуке и в новеньком, пошумливающем от ветра плаще, Сторожев казался женихом в самое святое, в свадебное утро.

— Здравствуй.

Сказал так просто, будто бы видел ее не далее как вчера. Улыбка его была лучистой, радостной.

— Я из Жаксы-Гумара. Прямо с самолета к тебе.

И перевел дух.

— Едем куда-нибудь. Все равно куда.

— Нет. Нет.

Он так удивился, будто б ему наобещали, а теперь вот отказывают.

— Ради Бога нет! — И попялилась к двери.

И опять он очень удивился. И приблизился к ней вплотную.

— Нет-нет. Не-ет...

Он мягко, но и настойчиво сжал ее плечи. Пытаясь освободиться, Саша ощутила знакомый жар его ладоней, а вместе с ним и такую знакомую слабость в теле.

— Нет, пожалуйста, нет! — взмолилась она еще раз, а сама уже шла рядом с ним, и скользили, шуршали у нее под локтем оба плаща сразу.

Дверца легковой машины была уже приоткрыта, и человек за рулем улыбался, и в приемнике тонко играли скрипки.

И уже опослещ рядом со Сторожевым на сиденье, Саша вскрикнула:

— А как же халат? Я забыла оставить халат!

Машина с места взяла большую скорость. Ветер ворвался внутрь, ветер охатил лаковое тело машины, и если б вот сейчас автомобиль взлетел, Саша нисколько бы этому не удивилась.

г. Саратов.

## Александр Шуплов



### Боевые трубачи

Худощавы, как грачи,  
вечными объаты снами,  
квартируют под снегами  
боевые трубачи.  
Без позерства и прикрас.  
Кто печален, кто смеется...  
Стебелек в колено бьется,  
словно съехавший лампас.  
С поседевшей головой,  
с забытыми стихами  
квартируют под снегами,  
под стогами и травой.  
А в осенние лучи  
слышат, съжившись сутуло,  
как наполненные гулом  
яблоки летят в ручьи.  
По лицу размазав пот,  
молча думают ребята,  
что у жизни нет заката.  
Жизнь — пленительный восход!  
И у них не кончен путь  
под карточью и прикладом,  
ведь труба упала рядом —  
только руку протянуть.  
Только встать. Страхнуть снежок.  
Откусить с куста ледышку.  
Сделать шаг. Еще шагик.  
И навстречу к нам. Вприпрыжку.  
Мы коснемся лиц родных.  
Кто-то вскрикнет без причины.  
Нас всплом один родник.  
Мы одни стихи учили.  
Нас роднит упругость рук.  
Нам дана одна планета.  
Громыкает в жилах ртуть  
Красного — святого — цвета.

### Гроза

То ли осень шла округой,  
то ли ночь свела крыла...  
Перламутровой северной  
в небе молния плыла.  
Булькнула в мягком иле.  
Громыкнул проворный звук.

И такие струи били,  
что захватывало дух!  
Мы отпрянули в испуге,  
разбежались по углам.  
Наши юные подруги  
прижимали плечи к нам.

В шуме ливневых чудачеств,  
в облаках, плывущих ввысь,  
нам — птенцам со старой дачи —  
открывался новый смысл.

Был он прост, как шмель в полете.  
Черных красок не сгушал.  
Он нас звал к простой работе  
и наград не обещал.

Каждый должен быть при деле.  
К черту — лени тормоза...  
Мы стояли и глядели,  
как ворочалась гроза.

А потом бежали к веткам  
с пичкой шапкой набекрень.  
И каким-то ровным светом  
выпрямляло нашу тень.

## Дмитрий Сухарев



Пела песню женщина из Пешта  
Над моей веселой головой,  
Над моими бойкими кудрями,  
Над горячей кровушкой моей.

Пела чисто, истово, красиво,  
Чуть умолкнет, все кричали: пой!  
Разводил руками: «Ну и сила!» —  
Аккордеонист полуслепой.

А моя головушка распухла,  
Я не знал чужого языка,  
Но порывы темного рассудка  
Холодила женская рука.

«Жил я, жил, голубушка, и дожид  
До своих до выдержанных лет —  
Вот и весел, как осенний дождик,  
И кудряв, как бабкин табурет;

Вот и маюсь, не прошу отсрочки,  
Прикасаюсь лбом к твоей руке,  
Вот и бормочу четыре строчки  
На своем родимом языке».



Аkkордеонист полунезрячий  
Сатанел от дыма и жары.  
Помню голос дивный и горячий,  
Я его не слышал с той поры.

Я не шел, голубушка, за гробом,  
Не читал прощального письма  
И гадать не смею, что за прорубь  
Ты себе назначила сама.

Но я помню, помню этот голос,  
Вспоминаю пальцев холодок,  
Не забуду темный этот город,  
Эту ночь и винный погребок.

Аkkордеонист полунезрячий —  
Как же он старался, старина!  
Выложился, справился с задачей,  
Не забылась песня ни одна.

## К поэту С. питаю интерес

К поэту С. питаю интерес,  
Особый род влюбленности питаю,  
Я сознаю, каков реальный вес  
У книжицы, которую листаю:  
Она тонка, но тяжела, как тол,  
Я семь томов отдам за эти строки,  
Я знаю, у кого мне брать уроки,  
Кого мне брать на свой рабочий стол.

Строка строку выносит из огня,  
Как раненого раненый выносит,—  
Не каждый эту музыку выносит,  
Но как она врывается в меня!  
Как я внимаю лире роковой  
Поэта С.— его железной лире!  
Быть может, я в своем интимном мире,  
Как он, политработник фронтовой!

Друзей его люблю издадека —  
Соратников великого похода,—  
Надежный круг, в который нету входа  
Моим друзьям: ведь мы не их полка.  
Стареть им просто, совесть их чиста,  
А мы не выдаем, что староваты,  
Ведь мы студенты, а они солдаты,  
И этим обозначены места.

Пока в пекарне в пряничном цеху  
С изюмом литпродукция печется,  
Поэт грызет горбушку и печется  
О почести, положенной стиху:  
О павших, о пропавших и о них —  
О тех, кто отстоял свободный стих,  
В котором тоже родины свобода,—  
Чтоб всяк того достойный был прочтен,  
И честь по чести славою почтен,  
И отпечатан в памяти народа.

Издадека люблю поэта С.!  
Бывает, в клубе он стоит, как витьязь.  
Ах, этот клуб! — поэтов политес  
И поэтесс святая деловитость.  
Зато в награду рею гордым духом,  
Обрадованно рдею правым ухом,  
Когда Борис Абрамыч С., поэт<sup>1</sup>,  
Меня порой у вешалки заметит  
И на порыв души моей ответит —  
Подарит мне улыбку и привет.

<sup>1</sup> Автор надеется, что любители поэзии простят эту малую лукавость, без труда угадав поэта Бориса Слуцкого.

## Наум Киселик



В круглых скобках проставлены даты,  
словно в русло гранитное взяты —  
все безбрежности в них вложены:  
передых от войны до войны,  
переход от стены до стены,  
цель каналов и хлеб целины,  
от зарплаты житье до зарплат  
и полет от Земли до Луны.



Утром нагрязнул младенчески пухлый,  
недолговечный, пролетный снежок,  
и ненароком ворону обуглил,  
и мимоходом рябину зажег.

Ярким жарком полыхает рябина,  
синим чадком отливает крыло,  
все остальное бело и пустынно,  
все остальное свежо и светло.

Сам ли придумал, снежок ли солгал,  
будто бы снова бежать без оглядки —  
в только что начатой школьной тетрадке  
первое слово писать по слогам!



Снова дети играют в войну,  
значит, мир дотянулся до полдня,  
если дети, не зная, не помня,  
вдохновенно играют в войну.

А тогда — это было с утра,  
когда камни еще догорали,—  
наши дети в войну не играли,  
понимали: она не игра.

Не пугайтесь военной игры:  
это очень мальчишеское дело,  
это солнце в зенит зателело,  
это полдень вбежал во двory.

## Вспоминая о войне...

Как будто жар-птицу словил,  
за долгое понял житье:  
мои не одни соловьи,  
но и воронье — мое.

Не только одна синева,  
еще и рва чернота,  
мои не только слова,  
еще и моя — немота.

Я это горбом наживал,  
сбиваясь и падая с ног.  
Тайком пробираться в подвал,  
трясая, отпираю замок...

Там столько иллюзий на дне,  
бессонниц и снов берегу,  
там люди сгорели в огне,  
замерзли на черном снегу.

Я должен потери считать,  
пока не задует свечу,  
я вам не могу их отдать,  
пусть даже и сам захочу.

Кто этого права лишен,  
пускай подождет у дверей:  
и жалок он мне и смешон  
с пустою сумою своей.



Не было в мире ни зла, ни добра,  
двое нас было — ни больше, ни меньше...  
Что же не стала ты первой из женщин,  
я ж не жалел на тебя ребра!

Ветку ладонью легко отвела —  
долю праматери новой вселенной.  
Сделалось яблоней обыкновенной  
древо познанья добра и зла.

Этому случаю тысячи лет,  
просто он вспомнился так, между делом...  
Нет уже горечи в яблоке спелом,  
горечи нет и сладости нет.



«Роняет лес багряный свой убор...»  
Мне ж видится: теряет снаряженье,  
и, как в глухую стену окруженья,  
листва слепая тычется в забор.  
И нехотя над темною водой  
кружит листок совсем еще зеленый,  
и умирает, ветром обожженный,  
и блеклою становится звездой.  
И, созерцая этот новый круг  
обычного движения природы,  
я грустно обнаруживаю вдвуг,  
что в выборе сравнений нет свободы,  
мне что-то их диктует до сих пор.

«Роняет лес багряный свой убор...»

## Геннадий Буравкин



Перевел  
с белорусского  
Г. КУРЕНЕВ.



*Нет, жизнь меня не обделала...*  
А. ТВАРДОВСКИЙ

Всегда платил я полной платой  
за долю света и тепла.  
Войной, больничною палатой  
судьба меня не обошла.  
Попробовать дала мне вволю,  
когда еще ребенком рос,  
и меда сладсть, и горечь соли,  
и запах смол, и привкус слез.  
Да и не обделала после  
ни добротой своей, ни злом,  
ни жарким потом сенокосным,  
ни дровосекским ремеслом.  
И я судьбу не упрекаю.  
Я ладил путь житейский свой  
и собственными руками  
и собственной головой.  
А то, что шли порою на смену  
добро, и зло, и боль потерь,  
так для того, чтоб знал я цену  
всему, чем дорожу теперь.



Холодный сквер до нитки облетел.  
Ни листика на вымокшей березе.  
Познью уже сменяет проза.  
Багровый шум свое отшелестел.  
Наверно, у природы есть резон  
чередовать восходы и закаты.  
Свинцовых туч тяжелые эскадры  
заволокли далекий горизонт.  
Не разберешь, где север, а где юг.  
Где зрела нива — там стерня чернеет,  
где сад шумел — там ветры сатапеют,  
не за горами завывающие вьюги...  
Зато потом нам видится ясней  
и зелень первой завязи весенней,  
и луга августовского цветенье,  
и на сосне — тишайший белый снег.



Сергей  
ГРИГОРЬЕВ

# О «КОНЦЕПЦИЯХ» И ЧУВСТВЕ ВРЕМЕНИ

**С**реди многих проблем, которые требуют от нашей литературной критики научной разработки, важное место занимают проблемы многообразия искусства социалистического реализма.

«Долг критики,— говорится в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике»,— глубоко анализировать явления, тенденции и закономерности современного художественного процесса...»

Глубоко анализировать — значит понимать связь литературы и искусства с жизнью, с ее поступательным развитием, с интересами зрелого социалистического общества на современном этапе. Вряд ли можно претендовать на успех, если в процессе анализа, скажем, литературных явлений современности мы будем подходить к ним с абстрактных позиций, с отвлеченными, пустыми рассуждениями вообще о «пользе воды кипяченой и о вреде воды сырой», как говорил В. Маяковский.

О том, например, что реалистический метод в искусстве оказался плодотворным и многообещающим для дальнейшего развития литературы, мы знаем не

только «теоретически» — мы убедились в торжестве великих принципов социалистического реализма на живом опыте советской литературы! О том, что декадентство, упадочничество сыграло свою дурную роль в литературном процессе, в истории развития и западноевропейского и русского искусства художественного слова в конце прошлого — начале этого века, мы также знаем. Знаем и то, что в борьбе с декадентскими тенденциями, изживая их «родимые пятна», выросли некоторые крупные дарования искусства и литературы, ставшие потом гордостью своих национальных культур.

Однако искусство — это история и не только история. Оно учит, остается опытом, требует к себе уважения и не любит повторения ошибок... В прошлом мы находим не только борьбу с антиреалистическими тенденциями, но и вульгарно-сектантские схемы, воинствующую узость разных концепций «пролеткультовского», «рапповского» и иного толка. Попытки все сложные вопросы искусства решать с кондачка, демагогически, выпрямляя, упрощая их, оперируя ненаучными доказательствами, проявляя всяческое неуважение к знанию, фактам, таланту, — все это тоже имеет свою печальную историю.

Советская поэзия, о которой в последние годы много и не без пользы спорили в критике, завоевала широкое признание читателя именно потому, что во всей полноте наследовала традиции народности, партийности, гражданского служения обществу. Сила современной советской поэзии и в ее богатстве спектра, многообразии индивидуальности, многообразии стилей.

Вкусы у читателей разные, общество наше дает возможность говорить о широких интересах в самом хорошем смысле слова. И с каждым годом эта тенденция поэзии становится все отчетливее — а как же иначе! Мы передовое, социалистическое общество, достойное иметь большую поэзию, «хорошую и разных поэтов». Мы гордимся многими талантливыми именами, и в каждом поколении (вот оно, истинное проявление преэминентности, связи времен!) есть поэты, занимающие достойное место в советской литературе.

Конечно, меняется жизнь, меняемся мы, и поэзия не стоит на месте. У нее появляются новые черты, иные приметы. И чуткий критик не может не учитывать изменений такого рода. Мы бы не были ни реалистами, ни диалектиками, если бы не учитывали пульса времени, характера отношений между обществом и личностью, роста культуры и многих, многих других обстоятельств развивающейся жизни.

Многообразие поэзии — истина, не требующая подтверждения. Иное дело, как некоторые люди понимают само многообразие. Вкус критика должен быть безукоризненным, понимание масштаба явлений — безусловным. Критик не может руководствоваться примитивным подходом «нравится — не нравится». Самостоятельная концепция — это не одна обобщающая поэтических имен вместо других, которые тебе «не нравятся».

К сожалению, приходится еще сталкиваться и с такого рода критикой. Печальный пример — статья В. Дружина «Проблема концепций» в № 4 журнала «Октябрь».

Автор высказывает беспокойство по поводу неполного, недостаточно глубокого изучения современной поэзии. При этом он справедливо полагает, что при обозрении текущего стихотворного потока «возможны разные оценки, разные точки зрения, разные концепции».

Какую же концепцию выдвигает сам автор?

Увы, концепцию, то есть систему обоснованных взглядов, трудно обнаружить в его статье. Из нее, правда, можно узнать, что одних поэтов В. Друзин любит и принимает, а других отвергает. Тех, кого он отвергает, ничтоже сумняшеся причисляет к... декадентам. Оказывается, все очень просто. Приклеил старый ярлык к новым явлениям советской литературы — и «концепция» готова.

Предвзятость такого подхода очевидна. Критик исходит не из основательных научных наблюдений над поэтическим многообразием, а из желания втиснуть сегодняшнюю живую поэзию в удобную ему схему. А схема-то явно устарела, она с поздне-вульгарно-рапсовской бородой! Следуя ей, В. Друзин легко ставит знак равенства между объективностью и всеядностью, отлучая от советской поэзии многих поэтов, заправо зачислив их в декаденты.

А какие доказательства у В. Друзина для столь обзавывающих и далеко идущих определений? — спросит читатель. Доказательств нет. Сетя на «авторов бездумных аннотаций», он зовет к аналитичности критики, но в его статье нет анализа поэзии. В одном случае осуждаются два выхваченных из контекста слова — «писсуар» и «унитаз», в другом возносится непомерная хвала в общем-то ничем не примечательным поэтическим описаниям, сопоставлениям, как, например, совмещение двух представлений о дали — близкой дали и далекой дали. Или с восторгом говорится о том, как замечательно поэт создает «новый образ»: «все относительно на свете» — «есть ураган. Есть просто ветер. И есть дыхание моря». Приведенные В. Друзиным характеристики стихов упреждают творчество им же ценимых поэтов, поэзию вообще, нисея ее до рифмованной передачи раскожных мыслей.

Нет, анализ поэзии нечто более содержательное и обоснованное, а именно: показ творческого лица и почерка поэта, того нового, что он внес в поэзию по содержанию и форме, чем обогатил предшествовавший опыт родной литературы.

Но это В. Друзин, конечно, не нужно. Ему нужна «концепция», как таковая, если даже она составлена без предварительного и объективного изучения материала поэзии с должным соотношением его с движением самой жизни.

В. Друзин, не называя имени А. Вознесенского, но перечисляя некоторые его образы, издательски пишет о некоем «новаторствующем поэте», в круге образов которого безапелляционно обнаруживается не более, не менее, как... «ничто, изначально присущее декадентству и чуждое традициям реализма». Дальше больше. Сегодняшнее «состояние советской поэзии можно представить не в одном облике, а — на выбор — в одном из двух (поскольку они разные и не совмещающиеся). Один облик сложился в результате победы реалистических принципов...» А другой? Другой, по В. Друзину, «видится кое-кому как сочетание реалистических и декадентских принципов одновременно: они-де равноправны, и надо, следовательно, одновременно одобрить Павла Васильева, Василия Федорова, Николая Тряпкина, Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину. Единый поток поэзии имеет различные грани, и их, мол, следует видеть. Эти грани бывают реалистическими, бывают и декадентскими». Яснее не скажешь! Только вот вопрос: чье же все-таки лицо отражается на «реалистических» гранях в этом смысле? Кто «декадент»? Васильев? Федоров? Вознесенский?

Не менее безапелляционен В. Друзин и в оценке критики поэзии. По его убеждению, у нас есть сторонники «концепции»... «сосуществования» декадентства и реализма, «поэтому рецидивы декадентства надо принимать спокойно, видя в них только одну из

граней сегодняшнего поэтического потока». Не ясно, что это значит по-русски: «грань... потока», — ну, да не будем придираться к стилю В. Друзина. Если бы только в этом было его слабое место! «Надо-де знать, что каждая блоха не плоха... Надо-де увалявить все грани, надо быть объективным, всеядным — в этом высшая мудрость (его-то постоянно руководствуется, например, критик Ал. Михайлов)».

Как видите, размазывает пишет В. Друзин! Не стесняет себя доказательствами. Так, мимоходом один из наиболее вдумчивых, активных наших критиков поэзии, Ал. Михайлов, попадает в число покровителей декадентов, соучастников «концепций» «сосуществования».

Но довольно. Ни о каких концепциях тут и речи быть не может. Есть безнадёжная отсталость, плен догм, узость и бедность в понимании поэзии, торжество сороки и посредственности под жупелами борьбы с «декадентами».

Мы умышленно не называем ни имен поэтов, которых В. Друзин считает «декадентами», — впрочем, и он их полуназывает! — ни тех, кого он противопоставляет им. И те и другие — советские поэты, достойные серьезного разговора. Дело не в именах, вообще не в именах — дело в беспомощности анализа, в попытках заменить анализ жупелом. С этой «методой» советская критика давно простилась — в целом. А о рецидивах мы и говорим...

Достоин сожаления, что В. Друзин не извлек уроков из известной статьи А. Твардовского «Проповедь сороки и посредственности», направленной в свое время против предыдущего выступления В. Друзина. Кстати, тогда В. Друзин и его соавтор Б. Дьяков также не жаловали талантливых художников. Теперь же В. Друзин, уже в единственном числе, снова выступает против талантливых поэтов.

Странно, что В. Друзин, требуя от других изучать «книгу реальной жизни», постигать «красоту земной действительности и одновременно сложность ее», «понимать закономерности развития», сам не проявляет ни интереса к этим «реалиям», ни малейшего чувства времени, не видит разительных перемен в жизни за последние десятилетия. Будто действительность наша и люди, мир чувств их застыли на уровне двадцатых — тридцатых годов, будто эстетический мир человека вовсе изолирован от экономического, этического, социального развития.

Право же, оторванность от жизни не приводит к добру!

Опыт показывает, что непонимание характера изменений, происходящих как в общественной, так и в художественной сферах нашей жизни, всегда чревато воинственным консерватизмом или волюнтаризмом анархического толка. Обе крайности плохи. И обеим помогает ненаучный, спекулятивный подход к делу. Борьбась с этими крайностями можно только знанием, профессиональным умением анализировать факты реальности — будь то явления самой жизни или искусства. Время никак не поддерживает демагогию, оно выталкивает ее на поверхность! Обнаруживает шаткий ее «фундамент». И, напротив, время помогает уважению к знаниям, научному подходу к изучению процессов литературы, пониманию той серьезной идеологической истины, что наша действительность дает — вопреки клевете наших идейных врагов — подлинный простор подлинному художественному многообразию литературы и искусства.



Л. ЛАБЕНОК.

Папа.

Из произведений художников Советской Украины.



Я. МАЦЕВСКАЯ.  
Колхозная  
весна.



С. РЕПИН.  
Хлеб наш.



Т. ЯБЛОНСКАЯ.  
Юность.



А. ПОПОВ.  
Корабль  
«Космонавт Комаров».





А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

К солнцу.





О. Север, Север-чародей,  
Иль я тобою околдован?  
Иль в самом деле я прикован  
К гранитной полосе твоей?

Ф. ТЮТЧЕВ.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

# ОНЕЖСКАЯ БЫЛЬ



Рисунки  
автора.

**С**осед по купе — геолог — увлеченно говорит о Байкале, на котором только что побывал, но, взглядывая в проплывающие за окном болотца и озерки под тусклым солнцем, переходит на Карелию. Рассказ о водопадах и их происхождении он чередует с перечнем пришевинских книг, объединяя их под общим названием «В краю непуганых птиц».

Пришвин! Вот писатель, которого и можно и должно назвать счастливым: ведь он сам сотворил свою жизнь, сам наколдовал свою судьбу. Это он открыл нам прелесть Севера, обаяние его природы. Он словно слился с нею. Нет, проступил на ее фоне. Помню его похороны: он, казалось, не умер, а ушел в свои кладовые.

«Мох и мох, кочки, озерки, лужицы. В сапогах вода, свистят, как старые насосы, сил нет вытаскивать их из вязкого болота».

— Подожди, Мануйло, устал, не могу. Далеко ли до леса?»

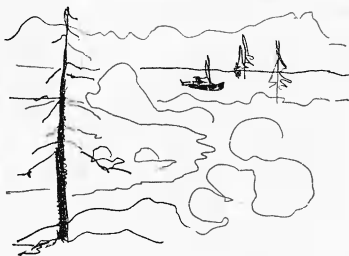
В памяти всплывает этот зачин книги. «1905» — дата, поставленная Пришвиным по окончании книги «В краю непуганых птиц». Вот ведь когда написано! А читаешь книгу не отрываясь. Живое слово, перво-родное, самоцветное.

«В краю непуганых птиц» и другие книги этого воистину очарованного странника способствовали верному пониманию и пристальному изучению Севера. Я не касаюсь здесь судьбы русского очерка (в нем Пришвину удалось сказать свое особое слово и расширить рамки жанра), речь идет о непосредственном влиянии слова писателя на этнографов, фольклористов, историков, более того, лесоводов, геологов, лимнологов — исследователей озер и искусственных водохранилищ. Но всего более, если сказать правду, слово художника послужило постижению души человека, человековедению.

За интересным разговором легко забываешь время, в том числе и время прибытия...

Проводники на перроне — на припек. Спасибо, до свидания!

Приехал. А ощущение такое, что приезд — только начало дорог. Буду ходить, лазить, плыть. «Лышний



Реактивный громыхнул над садом,  
Запрыгает почтальон коня.

Неравносильное, большое и малое, но, я это вижу и слышу,— живое.

Говорим с Сысойковым о том, что еще не создана впечатляющая книга о времени, когда около устья реки Лососинки, вокруг Петровского завода, в 1703 году возникла горнозаводская слобода, как она постепенно обрела облик города и как затем менялись черты лица этого города.

Есть в Петрозаводске внушительные строения, так идущие к Северу, к колориту Карелии. Выхожу к новым кварталам. Где я нахожусь? В Черемушках? В Киеве, на Печерске? В рабочем районе Горького? Непроницаемый стандарт. Дома аккуратные, как черные шарик синтезированной икры.

Куда ни помотришь, каменные громады теснят редкие деревянные домишки, сдвигают их. Просто, как песчинки в жерновах, перетирают. Перекопаны мостовые, рушатся бревенчатые заборы, дарят надо всем подымные краны.

Иду по улице Ленина, бывшей Святоволоцкой, не иду, а качусь в Онегу. Другой город! В дореволюционную пору здесь было одно лишь каменное здание — тюрьма. Не нужно сравнивать то, что несравнимо: другой город на том же месте, вот и все. Узнается только площадь имени Ленина, бывшая Циркульная или Круглая площадь, да несколько старых зданий, да два-три памятника, среди них предеревский памятник Петру. Все остальное новое.

Уходя яры, овраги, крутосклоны с бревенчатыми лестницами и перилами, уходит деревянный город. В гостинице мне достается постель в пятиместном номере, в нем шесть человек. На одной постели — отец с сыном, приехавшим на экзамены в пединститут. Рядом — рыбак с набором удочек и спиннингов. Седючий турист, едущий на рассвете в Валаам. Командировочный из Сегежи. На столе — надомленный арбуз с рвущейся изнутри красной и «Неделя», разрисованная на полях экзаменующимся копией...

Им в дорогу, да и мне в дорогу!

Плыть по Онеге, выезжаю из Петрозаводской губы и вскоре вижу Ивановские острова, о которых ранее знал,— здесь в начале войны фашистские снаряды настигли транспорты с эвакуированными детьми; большинство из этих детей погибло. Покой Онего, сияющего под солнцем, навсегда нарушен этой трагедией. Все окрест молчит, словно в память об этой трагедии. Плыдем молча, на горизонте остров — самый большой в Зонезжье — Большой Климкий. Длина его — 40 километров. Наибольшая ширина — 10 километров.

Когда человеку заранее описывают какое-либо чудо, он подчас опасается встречи с действительностью. А не покажется ли она чересчур бледной по сравнению с предварительными описаниями?

Как бы красочно ни описывали Кижь, как бы ни боялся человек встречи с ними, они все равно предстают как чудо.

В киосках и книжных магазинах Петрозаводска всюду открытки, альбомы, справочники «Кижь», можно купить значки, офорты. О красоте Кижей знают заранее, будто это много раз слышалось и виделось во сне.

И вот... За елями, за ними, вместе с ними, облаками, зеленью островов возникает Кижь. С каждым мгновением они увеличиваются, приковывая внимание к себе, только к себе. Ведь благодаря им все-все окрест обретает привлекательность. Видящие Кижей!..

Ели, зеленые ели кажутся мне Кижями, облака — Кижями. Красота рук творящего человека — Кижя-

кусок гому, кто на месте не сидит», — утверждает одна карельская пословица. А другая ей вдогонку: «Не тот много знает, кто много ходил, а тот, кто много видел».

Итак, важно глядеть. А глядя, важно увидеть...

...Петрозаводск — завод Петра, ровесник Питера. Выходя из вокзала, смотришь на круто падающую широкую улицу и видишь Онежское озеро. Онего — говорят здесь. Открытое «о» в начале и в конце слова. «Онего!» — произнес я вслух, словно заплескал песню, и вдруг подумал: Пушкин своему герою дал имя этого озера — Онегин. Хотя родился тот «на берегах Невы», Онего! А в народной поэзии — Онегушко! Это звучит по-иному, чем Онежское озеро. Так же, как Невы, как называли Ладожское озеро.

Четверть века здесь не был. Впервые приехал я в февральский Петрозаводск в 1946 году. Бревенчатый, обгорелый, стылый. Ряды вертикальных дымов березовой рощицы стоял над крышами. Лютый мороз обжег и меня. А сейчас лето, август, и пытаюсь вспомнить, откуда я шагал тогда, от какой печки танцевал и где жил. Но никак не могу сообразить. И не потому, что память измывается надо мной. Нет, просто я приехал совсем в другой город. Хочу вспомнить кварталы и отдельные дома, в которых бывал тогда, но никак не могу вспомнить. И это мешает мне воспринимать новое, сегодняшнее. Заметил я давно, что образ появляется всего охотнее на стыке свежих впечатлений с воспоминаниями о давнем...

Полагаюсь на волю случая — и верно. Новые впечатления теснят прошлое, как новые постройки теснят старые, рущащееся день ото дня. Уходит, нет, ушла стародавняя Голгопка — прибежище рабочей толи.

Тогда, в 1946 году, я приезжал в командировку — восстанавливать молодежную газету, заниматься с начинающими авторами. «Иных уж нет, а те далече». Все новое. Об этом мы говорим с Михаилом Павловичем Сысойковым, давним моим знакомым, поэтом, уроженцем этих мест.

Это он в стихотворении «Моей Карелии» сказал:

Была печальною  
И горькомычною  
«Сибирь кандалина  
И подстолиняная».

В глазах Сысойкова — ответы карельских озер. В речи его — неторопливость северянина. Переход от обиденных слов к стиху дает почувствовать: речь течет плавно, размеренно, точно была поэзия. А скупой жест помогает ей течь. В строках подчас непреднамеренно протупает время, наше время, его контрасты:

ми. И впрямь был прав легендарно-несепный Нестор, построивший храм и после этого бросивший свой топор в Онежское озеро с словами:

— Не было, нет и не будет такой...

Так мастера, скромнейшие из скромных, могут сказать о себе в особо высокий момент работы, когда она совершенна и когда совершенное внушает мысль о совершенстве.

Так, автор «Бориса Годунова» воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын»...

Так, Блок, написав «Двенадцать», сказал: «Сегодня я — гений».

Легенда о Несторе живет. Легенда. Но дивная постройка безмянина. Не сохранились имена мастеров восточной артели, которую, несомненно, возглавлял один зодчий. Ему одному, только ему одному и может в мечтах привидаться такое чудо. Это Он велел ставить восьмерик на основной четверик. Это



Он четверик повелел крыть восьмикатной крышей с девятью главками. Это по Его замыслу осуществляла безвозделая кровля сеной и трапезной.

Словно бы слышу голоса крестьян, пришедших издалека, деющих друг с другом новостями, радостью-бедой, любующихся красотой труда своих мастеров. Словно бы слышу гул-говорок, шепот, возгласы... Живое!

Видны в трапезной отметины топора на срубах — вот безмянина подлиса мастеров. Незаместо для хриателей прикасаюсь к ним, благодарю их.

Главное чудо Кижей — Преображенская церковь. 1714 год. Через пятьдесят лет рядом с ней встала Покровская церковь. Она уступает первой по величине и красоте, хотя в отдалении сливается с ней, льнет к ней и дополняет ее. Поставленная еще через сто лет колокольчик ничем особо не примечательна, но полна гордости за своих соседей, распространяющих и на нее свою красоту да и добрых настолько, что взяли ее, как младшую сестру, в свою семью.

Кижя — произведение высокого искусства — это знали и раньше. Кижя — центр свободолюбия Руси, центр восстания русских, карелов, венсов под руководством Климма Соболева, Семена Костина, Андрея Сальникова. Царизм не обращал внимания на красоту, на благолешие, на народ. В июле 1771 года каратели, собрав повстанцев у Кижской церкви, открыли по ним огонь. У самой церкви! Восстание было жестоко подавлено. У его вожаков, прежде чем сослать их на пожизненную каторгу, были вырваны языки и на лице выжжено: «воз» — «возмутитель».

Глаз навизывает — бусинку на бусинку — новые впечатления, так образуется Кижское ожерелье.

Лазаревской церковке около 600 лет. Часовня из Ледейзера. Ветряная мельница (на ней туристы ставят подлисы легко, как на заявляниях, отправляемых в бюро славы, или еще легче, как на ведомости зерплат). Амбары, жилые дома — и Ошевнева, и Елизарова, и Сергеева (имена их в отличие от имен церковных зодчих сохранились; ближе по времени к нам). Здесь под открытым небом, собранные

в одном месте, предстают передо мной титы северного жилья: «кошеля» и «глаголь». Визу нарядное гульбище, без которого дом — что мужик без борода, как тогда говорили. В сарае, как в мастерской настоящего художника. В сарае возникает ощущение каждодневного труда, а потому и соответствующего быта, помогавшего этому труду, служившего ему.

Памятники старины страдают от времени. Это естественно. Но они страдают также и от «подношений», произведенных в XIX веке. Подумать только: Преображенская церковь была обшита досками, кровля и главки покрыты железом! Покровскую церковь обшили тесом, а внутри оплутатурили (сейчас эта оплутатура спята, на досках видны следы обшивки дранкой).

Наглядявшись на постройки вблизи, отождо дальше, все дальше. Иду и оглядываюсь, и царяща надо всем тройка главных сооружений поет в пространстве; они то сходятся, то расходятся, играют, переплетаются со всем окружающим и с моими мыслями. И все это звучит — именно звучит — как хорошее пение или органная музыка.

В пространстве то часовенка предстанет передо мной, подбохась, то проплывет парусник, то пройдет рыбак с удочками. И все к месту, и все нужно.

Так, налюбовавшись окрестностью и надмывавшись Онегой, побжежишь в «Поплавок», что стоит в стороне на берегу и предвещает путника девятнадцатью сортами вин и местного улова рыбкой. Сквозь неровное стекло окон вижу все ту же тройку. Даже эти стекла не могут снять очарования ансамбля. Он плывет ко мне. Он плывет, а путники, с утра осматривающие Кижя, едят так. Будто они и строили эти Кижя.

Трудно прощаться. Не выпуская из глаз видения, ставшего для меня реальностью, отплавлю. Плавлю. С каждым мгновением Кижя, не уменьшаясь, а уходя из видимого в видение, из реального в память, уплывают за ели, становятся ими, частью природы. Такой частью, которая внушает окружающему его красоту и назначение.

Нетронутой природа и след руки человеческой. Вообще след человека в пространстве и времени. Об этом нельзя не думать здесь. В «Калевалде», которая именно здесь, в этих местах, особенно близка, сказано об Илмариине:

Он кузнец, и первый в мире.  
Первый мастер он в искусстве.  
Ведь он выковал эи небо.  
Крину воздуха сковал он.  
Так, что нет следов окозны  
И следов клеицы не видно.



С этих строк перевожу взгляд на своих спутников, возвращающихся после знакомства с Кижями. Подавляющее большинство — молодежь. В спортивных костюмах, в кедах, с грязными, выдавшими вид рюкзачками, с гитарками, фотоаппаратами, с карандашами, красками, одни спорят, другие молот, никто не дремлет. Молодые бородачи, девушки с причудливыми прическами притихли, они покороены встречей с чудом — с Кижями.

Мои «лиanye бородачи, электромонтеры, физики, лаборантки, ассистенты, очкарики, бродяги, охотники, кандидаты в мастера, аквалангисты, раньше вы вели себя так, как ведут все пришедшие на голубенькое. Вы возмужали. Вы поняли, что и нам пришлось до вас крепко поработать. И вы, не повторяя нас, все же кое-что у нас подсмотрели, подсмотрели важное для себя. Вы уразумели, что каждому поколению нужно если не все, то почти все осваивать заново: землеко, металл, небо, красоту. Осваивать и завоевывать».

Так естественно и просто моя мысль от Кижей перешла на вас и вашу судьбу. Да и какое может быть истинное познание природы, человека, красоты, если не обращаться от старины к новизне, к вот этому сейчас идущему мгновению!..

На легкой Онеге парусная эстафета да еще к тому же байдарки, моторки, аквалангисты. Иду по качающемуся бревенчатому настилу. Председатель парусной секции Эдуард Евгеньевич Кузнецов — высокий, с промисской улыбкой человек — знакомит меня с молодыми людьми с Онежского завода, завода «Авангард» и других. Идет соревнование. Но нет ажиотажа, все делается легко, душевно, увлеченно. Кто знает, может быть, кто-нибудь из этих молодых спортсменов готовится стать Туром Хейердалом. Как знать! Честнолюбие — в отличие от тщеславия — вещь, не сразу бросающаяся в глаза, принимающая весьма обманные формы. В житейском обращении, в общении это очень обидительные люди. Открытые, веселые лица, пытливые глаза, деятельные руки. О таких говорят: «свой парень». Одного из них прошу взять меня на борт, прокатить под ветерком. Пауза. На лице сменяются понимание, сочувствие, сожаление, решимость.

— Не положено. Вы уж меня... Другой раз...

Ревниво слежу за парусниками. Ветер клонит их — они выравниваются. Гнет — они вырываются. Так что ветер остается в дураках... В парусах — легкость и древность, мужество и окрыленность. Паруса поэтичны непреодолимо и навсегда!

Паруса и Кижь при всей несхожести имеют черты сущностного сходства. Это победа человеческой руки над хаосом природы. Это свобода и красота, рожденные трудом.

А между тем пороненое крыло Онеги вздрогнуло, как-то странно наклонилось и стало глубоко-пепельным, рябым, словно само глядело воду против перстки, рябым, словно поклепанным дождичками. Мгновение — и сверкнувшее солнце сделало эту рябь золоточешуйчатой, белгой, искрящейся и сияющей. Парус тонул в этом жидком золоте озера, и только небо очерчивало его стремительный треугольник.

Погода много раз меняется на дню. То свет, то тень. Какие-то незримые весы колеблются над Онегой. И стрела их как парус: то сюда, то туда — порой узнай знак северных весов.

Но дождь неминуем. Вот-вот он прорвется на горло, на озеро, на всю Карелию. Так и есть. В Кондопогу еду сквозь дождь. Обложкой, без видов на прясление. На въезде в Кондопогу иду по профилю Успенской церкви. Он скорей мерещится, чем видится. Острый серый четырехугольник. Корпуса комби-

ната и гидростанция напывают мощно и в цвете даже сквозь дождь.

На берегу озера было некогда тридцать крестьянских дворов. Так начиналась когда-то Кондопога. Здесь знают особо важную дату — 26 апреля 1921 года, когда Совет Труда и Оборон под председательством Ленина постановил построить здесь бумажную и целлюлозную фабрики, деревообрабатывающий завод и электростанцию на протекающей в этих местах реке Суна. Сказано — сделано. Шли годы. В камень, дерево, стекло облекалась человеческая мысль. Потом Кондопога — уже в годы Войны повергла его в руины. Город рождался заново. Уже к концу 1947 года целлюлозно-бумажный комбинат дал первую свою продукцию.

Мой спутник, восторженный, пышноволосый, красавицкий Александр Бабкин, работает старшим инженером треста «Кондопожстрой». Его родной городской. О Кондопоге говорит восторженно: «Каждая третья газета в Советском Союзе печатается на нашей бумаге...» И после паузы: «Наша седьмая машина, которую любовно называют «семерка», дает бумаги больше, чем все фабрики деревообрабатывающей России».

Информацию эту он произносит, как лирику. От нее Бабкин плавно переходит к стихам. Они у него пишутся густо.

Александр Васильевич руководит литературным объединением при газете «Новая Кондопога». Объединение существует с 30-х годов, со времени Кондопожстрой.

По дороге на Кондопогу мне встретился примечательный человек. Не только рыбак рыбака видит издалека, — книжник видит другого книжника тоже издалека. Леонид Константинович Алексеев знает все, что выходит не только в центре, но и в областях. Подыскиваю имя автора и название книги, чтобы ошарашить его. Не тут-то было. Знает. Знает, что заживаешь, что ждет выхода. Мало того. Ему хочется видеть Карелию краем книги. Не зря же здесь даже на рынке три книжных киоска и все три работают бойко. Алексеев хочет, чтобы книжные витрины были изобретательно-заманчивы. Художники есть, но еще не умеют делать то, что хочется поступать.

В Кондопоге на площади перед Домом культуры состоялся традиционный День поэзии. Дождь, как по заказу, дал нам возможность выступить перед собравшимися на площади кондопожцами. Дождь словно отошел в сторону, а петрозаводские поэты и участники кондопожского литературного объединения читали и читали стихи с грузовика, приспособленного под трибуну. Можно пожелать всем выступающим со стихами такую аудиторию и такой прием. Как только мы закончили, снова пошел дождь. В это трудно поверить, но следует помнить, что природа в стихоре с поэзией.

Повидав радующую кондопожскую новизну, едем к старине, к всемирно известной Успенской церкви 1774 года. Дождь и сейчас прервал свой бег как бы специально для того, чтобы дать нам возможность разглядеть церковь. Она у самой воды, на холмике, как Аленушка на камушке. Высота, статность, собранность. А как смотрится здесь, именно здесь! Никада ее не перевишь. Только здесь ей стоять.

Отсюда мы едем на Кивач. Побывать в Карелии и не увидеть Кивача — можно ли?

Дождь снова припустил. Грохочет лавина дождя, как бы предвзятая грохот водопада.

Приближаясь к Кивачу, все произносит:

Алмазна сыплется гора...

И все вспоминают: здесь был Державин. Кто-то го-  
влет цитатного записи еще дальше.

Старик Державин нас заметил...

А вот и он. Падуан. Несколько присмиривший после  
взрывов 30-х годов.

К Кивачу прирос Державин, к Державину Пуш-  
кина, к Пушкину мы. Все оказывается связанным и  
родственным.

Идет славя леса по Суне. Стою на мостике и сле-  
жу за столами: их оттягивают багром от плотной  
запруды, и они летят звонко вниз по течению. Спор  
воды и дерева. Едко пахнет древесникой. Чему по-  
служит вот эта сосна? А вот эта? А эта?..

Дождик льется, сеется, словно брызги водопада,  
острой пылью летит на нас. Долго еще будет со  
мной ощущение: брызги Кивача — дождики.

Дорога на кварцитовый рудник в сторону Шок-  
ши. Немноголюдно. Единственный в мире карельский  
кварцит...

Берег изогнут. Скальная порода обнажена в раз-  
резе. Жилы — застывшие волны лавы — от розовой  
до бурой. На породе — лес. А рядом плещется, иг-  
рает Онего. Здесь оно особенно синее...

Итак, зеленый, красный и синий цвета. Очень жи-  
вописно — таков поселок кварцитов. Вдоль берега —  
похожий на торговый ряд, бременчатый навес, разде-  
ленный на клетки переборками. В каждой такой клет-  
ке станок и ящик для сброса отходов. Каменотес  
вручную долбит камень. Долго, тщательно.

Среди отлично работающих Борис Мишкин, он  
пенси, ему 31 год. Отец его — забойщик в Рыбреке,  
где добывался диабаз, которым, кстати сказать, вы-  
мощена Красная площадь. Работал в следующей клет-  
ке, трудится жена Мишкина. Тоже отлично работа-  
ющая.

— Давно здесь?

— Да лет так десять будет... Женился здесь, вот  
двое детей уже.

— Уезжать не собираетесь?

— Да что вы, отсюда никто не уезжает! К камню  
приващайся.

Он разговаривает со мной, но не отрываясь от  
работы. Дух захватывает от движений его спорных  
рук.

Между бременчатым навесом и озером стоит руд-  
ничная кузница, где производятся заточка инстру-  
ментов: заправка куладал, закончинок, бучарды.  
Доброе имя кузница Исидора Петровича Мутты в от-  
ветах его. Он с Ладоги. С ним рядом работает ярос-  
лавец Юрий Александрович Колобов. Первый здесь  
уже четверть века, второй — двадцать лет.

Онего слышит дыхание кузницы, звон молотов и  
зубил, взрывы скальной породы, звук вагонеток. Сей-  
час минуты тишины. Солнечно. Каменотесы обеда-  
ют. Онежская свежесть снимает едкий запах камен-  
ной пыли. Ничего не поделаешь — этот камень при-  
ходится обрабатывать вручную. Но почему же нет  
автоматической вытяжки пыли? Почему плохо обо-  
рудованы вспомогательные помещения?

На обратном пути, глядя на Онего, все время ду-  
мается об этом... К вечеру яростно заработала куз-  
ница неба. Словою сотня локомотивов и вздыблен-  
ных колен встали над берегом. Крутые повороты го-  
лов, вывернутые шеи, могучие рати облаков. Все в  
покое, и все в движении. Вдали смывает облако — там,  
видно, дождь. Плыву, плыву, и вдруг там, где был  
дождь, — радуга. Такой интенсивной и устойчивой —  
почти на полчаса — радуги отродясь не видел. Сле-  
жу за радугой долго: то в нее влетают чайки, то  
входит баржа, то маячок плывет. Слежу за радугой,  
слушая одновременно, о чем разговаривают туристы.

Тут и мини-юбки, и театр на Таганке, и цветное те-  
левидение, и Евтущенко, и клешевой энцефалит, и  
еще всякая всячина. Но многие туристы молчат.  
О, молчанье путешественников, оно драгоценно! И  
оценить его могут только те люди, которые сами уме-  
ют молчать, любящие природой. В такое пору каж-  
дый поэт.

Всякий раз, приезжая на новое место, интересуюсь  
умельцами. Мастера и их работы многое объясняют  
мне в жизни края. Отец Степана Егоровича Лесо-  
нена — печник, родом с Калеваля, с Бабьей губы. До  
армии Степан Егорович не интересовался ни живо-  
писью, ни скульптурой. Его интерес к рисунку по-  
явился на армейской службе в Иванове, еще до вой-  
ны. Один из художников грековской студии препо-  
давал армейцам рисунок. Степан заинтересовался:  
рисовал и лепил. Его скульптуры выставились в  
Петрозаводске и Москве. После того, как Степан за-  
болевал, от скульптуры и живописи пришлось отка-  
заться. Он взял с собой в больницу нож и там на-  
чал резьбу по дереву... Так родилась карельская ми-  
ниатюра Лесонена: на срезах березы он делает все,  
что ему нужно, и получает брошь, колье, шкатулку.  
Плетет из бересты переплеты для «Калеваля» —  
такая одежда книжке очень идет.

— А как болеешь, Степан Егорович?

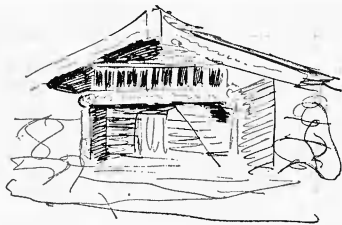
— Когда работаешь, она к черту отступает.

Разводы дерева, природные его линии повторяют  
облака, волны, паруса, избы. Лесонен подчеркивает  
этот намет легким прикосновением ножа и лака. Так  
вещь получается неповторимой, как дар самой при-  
роды.

Один день недели Степан Егорович проводит в  
лесу. Грибы, конечно. Но прежде всего дерево. Он  
вглядывается в облик пней, в образ сухих веток...  
Разговор с деревом — важная часть работы мастера.  
Словно это о нем говорится в карельской посылке:  
«Милым миш — мечаяк мануу, шемном луу  
вапша тулоу», что означает «Какой человек в лес  
пошел, такое ему и дерево навстречу». У пословицы  
глубокий смысл, но не более глубокий, чем самая  
жизнь мастера. А жизнь эта — поиск, наблюдение,  
отбор, работа, терпение, контроль, напряженность,  
любование...

Очерк — это не перечисление виденного. Это скор-  
рей осмысление увиденного. Осмыслить помогают те-  
бе зоркость, если она есть, опыт, умение слушать  
других. Я напряженно слушал разных людей: ста-  
рых и молодых, рабочих и интеллигентов. Улыс Кар-  
лович Вистрем, прозаик, пишущий на финском язы-  
ке, очень внятно дал мне почувствовать речевую  
атмосферу края. В кожаной кепке, приземистый, с  
пристальным взглядом, он говорит мало, с юмором,  
но за словом чувствуешь дело. Марат Тарасов и Илья  
Симаненков щедро вынимали из кошелька памяти ин-  
тересные случаи — живую историю культуры края.  
Из всего этого, из переплетения рассказов и рассказ-  
чиков, рождалось общее впечатление от Карелии.  
Я следил не только за тем, что совпадало в расска-  
зах, но и за тем, что не совпадало.

Разительный пример несоответствия слышимого и  
видимого я получил во время пароходной прогулки  
по Онеге — «Вечерний Петрозаводск». Стоя летний  
вечер, а голос из рупора говорил о зимнем утре. Во-  
круг видна была вода, а он вещал о камне, которым  
облицованы улицы города. Плыла луна, а речь шла  
о солнечном полдне. Текст был высокочерный и от-  
влеченный. Я слушал голос из рупора и думал о не-  
которых произведениях нашей литературы. Разве не  
случается такое и с нами? Самая жизнь, ее прояв-  
ления находятся в резком контрасте с текстом книг.  
Увы, это бывает, к стыду нашему,



В настоящем творчестве видение и словесная ткань должны накладываться друг на друга. Я убеждался в этом не однажды. В том числе здесь, в Карелии.

В войну Иван Костин воспитывался в Сенногубском детском доме, учился в ремесленном в городе Сегеже, там же работал на бумажном комбинате, служил в армии, потом снова встал за токарный станок. Многие повидав, человек стал писать. Дерзал, пробовал, учился в Литературном институте. Но набрел на свой истинный след, когда занялся изучением старины и новизны Заонежья и собиранием частушек. Вторая книга Ивана Костина «Золотец» выявляет иногда самоцветное слово, взятое из первых рук.

Тученька затучила,  
На горке сено кучила,  
Кучила я, кучила,  
По ягодке соскучила.

Частушка инкрустирована в лирику, как берозовые срезы в мозаику.

Заглянул я в глаза  
Ей отчаянно.  
— Повенчаемся, — сказал, —  
Повенчаночка.

В книге есть сильные и слабые стихи, но не в том суть: читаешь книгу — и слышишь живую заонежскую речь.

Явственно я увидел, как хорошо сочетается жизнь человека с его творчеством, увидел это, встретясь с Юрием Линником. Это имя мне давно знакомо: Линник был студентом моего семинара в Литературном институте. Начитанный, сметливый, любознательный, он тем не менее задавал преподавателю иногда удивительные задачи. Но вот случай, когда преподаватель может быть доволен. Юрию Линнику 27 лет, он кандидат философских наук, преподает философию и эстетику в Петрозаводском педагогическом институте. Он автор двух книг стихов. Много переводит, много пишет, принят в Союз писателей.

Беседы в Петрозаводске велись вокруг книг и авторов их. Юрий Линник убедил меня, что пужно ехать к нему на дачу, в Намуево. И вот, доехав на машине до деревни Косалмы, поклонившись могиле нашего славного филолога академика Филиппа Федоровича Фортунатова, мы садимся в лодку и пересеем Укшозеро. Через полчаса мы причаливаем к зеленому полуострову, на котором стоит карельская деревня Намуево. Линник оборудовал один из запущенных домов. И как оборудовал! Здесь его мастерская, библиотека, астрономическая обсерватория.

Молодой философ и поэт в микроскоп рассматривает растения и минералы, а в телескоп — звезды и планеты. Он увлеченно рассказывает об очередном противостоянии Марса, показывает звездные карты и атласы. Идем по лесу, он в лицо узнает каждый цветок, каждую травку и называет их по именам.

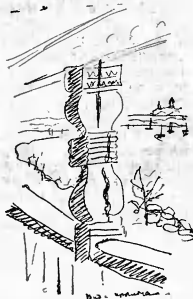
— Вот дикута, стубившая Сократа.

На проводах множество ласточек. Они хлопотливо изучают пространство. В чем дело? Юрий Линник дает мне пояснение:

— В этот день они всегда улетают отсюда. А накануне собираются все вместе и готовятся.

Поднимаю заинтересовавший меня камень.

— Яшма с золотым пиритом, — тут же говорит он.



Мы захлестываем друг друга стихами, и оба чувствуем, что нужно время для того, чтобы поговорить вволю.

Да, учителя Литинститута, несомненно, могут гордиться своим учеником. Молодой человек постоянно в работе, в полете, он хочет многое знать, он хочет найти истинное свое место в мире.

Пусть жизнь моя — мгновение одно  
На звездном циферблате мироздания.  
Спасибо вам за всекое зерно.  
За ритмы учащенного дыхания.

Дома я листаю книгу стихов Юрия Линника «Созвучье» и думаю о восхождении душевного зерна, о непрерывности наших усилий, о том, что страна наша, область, край раскрываются в пейзаже, в речи, в истории, но всего более — в человеке, творце, строящем себя и своих современников.



# РЕМБРАНДТ

Евг. БОГАТ



Вверху — автопортрет Рембрандта. Офорт. 1635 г.

**Д**олго я не замечал этой женщины — и видел ее и не видел. Она была фигурой, понуро покосившейся на стуле в зале Рембрандта. Я не воспринимал ее как живого, реального человека, хотя и ходил сюда изо дня в день, как на работу. Реальными были полотна, а не их безликий страж. Самих стоял я перед «Давидом и Ионафаном», перед портретами стариков, старух. Эти лица и руки обладали для меня высшей подлинностью.

Я переживал мою первую любовь к Рембрандту: в ней были и наивная одержимость и немудрая настойчивость. Мне хотелось узнать тайну его картин сегодня, сейчас, сию минуту. Почему эти лица и руки рассказывают мне несравненно больше, чем руки и лица мужчин и женщин на полотнах в соседних залах? Почему некрасивая и уже не юная Давная волнуется сильнее самых красивых и самых юных?

Почему «Пожилый мужчина» сегодня утром особенно опечален и умудрен, точно ночью, когда меня не было в зале, он мыслит и страдал.

Последнее «почему», конечно, самое важное...

Люди на картинах Рембрандта никогда не бывали в точности похожи на самих себя, их лица и руки то и дело выражали новую мысль, иное душевное состояние. За этим угадывалась какая-то не прекращающаяся ни ночью, ни днем духовная работа.

Духовная работа... полотно?! Точно затем, чтобы удостовериться: мертвое это или живое — в самом наивном и первоначальном понимании живого и мертвого, — однажды я едва не коснулся пальцем картины, и в ту же секунду рядом со мной оказалась она, безликий страж полотен Рембрандта, мягко остановила мою руку. Я извинился и тотчас же забыл о ней, захваченный новым неожиданным открытием: мне показалось, что фантастическая башня там, за печально обнимающимися Давидом и Ионафаном, напоминает чем-то развалины жестоко разбомбленного с воздуха города. И картина наполнялась рвущим современным содержанием. Потом я пошел к старикам, их лица тоже показались мне современными. Я подумал, что изменчивость их выражений, возможно, объясняется богатством воспоминаний. Ведь художник даровал им жизнь, которая уже сегодня измеряется тремя столетиями: от Спινόзы до Хиросимы. И мысль, что люди на полотнах Рембрандта жили — оплакивали родных, искали истину, улыбались новым детям, размышляли о мире, видели добро и зло, Наверное, страдали от бессонницы, — три века, три века, объяснила мне то, почему они по утрам часто выглядят непохожими на самих себя. Мне показалось, я вижу сейчас сам ту непрекращающуюся духовную работу, которая составляет суть их бытия, и вот уже лицо старика не то, что секунду назад — о чем он подумал, чему удивился в воспоминании?

...Я опять по непарадной лестнице поднимался сюда из античных залов, и с того мига, когда с какой-то разрывающей сердце будничностью открывались мне на пороге лицо старика и лицо старушки, казалосьсь бы, неподвижные в скорби и все же иные, чем я оставил их вечером, у меня перехватывало дыхание.

Женщина, понуро покоившаяся на стуле, теперь, конечно, узлавала меня, иногда улыбалась. Я тоже рассеянно улыбался ей. Она опускала голову, видимо, не желая отвлекать меня от картин даже беглым напоминанием о собственном существовании. Лишь два раза она подошла поближе, чтобы опустить занавес, когда зимнее солнце чересчур усердно освещало «Давида и Ионафана», и чтобы поднять его, дать войти сюда белому дню, когда за окном мела метель. Я мельком увидел ее руки и чуть удивился

тому, что они по-мужски большие. Однажды, когда я, видимо, чересчур долго стоял перед картиной, она захотела подождать ко мне стул, но я уловил эту попытку и отослал ее жестом обратно.

Меня мучила тайна великих портретов художника. Что он видел в человеке? Что появля в нем?

Рембрандт показывает человека в наивысший момент его общественной жизни, когда тот начинает осознавать, что в мире есть нечто более реальное, чем то, что составляло ранние сцены его существования. Это, разумеется, нельзя понимать наивно-натуралистически. Речь идет о ценностях духовных, о жизни человеческого духа, как особой, ни на что не похожей реальности. Поэтому, наверное, и кажется, когда подходишь к созданному им, что он изобразил на этом портрете тебя. Ведь то, что совершается в духовном мере человека, совершается и со мной.

Теперь в зале Рембрандта я больше размышлял, чем рассматривал полотна, садился перед особо любимой — в те или иные дни — картиной, думал, записывал. Иногда оказывалось, что утром к моему появлению стул уже стоял там, где я хотел бы сесть. Поняв, что объяснял это тем, что его, наверное, с вечера и не отодвигали, но однажды я твердо запомнил, что вечером сидел перед полотном, изображавшим падение Амана, а наутро «мой» стул — удобный, старинный, когда-то, видимо, музейно неприкосновенный, — стоял у «Пожилго мужички», к которому я и направлялся, думая о нем по пути в Эрмитаж. Мимолетно удивившись этому обстоятельству, я тотчас же о нем, конечно, забыл. А через несколько дней, опять кстати, нашел «мой» стул не на том месте, где оставил вечером. И опять, рассеянно удивившись, забыл тотчас об этом. Потом, помню, у меня мелькнула проницательная мысль о телекеинезе, когда стало ясно, что стул в мое отсутствие ночью путешествует по залу, ожидая меня утром именно там, где я хочу его найти. Углубиться в это соображение у меня не было ни желания, ни времени: я был полностью захвачен мыслью о том, что Рембрандт изображал на лучших полотнах этого человека плюс человечество, конкретную духовную жизнь плюс духовную жизнь мира — от наскальных рисунков в пещерах до одухотворения мироздания землянами, несущими в дар иным цивилизациям Сократа, Шекспира, Пушкина.

Однажды, когда я в первые же после открытия Эрмитажа минуты направлялся к «Пожилго мужичке» (меня опять мучила тайна этого портрета), я издала с наивным удивлением не обнаружил перед ним моего стула, а, подойдя поближе, увидел уже с искренним изумлением, что и сама картина отсутствует, на ее месте неслыханно висела унылая, исписанная лиловыми чернилами бумага. Я устал был в нее ядически тупо, почему-то начисто забыв в ту минуту, что картина не мемориальная доска, ее могут и увести к реставраторам и послать куда-то на выставку. Очулся я, когда услышал рядом:

— Ее вернут дня через десять. Может, даже через неделю. Понимаете, научная работа...

Я повернул голову: она, женщина, обыкновенно покоившаяся на жестком, далеко не музейном стуле в углу, с истертой подошмой подставки для ног, страж полотен.

Был мартовский день с солнцем, снегом, облаками. Весеннее утро над Невой, распахнутые дали ударили в царственные окна Эрмитажа, затмевая самосветящиеся полотна. Женщина подошла поближе к окну, затемнила его жалюзи, тяжкими от сонной шапкой, потом вернулась ко мне, погладила на стене передо мной коко висевшую унылую бумагу: документ о местонахождении «Пожилго мужички».

— Может быть, — начала несмело, — послать сегодня у «Женщины с серьгами», ее тоже дня через

три заберут... И родственно улыбулась: — Там я стул ваш...

Я увидел, что ей за шестидесят, пожалуй, далеко уже за шестидесят и мало, должно быть, досталось ей в жизни сидеть, ничего не делая, или ходить по земле в удовольствия, без тягестей; особая суровая сособенность, которая не ощущалась, когда она сидела покру в углу, сейчас стала явственной и не сослагалась с уютном лица, по-домашнему доброго, в бабушкиных морщинах.

— Вы переставляла стул? — задал я вездущный вопрос.

Она тихо рассмеялась.

— Я уж заприметила: если три дня сидите перед «Аманом», на четвертый — к «Пожилго мужичке». — И добавила серьезно: — День ведь долгий. Сидишь и видишь, что надо и чего не надо... Вот и я сейчас наблюдала, наблюдала, аж надоело! Извините старуху... Даже, — насмешливо понизила голос, — домой вернешься: будто вы ходите передо мной.

— Послезавтра, наверное, уеду, — ответил я, чтобы хоть что-то ответить.

— Не дожидесь? — опекалась, посмотрев на пустую стену. — А вы отложите, может, они и через четыре дня вернут, бывает. Вот и с «Ионафаном и Давидом» было, его тогда называли иначе «Давид и Авессалом»; берем, говорили, на три месяца, а уже через две недели...

— И часто меняют названия картин?

Мне не хотелось, чтобы она уходила.

— Меняют! — подтвердила она с охотой. — Вот та, у которой сидели вы раньше, теперь не «Падение Амана», как когда-то, а «Давид и Урия». Библийских-то имен не считаешь! Вот и играют... — В голосе ее не было ни осуждения, ни иронии, будто говорила она о детях. — Но мне, — сообщила с доброй доверительностью, — нет дела до новых имен. Человек-то, он тот же, хоть Урием его, хоть Аманом назови... Нам с ним от этого ни холодно, ни жарко. Вот и в «Давиде» кто звал-звал: Вирсавия... Это, — пошла, — жана Урия, которую полюбил Давид. Кто, — махнула рукой, рассмеялась. — А она, сама-то, небось, от радости и не помнит, как ее зовут. И вашего пожилго теперь, может, нарекут по-библейски. Нет им, должно быть, покоя, что без имени остался. Кому уже в третий раз менять, а ему и первого не дали. Но я-то называть его буду по-старому...

— Пожилым мужичкой?

— Нет!... — Она растерялась, даже покраснела, будто сорвалась с ее губ что-то нескромное, о чем нельзя и полусловом поведать человеку малознакомому.

— Нет? — удивилась я неволью ее растерянности. Она, улыбаясь, подыала ко мне лицо. И я забыл о бессмертных самосветящихся полотнах, забыл о Рембрандте и об Эрмитаже, я видел ее лицо, чувствуя, что нет для меня в эту минуту ничего в мире важнее его. Жила в этом лице человеческая судьба, обыкновенная и страшная: с детьми, трудом, войной, надеждами, похоронами, нестерпимым сердцем, одиночеством, усталостью с тоской по работе... Я увидел ее жизнь, понял и то, чем она была, и то, чем она не стала. И я вот в ту минуту, когда я, казалось бы, совершенно забыл о Рембрандте, он и дал мне великий урок. Я не побоялся бы, пожалуй, выразить его суть несколько банально, написав: нет в мире ничего важнее человека, который перед тобой. Но от этой будто бы бесозыбочной формулы меня отталкивает ее неточность. Дело тут не в а ж и о с т и, а в чем-то более существенном. Понимание человека, пульсирующее уже в самом первоначальном восприятии его, должно быть воспринято не самого лучшего, что было и что могло быть в его судьбе. Понимание, едва родившись, уже должно



быть творчеством. Сознания важности мало, ибо оно возможно и при пассивном отношении...

Она опустила голову, будто бы покоившись мне, и медленно, медленно отошла, ступая осторожно по дорожному паркету. Я ощутил опять ее суровую сдержанность. Она уходила к себе, на жесткий немужской стул, откуда хорошо виден зал, и раньше, чем она дошла и села и я увидел опять ее лицо, я понял, что мужчины и женщины, старики и старики на портретах Рембрандта заняли в ее судьбе места тех, кто ушел из ее жизни, и, должно быть, получая их имена. И она отступила, из угла, точно подтверждая эту мысль, улыбнулась в последний раз, потом поспуровала, отвела лицо, чтобы не мешать мне напоминанием о том, что мы вот и познакомились...

Мне особенно хорошо думалось в тот день, может быть, потому, что утром я увидел первый раз ее лицо. Ночью, уже засыпая, я увидел ее опять — оно было погружено во что-то сумрачно-золотое и окутано тенью, точно написала его Рембрандт. Передо мной была портрет — ее портрет, созданный Рембрандтом. А утром, войдя в зал, самой первой хотела я увидеть ее. Она по обыкновению поноур сидела, и в ее будничной домашности не было ничего таинственного, самосветящегося, рембрандовского...

В тот день я долго стояла перед темным исполненным полотном, повествующим об окончании странствий непутевого сына несчастного библейского старика. Отклонив голову, чтобы размыт онемевшее тело, я увидела, как из коричневого с ударом в Черное, казалось бы, непроницаемого сумрака выплыло похожее на туманное отражение в воде, не замеченное мною ранее лицо. С той минуты, откладывая отъезд со дня на день, я начал высматривать там, во тьме полотна (небытия?) новые лица очевидцев возражения и раскаяния сына. И вот в зависимости от освещения — туман или солнце за окном, утро или вечер, — от места, с которого я выжидала их, меня и ожидала открытая. Я видела новых женщин, мужчин, стариков, порой убеждала себя, что передо мной лица, ответы, ожившие, восторженными, сам себе перлы себе, ибо минуту назад этот кусок полотна был наглухо темен — ночное, беззвездное, тяжелое небо; — но и у колеблющем свете настолько истинно жила о человеческое лицо, что сомнения исчезали.

Однажды утром я пришла перед этой картиной Елизаветы Егварфовой (тот день запомнилась мне навсегда, потому что вечером была я у нее дома — в маленькой комнате с узким, унылым окном...). В зале тогда было пустынно и тихо, меня она не видела; вероятно, отпешенность минуты и побудила ее утолить любопытство. Поначалу она стояла неподвижно, как изваяние, потом отклонилась, покачала головой, переступила ботом с ноги на ногу. Она, подобно мне, топталась перед картиной: очевидно, хотела понять, что я вижу в ней, вижу.

Я вышел из укрытия, лишь когда она вернулась к себе в угол с лицом сосредоточенным и думающим. Мне не терпелось, конечно, узнать, что она поймала в ускользающих ответах полотна, но показалось, что заговаривать с ней сейчас об этом нескромно, ведь она полагала, что ее никто не видит, и потом, быть может, то, что она открыла, имеет отношение не к возвращению библейского сына, а к собственной ее судьбе, как имеют к ней какое-то таинственное — я убеждался в этом больше и больше — отношение мужчины и женщины на рембрандовских портретах.

Поэтому заговорила я о том, что завтра вот — больше откладывать нельзя! — уезжаю, и, вероятно, надолго, а даже репродукций хороших с картин Рембрандта достать не удалось.

— Ой! — воскликнула она. — У меня же их полно! От Бориса Михайловича осталась. Что же вы раньше-

то молчали? Да и я не воображала... У меня даже, — познала голос, будто соображая гайну, — в одном старом большом томе полная опись рембрандовского имущества. Там и про картины и про стулья с черной кожей... Завтра я выхожу. Да что в самом деле! Ведь живу-то я неподалеку, в Басковом переулке...

Вечером я и пошел к ней в старинный Басков переулок. Было сыро и холодно по-мартовски, падал мокрый снег, дома казались исполняскими, черными, нависали. Я углубился в сумрачные, старопетербургский двор, по обшарпанной асфальте поднялся на четвертый этаж и не успел позвонить, как Елизавета Егварфова отворила мне, точно нетерпеливо ждала, высматривала в комнате у окна, а потом стояла в коридоре, лоя шаг... Она быстро-быстро, суетясь, повела меня в темноте за руку, но я успел услышать рассерженный женский голос: «Нажрался дешевого вина, бестыжий? Потом откуда-то, видно, из кухни, донесся гул разгневанных и мужских и женских голосов. Мы вошли в маленькую комнату с узким, унылым окном; я увидела широкий старомодный книжный шкаф, репродукцию тициановской «Каюшей Магдалины» на стене, старенькую кушетку и стол, накрытый к ужину.

— Шумят! — устало махнула рукой Елизавета Егварфова на сторону кухни. — Воюют... Раньше, когда один мы тут жили, шуму было — ветер за окном или дождь за окном. Борис Михайлович даже музыку дома не держал. В филармонию с Еленой Викторовной ходили... Ничего, — улыбка была несвесело, — поживут, пообыкнут, утихнут. Я вам сейчас хорошее покажу. — Она подошла к шкафу, достала старый том и, усадив меня за стол, раскрыла его на любимом месте.

— Вы посмотрите: «медный котел»... «шкаф для детского белья»... «два подушки»... «два одеяла»... Она радовалась, как ребенок; чувствовалось, что этот будничней домашний Рембрандт особенно полюбил ей и дорог: «Грека!» — восклицала она — Грека! Небось, при кампее-то изм мери. Это тебе не пень... Вот! «Синий пол»... — По ее алкующему лицу я догадывалась, что дарит она мне не мертвую «копью имущества», а живое и подлинное, дарит вещи Рембрандта, их касались руки, создавшие и «Данало», и «Пожилого мужчину», и исполское сумрачное полотно, перед которым она сегодня утром, любознательная, невольно подражала мне. — Да что и в самом деле! — опомнилась она. — Читаю вам как неграмотному. Вы берите, не бойтесь, я не обидею. Я это в памяти теперь держу... Вечера долгие, антастеп, антастеп... После Бориса Михайловича осталась горы. Полювину уж раздразнила.

— Он художником был? — осторожно коснулся я ее жизни вне стен Эрмитажа.

— Борис Михайлович? Да вы садитесь, пожалуйста, удобнее. Он учителем был рисунка. В Академии художеств. Но и писал с натуры летом, для души. Сыру возмите, печеночного пахтета. Они с Еленой Викторовной, женой, жила у меня в доме четыре лета. Нашу деревню художники любят. Березы, луга... И Борис Михайлович любил. В молодости, рассказывала Елена Викторовна, большие надежды подавала, да руки поморозила в Сибири. А с мороженными руками... Я их ему потом, зимой, гусиным жиром натирала. А он шутит, веселится: «Ну, теперь, Лиза, сам Рембрандт мне не брат!» У него это выходило складно, как частушка: «Сам Ре-брат мне не брат». Поначалу я и не понимала, что это за дикинича: Ре-брат. А на слух хорошо... Я и сейчас про себя больше его, по Борису Михайловичу, Ре-братом называю. А в зале уж твержу по-писанному: Рембрандт. Ну вот, жила она у меня четыре лета, усаждала, усаждала ехать сюда с ними павечко. Ты, говорила Елена Викторовна, не домработницей будешь — царицей в доме. Вот и

осталась царствовать. Вы пейте, пожалуйста. И я губы осежу. Это у нас бабы говорили в деревне — освещать губы, то есть выпить чуть дагы игры сердца.

— Что я хотела у вас узвать? — улыбулась она через минуту. — Почему не успеешь полюбить человека, он уходит? Не любишь — живет и живет. А полюбишь — уходит. На время или навсегда. Переживая воями: осталась бы у себя в деревне одна вековать, может, и Борис Михайлович с Еленой Викторовной были бы живы. Иногда даже думаю: не полюби я — войны бы не было...

Она раскраснелась, помолодела от водки, и я подумал, что, возможно, ей чуть за пятьдесят, не больше.

— Ну вот, — рассказывала дальше, помервев лицом. — Раз ночью постучала ко мне Вероника, местная, нашла из селы. Лиз, говори, твой в Озерах стоит с частью, бежи. Мне и надо было в ту же минуту... А я не хотела пустая, думаю, затосковала, чай, я солдатских сухарей, картошки напекла. Мешок... Вышла, темным-темно, осень. А не рано уже было, утро, часа четыре, не меньше. Озера — это местность от нас верстах в пятнадцать, удивительная, серебриная от мелкой воды. С мешком не шибко побежишь. Выход, состав стоит открытый, с большими пушками в чехлах. Семафору ему пути не дает. У пушки по солдату. Ну, засеменила я, засеменила от пушки к пушке. Нашла человека постарше, солидного, бывалого. Поклонилась ему. Посадила... Поехала... А я удаче боюсь поверить. Мешок обила, чуть не реву. Дорога-то железная та самые Озера режет. Конечно, состав ради меня не остановится, ничего, думаю, изловчусь, картошка не расшибется, а я и не из золота. А тут семафор опять пути нам не дал, и пошел от паровоза командант ихний, молодой, толковый, увидел меня: «Мешочница? Вон!» «Пожалея бабу», — заступилась было пожалой. «Это тебе телега», — закричал на него, — или воинский зпелюх? Ну, опешила, погубила хорошего человека. Съехала с Мешком наземь и побегала... Верст десять с лихой оставалось, недолго поблаженствовала у пушки. Бежи, твержу себе, бежи, до солда успевь, во тьме, тешу себя, не улаут. Солнце уж в Озерах пошло, когда догадалась. Выхожу, ребята в шинлах на ворохах листьев лежат. Я к ним: «Антоня Инвена не выдала?» «Нас тут пока», — отвечают, — ищи». Рзаа ты обжеала Озера, тогда не допыталась: ушла с рассветом. Села я рядом с мешком, подошла ко мне один, наклонился. «Не убивайся», — говорит, — мать, ведь не мертвый — живой!» Ну, думаю, умяла меня noch, если из девок в матери записла. Может, и к лучшему, что мой не увидел меня старой. А этот утешает весело, нежно: «Ты радуйся, мать, ты айкуй, пока живой!» Раздала я солдатиком печеную картошку и матерью истинно себя почувствовала, повеселела даже. А этот утешивает, не устает: «Ты радуйся, ты айкуй!» — Она перевела дыхание. — Похоронную получили через месяц. После этого, — усмехнулась, — лет пять с лихой не могла видеть картошки. Из-за тебя, думаю, последней радости в жизни лишилась. — Помолчала, посуровела. — Ничего, невеста не жена. Бабы терпели больше.

Шумел тяжело ветер; чернел в размытых пятнах окон старопетербургский двор.

Когда я посмотрел на нее опять, она улыбулась: «Пирожок с орехами после водочки любите? Почесываю с вами досыта, — тихо, — ласково раскраснелась, постарела. — И будет сам Ре-брат вам не брат...

За чаем с чудесным пирогом (и когда успела испечь) она рассказала мне о том, что Борис Михайлович умер вслед за Еленой-то Викторовной. Добрые люди устроили ее в Эрмитаж. Поначала она сидела в пятом веке, там, где Сократ»; к Рембрандту,

в один из самых теплых залов, перевели ее из-за ревматизма и сердечной болезни. Говорила она и о том, что сейчас «сторожит пятый век» женщина даже больнее ее, а там холода, как на улице, и ей, Елизавете Евграфовне, совестно, — может быть, она поменяется с нею, потому что чувствует себя гораздо лучше. «Отгорелась тут, отошла...»

Когда я уходила, мы вышли в переднюю, меня опять поразила ее суровая сорбность, не сочетающаяся с утомленным лицом, по-домашнему добрым, в бабушкиных морщинах. «А может, дождетесь «Пожилых человека»? — виновато улыбулась она. — Задержали они его что-то, мудруют...

Я шел по Басковому переулку и думал о том, как сокровенно, бесстрашно и юно она, казавшаяся мне старухой, назвала сейчас себя невестой...

По возвращении в Москву я не написал повести о Рембрандте и, видимо, поэтому испытывал ту «жажду траты», которая хорошо известна любому писателю, собиравшемуся создать что-то большое и не осуществившему первоначального замысла. Рембрандт жил во мне, жил перестраченный. Утолить ее не могли и философские раздумья о тайнах его работы. И, наверно, поэтому угадывалась тоска по живому общению с ним: я хотел моего Рембрандта. Когда-то я хотел моего Андерсена, моего Стендаля, — опыт подсказывал мне, что важно задать в самом начале один бесстрашный, даже ранивший вопрос и, если тебе не было ответа, то ощутишь боль и радость рождения — живого человека, живого понимания между ним и тобой.

Существовало более ста автопортретов Рембрандта; по мере течения лет беднее становилась его одежда, сумрачнее колорит и царственный осяз, как и выражение лица. В самом последнем автопортрете, где образ кажется чуть размытым, точно погруженным в воду (реку забвения...), неважно узнать того, кто тридцать лет назад сидел с лихо поднятым бокалом вина и с Саскией на коленях. Видимо, последний этот портрет лежал уже непослушные пальцы, а порой кажется, что он вообще перукотверен, что вещество, с которым руки Рембрандта имели дело долгие десятилетия, теперь, когда они ослабли, решило — как в фантастической истории Андерсена — послужить ему само.

Я долго не решался задать э тому и Рембрандту мой вопрос, легче, милосерднее было бы обратиться с ним к одному из более ранних, царственных Рембрандтов. Но, может быть, те и не удостоили бы меня ответом. И я с болью в сердце, подлинной физической болью, однажды осмелелся. Это был четкий вопрос о том, почему ни одна из безмерных утрат не отняла у него — ни на час! — ни вдохновения, ни мастерства? И даже, казалось, услаивалось и мастерство и вдохновение. Умирает божественная Саския, идет с молотка дом, наполненный сокровищами, от картин Рафаэля до морских диких, навсегда уходит успех, известность, богатство, умирает любимая подруга Хендрике Стоффельс, уходит, не появив его, или умирают собратья по кисти, умирает и Титус, единственный сын, а он пишет, пишет, ни на день, ни на час, ни на минуту не оставляя работу, и можно было бы решить, что нет у него сердца, если бы не разрывающая сердце человечность новых поколений.

И, разумеется, понимая, что утраты и удары судьбы не могут не углубить художника, а работа, любая, утишает боль. Но ведь тут не ула, не утра, не несчастье, а потрясение основы жизни, катастрофа, атомное опустошение. Можно сочинять музыку или писать картину под артиллерийским обстрелом, но не в Хиромисе же, когда повисла над городом убийственная молния. Молния термоядерной катастрофы повисла над судьбой Рембрандта, испепеляла саму жизнь, а он при ней, при молнии, с непрезвзойденным

мастерством работор. Рембрандта можно поставить рядом с библейским Иовом и шекспировским Лиром,—как и они, он в безумном мире незаслуженных бедствий и невосполнимых утрат обретает мудрость. Но и Иов и Лир — фигуры легендарные, а Рембрандт совершенно реален. И обретает он мудрость не в скорбных сердцах и не в размышлениях, а в работе. Испытывая удары, которые, если мыслить их физически, не вынес бы ни дерево, ни камень, ни железо, он писал, писал, не останавливая работы ни на минуту. Ему удалялись, обивали в бессердечии, а он пальцами, ногтями, черенком кисти лепил на холсте детей, деревья, женщин, холмы, стариков... жизни! Он делал самое «нечтожное» возвышенным, в самом «обыкновенном» открывал тайну. И судьба, перед которой отступали и герои античных мифов, была бессильна заставить его опустить кисть.

Я хотел, чтобы последний, «размытый» будто бы написанный не Рембрандтом Рембрандта открыл мне тайну этого мужества.

И он ответил: никто не умирает, ничего не уходило, не было утрат, была бесконечная щедрость мира. Это была жестокий ответ. Но, может быть, иной и невозможен на жестокий вопрос? И не ответил ли я себе сам, раньше «размытого» Рембрандта, когда писал сейчас, что он лепил пальцами, ногтями, черенком кисти жизни? Он, осязавший непрекращающееся бытие, бессмертье, разве мог не ответить: никто не умирает?

Никто! А Саския, ее пухлые детские губы, ее бездумная полуулыбка, ее руки, чистые сонные? Единственная Саския. Разве для любви достаточно бессмертия на полотно? Что стоит вечность, когда засыпают землей любимое лицо!

— А ты видел мое лицо, когда умерла Саския? — ответил он вопросом на вопрос.

— А как я мог его увидеть, разве вы написали себя в ту минуту?

— Да. Написал.

— Тогда я найду и увижу это лицо.

Не увидишь, — ответила мне «размытый» Рембрандт, ведая мою мысль к тому, о чем она догадывалась и раньше, к разрыве одного старого моего сомнения.

Меня давно занимала загадка одной рембрандтовской картины, ее название действительно, как и рассказывала мне Елизавета Евграфовна, менялось: раньше была она «Давидом и Авессаломом», а теперь стала «Давидом и Ионафаном». Но меня волновало, разумеется, не то или иное сочетание библейских имен, а сама человеческая суть полотна и редкость для Рембрандта особенность композиции. Мужчина в восточной одежде, с лицом скорбным и замкнутым (мы узнаем в нем самого Рембрандта) обнимает второго, судя по телесному облику, более юного, переживающего бурно то, что и вызвало их объятие: разлуку, утрату, катастрофу. Позади мы видим фантастические очертания башни, наводившие на мысль о жестоко разбомбленном с воздуха городе, видим вечную Хирсину. Мужчина, похожий на Рембрандта, стоит к нам лицом — это одно из лучших, самых мужественных и горьких его автопортретов; лицо же второго, бурно переживающего горе (или загнущившего после рыданий?), не видно, оно скрыто в тяжелых складках восточной одежды человека, который его бездумно, отечески бережным касанием рук утешает. А может памяти это единственная из рембрандтовских картин, человек на которой показан так, что лица его мы не видим. Обыкновенно художник показывает нам лицо человека даже тогда, когда по условиям сюжета, казалось бы, можно этого и не делать. Вот сын, вернувшись домой после долгой разлуки, падает перед отцом на колени, виновато зарывшись в

его ветхую одежду. Мы видим лицо и руки отца, видим и лица очевидцев возвращения, но видим мы и лицо сына, хотя, коленипреколенные, стоит он к нам спиной, обжавши истерые ступни ног, в мы не увидим бы, наверное, лица его, если бы в действительной жизни наблюдали событие оттуда, откуда наблюдаем его в музее, перед картиной. А сейчас видим: кисть художника чуть повернула и наклонила голову сына — Рембрандт не мог оставить человека без лица!

Почему же в «Давиде и Ионафане» он пожертвовал лицом того, кто рыдает или злится после рыданий в объятиях Рембрандта? Почему в этом полотне великий живописец отступил от закона, которому был верен в сотнях остальных?

Картина написана была в роковой для Рембрандта 1642 году, когда умерла Саския. Это объясняет скорбное и замкнутое, мужественно-потрясенное лицо Рембрандта и трагический фон полотна. Но не объясняло мне долго загадки спрятанного от нас лица второго героя...

И вот я понял: если мы заставим чудом его подвять и повернуть к нам голову, то увидим тоже... Лицо Рембрандта! Его в то же время на этой картине лицо, но открыто потрясенное, открыто заплаканное. Суть картины в целомудренной гордости сердца и в торжестве над судьбой. Никто в мире не увидел зажатого лица Рембрандта — он скрыл его в складках одежды Рембрандта мужественного, умудренного горем. Но эта фигура без лица — все же один из самых потрясающих автопортретов художника.

Теперь я мог ответить на тот вопрос: видел ли я его лицо, когда умерла Саския? Видел. Между нами установились отношения открытые и ровные, хотя в общении с ним меня ни на минуту не оставляло чувство волнения и нежности. Долгие часы мы беседовали о человеке, он рассказывал мне вещи бесконечно важные, сыгравшие огромную роль в моем понимании мира. Он помог мне лучше познать окружающих меня людей, а эти люди помогли мне познать еще полнее его полотна: он говорил о нераскрытости, о невоплощенности — в стихх, музыку, любовь, добрые дела — большинства его современников, о том, что человек в глубине несравненно богаче, чем на поверхности. По мере развития человечества это различие будет делаться все менее трагическим и надо, чтобы оно осознавалось с каждым неким полнее. Он рассказывал мне о женщинах, которые умерли, не полюбив, ни полюбив, не изведая полноты бытия, о поэтах, не написавших ни одной строки, и даже о художниках, не оставивших ни единой картины. Он рассказывал о тех, кто не создал и сотой доли того, что мог, о тех, кто не совершил того, ради чего родился. Он помогал мне почувствовать самое существенное в человеке, восприняла с особой остротой его нераскрытость. И я лучше понимал золотой сумрак его картин, их печаль. Он рассказывал мне о сожженных рукописях и погибших полотнах, о разбитых сердцах и обворванных судьбах.

«Не отвечала я Вам, — писала мне Елизавета Евграфовна осенью, — потому что доктора положили наложить в больницу. В деревне жила, не болела, босиком по морозу бегала, и лихманки не лгали, а в городе у вас рассохлась. Я тут в палате рассказываю, как у нас в деревне лечились: поедет самый беспокойный в лечебницу, вернется с коромом порошков, ний и пьет, а кто от головы, так и поносит, что от него. А децям это даже в утху было. Помню, один у меня заболел, а четверо остальных тула же лнут, к микстуре. На сахаре ее делал, видно, она им и была, как лакомство. Катенька, меньшая наша, она померла потом от ужасной кожной болезни, вышла

раз целую бутылку от каша, помню, захожу, а она лежит, губы облизывает.

И Вам не рассказана тогда за водкой и чаем, что после сестры моей старшей, покойницы, пятеро осталось, я и растила их, немому было больше, мужик ее с войны не вернулся. Вымахали четверо, разлетелись, пишут теперь иногда. Андрей пишет. Девкам-то, ясное дело, не до меня, собственные дети пошли. А Андрей пишет по земле, пишет редко, но весело. Я одно его письмо открыло тут в палате читала, так доктор забегал, шумновато, моа, для лечебницы.

Это сейчас я веселюсь, вытаскивал меня из беды, обласкал, вот и сама людей утешаю, а первоначально боялась до ужаса.

Перед операцией сон увидала, будто наклонилась я, а сердце у меня и выпало. Я подняла его с земли, а оно ветхо-ветхое. Я и заплакала над ним, как, думаю, с этимким дальше жить буду? А утром на столе ободрались, посмотрела вокруг, вижу, стоят они в белых халатах, молодые, красивые, неужем, думаю, одну стрелку дуру не спасут? Помахали на меня, и начала я засыпать, но не заснула и убоюсь, что начнут они до полного сна. Говорю: «А ведь я-то не уснула, нет», — а они рассмеялись весело. Потом укололи меня возле плеча, и я начала засыпать по-настоящему и чувствую, наклонился ко мне кто-то, я не удержалась и последним усилием посмотрела на него, на их самого видного доктора, и до того захотелось мне сказать ему что-то доброе, хорошее. А вышло по-дурацки, лицо у вас, лицо, говорю, у вас такое... И заснула, как мертвая. А теперь уже недолго осталось ждать. Выпишутся, и будет сам Ре-брат мне не брат. Стыдно, конечно, думать об этом, а хочется жить и в зал хочется, к ним...»

Часто с волнением перечитывал я, раскрывая подаренный мне Елизаветой Евграфовной том, инвентарь картин, мебели и домашней утвари Рембрандта — один из весьма немногих дошедших до нас документов, в которых запечатлен и облик эпохи и духовный мир мастера, — инвентарь, составленный чиновником после банкротства Рембрандта и сохранившийся в архиве Амстердамской ратуши. Потом это пошло с молотка за бесценок на аукционе: и картины, и мебель, и домашняя утварь...

Самые ранние строки «инвентаря» относятся к сыну Рембрандта, маленькому Титусу. «298. Три собаки с натурой, Титус ван Рейна. 299. Раскрашенная книга, его же...»

Но одному из исследователей жизни великого художника не удалось обнаружить работ его сына. Остался гениальный рембрандовский портрет рисующего Титуса, самих рисунков нет.

Титус родился в том же доме на Брестрат. После этого умерла Саския. До Титуса она рожала три раза — мальчика и девочек. Они умирали. Мы судим обыкновенно о семейной жизни молодого Рембрандта по широко известному «Автопортрету с Саскией на коленях», где горят ткани и играет вино, по портрету Саскии в образе божественной Флоры, по «Даная», стараясь не замечать в поздних портретах Саскии и автопортретах самого Рембрандта тех тем теней печали. И это естественно, нам хочется, чтобы в недолгую пору жизненного успеха Рембрандта он был беспечен и весел. Но в той, казалось бы, безоблачной жизни, был три маленьких мертвых тела. Три — маленькие И! — раны в сердце. Три несбытанных надежды. И об этом повествуют не портреты Саскии и не автопортреты, а две картины, одна из которых — «Ночной дозор», — казалось бы, не имеет ни малейшего отношения к тому, о чем мы сейчас говорим. Сюжет этого полотна широко известен: рота стрелков капитана Банинга Кока выступает в поход, кто бьет в барабан, кто заряжает мушкет, кто поднимает флаг:

картина насыщена атмосферой воинственной, немного театральной радости людей, чей порох начал уже было отсыревать. Это одно из самых телесно обаятельных рембрандовских полотен, что объяснялось с чудесной ясностью после недавней его реставрации. Долгие десятилетия оно висело в зале Амстердамской стрелковой галереи, где толпили камини сырым горфом, и потемнело от гды, дав тем самым повод и для глумительного названия — «Ночной дозор» и для серии загадок. Но живо под копотью и подешивши наслоившимися реставраторы обнаружили совершенно новую рембрандовских красок. Но остались старые название и одна загадка: девочка в толпе вооруженных людей. Что делает она тут, даже в полдень, почему занимает особое место в картине? Это — самое яркое, напряженное по силе излучения пятно: ряд исследователей и понимал ее (до реставрации) как птено-уа, разнообразия сумрачных колорит. Рембрандт девочкой, уверяя они, озарил ночь. И вот ночи уже нет, а девочка осталась. И с ней остались еще бошая загадка. Почему изобразил ее художник посреди этих людей, не в идящих ее? Большинство персонажей картины чем-то заслонены, что и вызвало некоторую досаду у портретируемых живых стрелков; люди идут тесно, толкаясь, тело к телу. Девочка же настежь открыта, и если бы это был не выход нарядившихся в военное обмундирование, а подлинное выступление воинов в минуту подлинной опасности, то она была бы весьма удобной мишенью. Ее незащищенность в пахнувшей порохом (пусть театральным) картине поразительна. Девочка вызывает у меня не ощущение загадки, а чувство острой тревоги за нее, за мир, в котором ударить в барабан, оказывается, важнее, чем заслонить, защитить ребенка. Думаю, что картина была решительно отвергнута амстердамским бюргерством, ранее баловавшим художника, не только по чисто формальным мотивам (что-то не походило, что-то занимает непонятное место), а потому, что Рембрандт с гениальной интуицией великого мастера запечатлел бесчеловечность мира, в котором буржуа хотел бы чувствовать себя навечно уверенно, радостно и уютно. Это, разумеется, не лежит на поверхности картины, как лежал колорит ночи; самая искусная реставрация не обнаружит тех мыслей и чувств художника, которые он и сам, вероятно, не сумел бы высказать логически строино. Но существует особая, потаенная логика образа в искусстве — мажма в живописи, — несущая в себе истину о мире... Этой логике Рембрандт был верен постоянно.

Для меня его полотно на редкость современно. Я вижу в этой, настежь открытой девочке Анну Франк, девочек Освенцима, Хиросимы. Мне хочется, чтобы один хотя бы персонаж «Ночного дозора» заслонил ее собственным телом, но они чересчур заняты собой: одеждой, оружием, осанкой, выражением наиболее воинственной.

Но я вижу в этой девочке не только Анну Франк. В ней я вижу — уже не мысленно — черты Саскии. Они похожи удивительно — Саския и эта девочка, — как могут быть похожи мать и дочь. Рембрандт и написал дочь, которой у него не было...

Когда Саския в четвертый раз ожидала ребенка, Рембрандт начал писать картину «Жертвоприношение Маяоя». В широкоизвестном библейском сюжете он увидел, узнал то, что разрывало его сердце печально и надеждой. Ангел, явившись к старому Маяю, сообщает ему, что будет у него ребенок, сын.

На картине «Жертвоприношение Маяоя» — три фигуры: старого Маяоя, его жены и ангела с нежным лицом мальчика — мы видим это юное, озаренное лицо, хотя ангел и улетает от нас, а с кося, головой к небу. (Рембрандт и тут остался верен себе.) Это, вероятно, одно из самых личных полотен мастера, что не ме-

шает ему, разумеется, быть в мировом искусстве и одним из самых общечеловеческих. На земле и на любом из небесных тел человек будет желать чуда, верить и не верить в него, не успокаиваясь, пока чудо не станет реальностью.

Титус не умер, умерла Саския.

Рембрандт часто рисовал сына, в этих портретах живет ощущение совершившегося чуда. Но я не особенно верю, что Титус в жизни был похож на Титуса рисунков и полотен, хотя бы в той степени, как были похожи в действительности и в живописи Рембрандта остальные люди, которых он рисовал, забываясь больше не о портретной точности изображения, а о передаче духовной сути человека. Думаю, что Титус был похож на себя даже меньше, чем они — Саския, Хендрикке Стоффельс, потому что на любом из портретов он поразительно напоминает лицом, обликом, телесным сиянием ангела в картине «Жертвоприношение Маноя», написанной до его рождения. Это кажется фантастическим: Рембрандт написал Титуса раньше, чем его увидел. Но фантастика, как и обычно у этого гениального художника, оборачивается реальностью человеческого духа, если попытаться понять ее суть. С самого начала, до рождения, с первых минут надежды, Титус был для Рембрандта чудом и оставался чудом, пока художник, сам в возрасте Маноя, не увидел его, двадцатисемилетнего, тоже ожидавшего ребенка, собственного Титуса, мертвым.

Рембрандт писал чудо в образе мальчика, юноши. Портреты Титуса, наверное, самые лучезарные из его работ, они рождены веселой кистью, вылеплены из улыбающихся, сияющих мазков. Они повествуют о телесной драгоценности человека. И если испытываешь перед ними печаль, то потому, что ощущаешь и ее непрочность, веделовечность.

«298. Три собачки с натуры, Титуса ван Рейва. 299. Раскрашенная книга, его же. 300. Голова Марии, его же».

«309. Старый суддук. 310. Четыре стула с сиденьями черной кожи. 311. Сосновый стол».

«338. Две небольших картины Рембрандта...»  
Что стало с двумя небольшими — без названия — картинами Рембрандта, с тремя собачками, написанными с натуры его сыном?

«363. Несколько воротников и манжет».

«С новым годом,— писала мне в январе Елизавета Егграфовна,— я уже на работе, мне хорошо, и Вам от души желаю хорошего.

Вошла я в зал, голова закружилась, села, отошла и побрекла, в коленях дурнота, а сердцу тепло, пахло ковалася в больничном покое.

К «Пожилому» подошла, посмотрела, и лицо то же, и руки, будто вчера гусиным жиром их натирала. Урию пожалела, стариков, и к «Возвращению» потянуло. Потопталась я перед ним, потопталась, это у Вас научилась, поездишь малость по паркету и увидишь во тьме, там, о чем и не мечтаюсь никогда. И я сейчас Антоном увидела. Ни разу не видела его в зале, а тут выступил он, посмотрел на меня, но молодой, а старый, будто не убил его, а жил, обветшал, как и я, «ничего», говорит, Лиза, ничего». Дернула я головой, а он и ускользнул, а потом вернулся опять. И что это за диво в темном большом полотне, что посмотрел, потопчешься, и лица выступают? А потом на стуле у себя я подумала, вот не Вы бы, с Вашим топтанием, не пришла бы я его ни за что, а он ждал, видно, «ничего», говорит, Лиза, ничего, вот и я», старый ужасно, старше даже меня. И темный, темный, печальный.

Потом, конечно, пабежал народ, экскурсанты, а к вечеру, когда публики поменьшало, подошла я к Вашей любви, к «Давиду и Ионафану». Вы меня извините, пожалуйста, но пожалела я Вас, когда читала в том Вашем письме, будто второй человек на картине тоже, наверное, Рембрандт, только зареванный, с мокрым, несчастным лицом и, быть может, осталось это лицо на полотне, хотя и не видим мы его сейчас, потому что замазала Рембрандт его потом от гордости сердца, натура кистью голову, чтобы не видеть себя. Когда я читала Ваше то письмо, не пойму отчего, не о Рембрандте, а о Вас самих болело сердце. Сейчас подошла к «Давиду и Ионафану» и решила, пойду к одному больному у нас человеку, попрошу просветить полотно, как «Даная» однажды просветили, может, и найдут в подлинности Вашего зареванного Рембрандта, я бы Вам послала рентгенограмму, вот и было бы Вам легче, чем одному.

Мне сейчас хорошо, как никогда в жизни не было. Вечером ужо, а на сердце радость, завтра вернусь сюда и послезавтра. Может, это и худо, но и с той женщиной, больной, из пятого века, меняться раздумала. Разве что сильно заморозит, и она раскисается. Иначе, не судите строго, не поменяюсь. Не могу я без него жить.

А письма Ваши ко мне, если что, лежат в шкафу, где книги. «Ночной дозор» я нашла, хороший, большой, девочка на нем, как солнце, я даже зажмурилась от боли, а «Маноя» не оказалась у Бориса Михайловича, да я найду его, не беспокоиться, погляжу на ангела, я с детства, как в церковь ходит перестали, ангелов не видела, забыла уже про них, а захотелось теперь увидеть...»

И я не могу жить без Рембрандта и в тот памятный весенний день поехал к нему с вокзала, поднялся по белой парадной лестнице, потом быстро шел через анфиладу комнат с бесценными гобеленами, через залы, где висят Рафаэль, Тициан, Ван Дейк, и с оставшимися сердцем, уже ослепленный золотом «Даны», переступил порог.

Потом повернулся, чтобы поздороваться с Елизаветой Егграфовной, и увидел на ее стуле незнакомую толстую. Я подошел к ней, осведомился:

— Елизавета Егграфовна выходящая? Или опять, — показал рукой на пол, — в пятом веке?..

И услышал:

— Померла. Зимой.

Я стояла у ее полотна, стояла, ничего не видя, забыв вообще о Рембрандте, точно ожидала, что она вернется ко мне, как к ней самой в этом зале возвращалась те, кого она любила.



А. ДУБинский

## КЛАССИКИ И ДЕБЮТАНТЫ

**В** последнее время у любителей музыки и у музыкантов заметно возрос интерес к органам концертам. Можно смело сказать, что такой популярность орган не пользовался со времен Баха! Известно, что при жизни Баха еще не было изобретено удивительное, всемогущее фортепиано. Существовала лишь его прототип — клавишин: инструмент несложного и негибкого «металлического» звука. Играли на клавишине в основном в малых помещениях — в больших его почти не было слышно. Впрочем, Бах, бывший и великодушным клавишником, добивался на нем, по словам современников, эффектов почти невозможных. В своем клавирном творчестве Бах предвосхитил появление фортепиано. Кстати, в клавишном его музыке есть места, которые только на рояле и можно исполнить так, как требовал того автор. Мне лично кажутся спорными нынешние попытки исполнять Баха на клавишине: музыканты, делающие это, идут не к баховскому стилю, как им представляется, а назад от Баха, к музейному исполнению. Надо же идти вперед, к Баху. Вперед, потому что Баху было тесно в рамках клавишны. Именно потому и обращались «старые» классики (Букстегуде, Корелли, Гендель и величайший полководитель Иоганн Себастьян Бах) в своих монументальных произведениях к органу — мощному, богатому колористическими возможностями инструменту. Инструменту, способному в известной мере спорить с большим симфоническим оркестром.

С появлением фортепиано орган отошел на второй план. Причиной особого тяготения композиторов «посебаховского» периода к фортепианной и симфонической музыке было то, что орган до начала нашего столетия был строго ограничен рамками церкви, и писать так называемую «светскую» музыку для органа считалось недопустимым.

Чем же объяснить возрождение органа и повышенный интерес к нему сейчас?

Думается, первопричина — в серьезном, глубинном увлечении исполнителей «старыми» мастерами и в особенности Бахом. Аксиома: нельзя постигнуть масштаба Баха, не зная его органной музыки, а углубляясь в органную музыку Баха, неожиданно ощущаешь его предельную современность, многообразие и совершенство, гармонию мысли и чувства в музыке для органа, и отсюда — бесспорное право органа на активную жизнь в качестве сольного инструмента.

Редко бывает так, чтобы увлечение творца каким-нибудь явлением в искусстве не находило отклика у публики. Пусть не сразу, но это придет. Конечно, мы говорим о публике, имея в виду ценителей подлинного искусства (не снобов), так же, как подтверждаем мы мыслям спекулянтов от искусства, идущих на поводу у моды. Так и сегодня: энтузиазм исполнителей захватил и слушателей. На концертах известных органистов яблоку негде упасть. К органу тянется как к искусственной, так и самая широкая публика. И среди нее — масса молодежи.

Невиданно умножились ряды концертирующих органистов. Все чаще и чаще появляются имена молодых исполнителей на афишах, возвещающих об органических концертах. Среди молодежи уже завоевала себе прочную и заслуженную популярность Евгения Лисцины, Рольф Усваял, Леопольд Дигрис, Олег Янченко, Анастасия Брауде, Борис Романов. Среди них особое место у О. Янченко: он не только исполнитель, но много и успешно пишет для органа-соло и органа с оркестром. Интересно отметить, что, помимо класса органа и композиции (Янченко учился в Московской консерватории у Леонида Ройзмана по классу органа и у Юрия Шапорина по композиции), он занимался и в классе специального фортепиано у Гезриуса Нейгауза. И хотя Янченко — молодой белорусский органист и композитор — не стал концертирующим пианистом, но в его музыке и в органном исполнительстве чувствуется школа пианиста и педагога.

Но коли речь зашла о современных композиторах-органистах, следует отметить, что со времени жизни Баха создание музыки для органа не знало такого расцвета, как сейчас. Истинным пионером нового времени в органном сочинительстве стал французский композитор Оливье Мессиа. Сам великодушный органист, Мессиа и по сей день в своем творчестве большое место уделяет органу. Французский композитор открыл новые возможности этого «векнаковского», по словам Тапеева, инструмента, практически доказал, что еще не все его выразительные богатства исчерпаны. Произведения Мессиа — доказательство того, что на органе прекрасно звучит не только классика, но и новая музыка.

Нередко сейчас на органических концертах звучат грядущая с классикой интересные сочинения Хиндемита, Онеггера, Мессиа, а также молодых советских композиторов Тищенко, Слонимского, Янченко, Михайлова.

Об одном, пока еще почти неизвестном молодом композиторе и исполнителе его произведений, молодом органисте, я и хочу сейчас рассказать.



Нынешней весной на концерте, посвященном памяти одного из основоположников советской органной школы, Александра Федоровича Гедике, в Большом зале Московской консерватории Александр Волков впервые исполнил две песни для органа («Степь» и «Скачки на конях») кемеровца Николая Луганского. И музыка и исполнение произвели на многих, в том числе и на меня, сильное впечатление.

Александр Волкову 25 лет, он родился в Москве, занимался в училище при Московской консерватории в классе специального фортепиано профессора А. И. Ровизмана. Затем продолжил занятия в консерватории, но по двум специальностям: фортепиано и орган. Три года назад он получил диплом с отличием по обеим специальностям и был направлен преподавателем в Новосибирскую консерваторию, где сначала вел два класса (фортепиальный и органа). Кстати, органный класс им же и создан в молодой сибирской консерватории. Класс этот тотчас переполнился желающими учиться игре на органе.

Кроме педагогической деятельности в Новосибирске, Волков много и усиленно концертирует — в Новосибирске и в других городах: Москве, Киеве, Риге. Но свою концертную деятельность Волков ограничивает теперь только органичными выступлениями. Почему же талантливый пианист, имеющий все основания для того, чтобы «глаголом» фортепианного туше «жесть сердца людей», отказался от рояля?

Вот что говорит он сам:

— Меня всегда тянуло к симфонической музыке, а орган приближается к оркестру. Играя на органе, чувствуешь себя, как дирижер, управляющий превосходным оркестром. Орган — это самый масштабный инструмент. На нем можно добиваться неисчерпаемого разнообразия красок, тембров. И потом, ни на одном другом инструменте нельзя создать такой напряженности в кульминациях. Я стремлюсь непрерывно расширять свой концертный репертуар — этому с каждым годом приходится уделять все больше времени и сил.

Ответ, пожалуй, исчерпывающий: это аргументация музыканта, влюбленного в свой инструмент, отдающего ему все силы и способности, не желающего «распыляться»...

А концертный репертуар Волкова говорит сам за себя: Фрескобальди, Пахельбель, Бах, Букстехуде, Лист, Брамс, Мессиаен, Хиндемит. Как видно из этого перечня, молодой органист обращается практически ко всем стилям органной музыки, с добавовского периода до наших дней. Он играет лишь тех авторов и те произведения, которые близки его музыкальной натуре. Что же побудило Волкова включать в свои концерты песни Николая Луганского? Видимо, они для него не случайны!

— Я хотел исполнить только что написанное новое сочинение для органа, — объясняет Александр Волков. — И при этом познать самотеку с музыкой, написанной сибирским композитором. Показать, что в Сибири — а с ней меня связывают прочие творческие связи — пишут настоящую музыку. А главное — эти песни написаны со знанием органа, его характерных особенностей. Привлекла меня и виртуозная сторона этой музыки, возможность использовать различные регистры и тембры. Заинтересовал контраст между картинностью первой песни и зажигающей внутренней энергией второй.

Да, прав Волков, говоря о картинности (живописности) и зажигающей музыки композитора из Кемерово. И замысел произведения оригинален. Дело в том, что песни «Степь» и «Скачки на конях» объединены с еще одной, третьей, песней в цикл под названием «Калмыцкая сюита». Сочинение это родилось у Луганского под впечатлением поездки в Калмыкию. Там композитор с увлечением изучал местный фольклор, прислушивался к особенностям звучания народных инструментов.

И в «Степи» и в «Скачках на конях» есть блестящие темы, имитирующие калмыцкие мотивы. Однако, кажется, еще больше, чем фольклор, композитора вдохновил необычайный пейзаж Калмыкии.

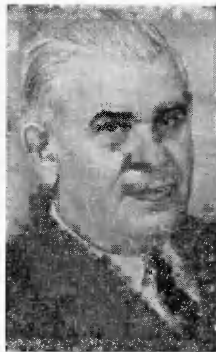
«Степь» — произведение созерцательного характера. Почти вся песня звучит на фоне рокошущего органного баса, который лишь изредка умоляет, чтобы возникнуть вновь. Этот рокот сразу заставляет слушателя погрузиться в сумрачный колорит произведения, в причудливые пейзажи таинственной ночной степи. Есть в этой песне какое-то скрытое родство с французскими композиторами-импрессионистами — с Дебюсси в частности.

«Скачки на конях» — тоже музыкальная картина, но яркая и эффектная. В крайних частях песни «скользящие» акценты и пульсирующий ритм создают впечатление бешеной скачки. Средний эпизод — спокойная, медленная музыка. Здесь будто пьал, подытая конскими копытами, оседает на землю...

...Глубокий, вдумчивый взгляд из-под очков и громадные, «сумные» руки, лежащие на клавиатуре или (когда надо) парящие над ней, — все выдает в Волкове фанатическую любовь и привязанность к музыке, его умение читать в нотах и звуках сердце и разум.

Творческая манера Волкова — широта, вдохновение и культура (не только узкомузыкальная, но и общечеловеческая).

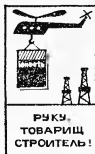
Как и многие музыканты молодого поколения, он не замыкает свои интересы музыкой. Изобразительное искусство, поэзия необходимы ему органически, как музыка. И он знает их прекрасно.



**Д. И. КОРОТЧЕВ,**  
начальник управления  
«Тюменьстройпуть»,  
Герой Социалистического Труда,  
заслуженный строитель РСФСР.

# ВЫСОКАЯ ПРОБА

Фото В. Панова.



Материалы этой подборки подготовлены выездной бригадой «Юность» (см. 2-ю страницу обложки).

**Н**едavno меня спросили, когда я последний раз встречался с молодежью. И я, знаете, задумался. Вспомнить последнюю встречу было мудро потому, что она вполне могла произойти и за пять и за десять минут до заданного вопроса. Дело в том, что из четырнадцати тысяч строителей дороги — половина молодежи. Тут транспортные рабочие, путевцы, плотники, каменщики, отделочники, механизаторы. И инженеры, техники, начальники отделов управления и строительно-монтажных поездов. Молодые в большинстве своем люди. И мне, руководителю такого сложного организма, каковым является трасса, волей-неволей приходится иметь постоянный контакт с этим ершистым племенем. Кого обуздывая за неумеренные фантазии, кого поругивая, а кого (это бывает чаще) выслушивая самым внимательным образом. Собственный опыт показывает, что не мешает иногда поучиться у «безусых» деловому подходу или уменью ярко и целенаправленно мыслить.

Да и невозможно объехать без их помощи и участия нашу строительную площадку. Длинной она в семьсот километров. Объекты — под открытым небом. На одном конце трассы тольпаны в киосках продают, на другом того и жди разразится пурга... Подвижными, оперативными должны быть люди на трассе. Подвижным, творческим и дисциплинированным умом нужно здесь обладать. Иногда от того, насколько скоро ты сможешь принять решение, зависит судьба многокилометрового строительного участка. Зазевался, упустил морозные денечки — все. Жди, когда подуетши или опять подморозит. Не подвезешь за сто верст в гнилую распутицу, скажем, пролетные строения для моста на машине, если даже мощные тракторы буксуют.

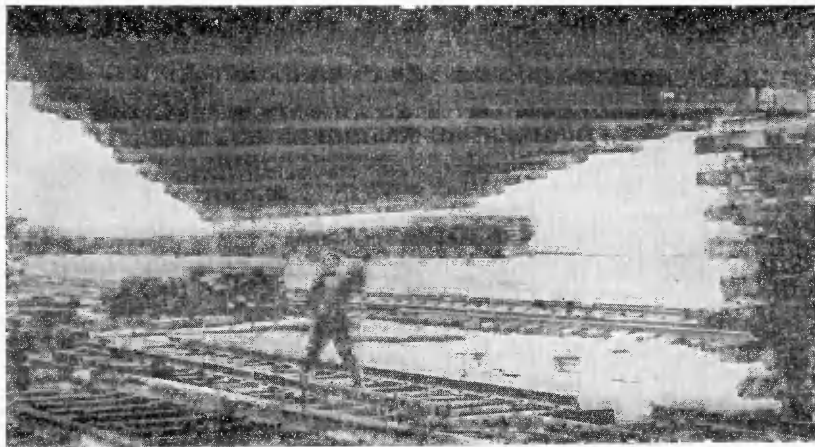
Ну, а каждый ли возьмет на себя смелость прорыть от русла реки до объекта двухсотметровый канал, не предусмотренный никакими планами? И единственно для того, чтобы баржи с материалами подходили прямо к строительной площадке, чтобы не теряться месяцы на дополнительную транспортировку грузов посуху.

Иной об этом и подумать побоятся. Здесь нужно уметь рисковать. А вдруг не увидят «наверху» все выгоды такого шага и снимут с тебя «стружку» за использование людей и техники не по назначению...

А где еще, на каком производстве бывает так, как у нас, в условиях постоянной оторванности от Большой земли, когда мастер или прораб справляет не только свои







**С ФОТОАППАРАТОМ  
ПО СТРОЙКЕ**

Несколько мгновений из сотен пройденных километров и многих трудных месяцев..

Снимок вверху: железная дорога начинает свою жизнь здесь, на звено-сборочной базе. «Куски» дороги монтируют загоды.

Внизу: Оля Вастратова, маляр из бригады депутата Верховного Совета РСФСР Ивана Мариненкова.

прямые инженерные обязанности с восьмью до четырех? Он двадцать четыре часа с людьми. Он и судья и снабженец, и организатор досуга, и посаженный отец, и поверенный в самых наискривейших секретов молодых.

Семисоткилометровый простор трассы — простор для всяческой инициативы и для выявления деловых и моральных качеств у молодежи. Говорю не только о среднем звене руководства — инженерах, мастерах, начальниках поездов. Сколько угодно примеров творческого, умного отношения к делу у наших молодых рабочих.

Совсем недавно была стройка узнала о том, что бригада Виктора Малокина в три раза быстрее положенного по плану построила мост неподалеку от местечка Туртас. Тут замечательно даже не опережение сроков, хотя само по себе и это имеет немалую ценность. Ребята бригады Малокина не специалисты-мостовики — вот в чем дело. Они работают на укладке пути, и работают мастерами... И вот однажды обстоятельства сложились так, что без моста на трехсотом километре не обойтись. Задерживает продолжение ударного кулака строителей на север. А специалисты-мостовики заняты на других участках. Не срывать же их с места, тем более что при наших расстояниях любая перегруппировка сил — занятие, как правило, затяжное. Кто возьмется строить мост? Взглянул малокинская комсомольско-молодежная бригада.

Большую ответственность возложили на свои плечи эти юноши и девушки. Мост — сооружение постоянное, на многие годы, и малейшая ошибка, просчет неизвестно когда и чем может еще обернуться. В самые сжатые сроки бригада изучила теорию. И через полтора месяца мост был готов.

Пожалуй, я уже могу сказать, почему половина наших строителей — молодые. Дорога привлекает молодых не только первопроездским укладом. Главное — возможность развернуться на пустом месте, поэкспериментировать, проявить смекалку, реализовать знания во всей полноте, обрести гражданский, профессиональный опыт, обозначить жизненную перспективу. Иными словами, в вырасти, выполняй при этом серьезнейшую государственную задачу.

И процесс этот постоянный. Ежегодно только по общесоюзному призыву, по комсомольским путевкам к нам приезжают тысяча четыреста человек. Другой вопрос — многие ли здесь, на дороге, оседают, связывая свою судьбу с транспортным строительством. Но это в основном — дело вкуса и расчета дальнейших жизненных планов человека. Не всем же в конце концов быть транспортными строителями! Главное остается:probe сил на полигоне трассы носит сегодня массовый характер. А ведь так было не всегда.

Обо всем об этом я сужу, опираясь и на каждодневные наблюдения и на свой более чем сорокалетний опыт строителя железных дорог.

Свежо в памяти время, когда я начинал.

После окончания техникума — распределение. Куда поехать? Что за вопрос! Конечно, подальше, туда, где потружусь. Всемуером мы едем на Дальний Восток.

Наша семерка — опора строительства. Мы лезем во все щели, во все прорехи, добываясь ритмичности и четкости на стройке. Как сейчас помню: я на объекте носил под мышкой книгу, то и дело заглядывая в нее. Тогда частично приходилось быть (это в одном-то да еще малопомощным) и мастером, и прорабом, и перепроектировщиком. Ты же специалист. Тысяча вопросов на дню, и не ошибись.

Выезз с первой стройки солидную библиотеку технической литературы.

Или другое — это уже когда судьба забросила меня в Южную Россию. Помню: мой учитель Николай Николаевич Соколов, главный инженер строительства, сует мне в руки таблицу подбора состава бетона, требует: «Подбери такой состав для наращивания мостовых опор, чтобы по мосту можно было пустить поезд не на двадцать восьмой день, а на седьмой». Бысь неделю, две. Сжился с бетонщиками. Они уже меня на бригадный кошт поставили. И вот есть искомый рецепт. Добиваемся. Я не оговорился: именно добиваемся, мы. Их знаниями, опытом. Мои знания и, наверное, еще упорство...

Стройка и тогда тянула к себе сноровистых людей. Надо было торопиться. И отсутствие знаний в массе покрывалося природной смекалкой.

Как забыть экскаваторщика Резвана Закировича Ягудина! Он работал на допотопном, еще чуть ли не царских времен, «ковровце». Однажды заявляет: «Два сема тысяч кубов грунта в сутки». У всех глаза на лоб: как так? А он организует двухсменную работу. Составил четкий график подачи вагонов и действительно дал семь тысяч, в буквальном смысле завалив стройку грунтом. Шестист человек едва справлялись на отсыпке земляного полотна.

У рабочего Ягудина я получил первый серьезный урок организации труда.

Иногда думаешь: осталось ли все это живо сегодня? Осталось, живо — умножившись стократ, да еще и проназано знанием, точным инженерным расчетом. Уже не десять специалистов верховодят на стройке, а тысячи. И в наилучшей организации труда выступают не одна смекалка, а главным образом вывод из системного анализа. Иное поколение строителей решает сегодня судьбу дороги.

Я могу назвать и год и то событие, после которого стал качественно меняться облик строения железных дорог. Год 1958-й, XIII съезд ВЛКСМ, Комсомол — шиф Абакан—Тайшет. Мы не знали, как умерить многотисичный прилив молодежи на стройку, по инерции побавлялись необстреленных, «зеленых». Мы могли поначалу только догадываться, что эта шумная, веселая, никогда не унывающая лавина принесет в нашу беспокойную, многосложную жизнь и энергию, и знание, и нежелание работать по старинке, и острокритический взгляд на дурную организацию дела и на нашу нетребовательность к быту.

Они пели:

В жизни раз бывает Абакан — Тайшет...

Наверное, их манили и простор, и красота Саян, и неизведанное. Но они отдавали себе отчет в том, что приехали на стройку не любоваться решительным шагом друг друга, а работать.

И работали. На первых порах неумело, ошибаясь. Помню, как парень, который мог взять в уме фантастический интеграл, едва-едва орудовал лопатой. Отсутствие элементарных навыков компенсировалось, по народной пословице, не мытьем, так катаньем. Упорством, терпеливым овладением специальностью.

Вспоминается такая картина. Едем по готовому участку пути, на Абакан. Ночь — глаз выколи. Вдруг в свете фар дрезины вижу: бродят тени. Мы остановились. Выхожу на насыпь. Ребята и девушки дерном укрепляют насыпь. Я накричал на них сгорча: нарушение техники безопасности и так далее. Потом все поня и оттаял: вот оно, подумал, «катанье».

А когда окрепли мышцы и обретен был навык, включились в дело знания, которые до поры, покада человек приобщался к новому делу, оста-

вались втуне. И уже на второй-третий год обыкновенный транспортный рабочий рассчитывал силу взрыва или удобное для прохода тоннеля направление и выбирал, инженерно все обосновав, место для постоянного пристанищного поселка.

Бывало ли такое в мировой практике строительства железных дорог?

Люди росли, и из них, абаканцев, создавался костяк руководителей и рабочая опора уже для строительства Тюмень — Сургута. Я назову некоторых из них. Это Виктор Фролов, сейчас заместитель начальника управления. Это Олег Шапошник, Борис Костин, Николай Доровских, Александр Любов, Иван Мариненков, Петр Мозговой и еще сотни и сотни других. Почти все они приехали на Абакан по комсомольским путевкам. Выстроили дорогу и на дороге выросли.

...Помнится, не просто было нам сниматься с Абакан — Тайшета. Насажженные, полюбившиеся места. И детище наше — новенькая дорога — бежит где-то рядом. Однако ни один человек там не остался, когда пришло время перебазироваться на малознакомую нам тюменскую землю. Сплелись люди в деле!

Меня часто спрашивают: есть ли разница между стройкой на Абакан — Тайшете и на Тюмень — Сургут? Я обычно уточняю — в лодках или в условиях работы? Если по людям, то люди прежние. По условиям — дело другое. Тут разница громадная. И вот эта-то разница заставляет людей Тюмень — Сургута перестраиваться буквально на ходу.

Если у вас есть под рукой карта Западной Сибири, взгляните на нее. Между Обью и Иртышом — наш главный плацдарм. Соединил Тюмень и Сургут прямой, вы получите представление о местах, где строится дорога.

Здесь болота, болота. Десятки тысяч рекеч вдоль и поперек. Знаменитое Васюганье.

Эх, сколько раз уже в Тюмени вспоминал я добрым словом абаканские скальные породы. Там тоже встречались болота, но ты знал: стоит только снять полуторфяковый верхний слой — под ногами твердь... Здесь не так. А ведь не бросишь рельсы в трясину! Значит, нужно «оживлять» в болота твердый грунт, песок — под насыпь. И рассчитать сто раз: проглотит болото десятиметровую «подушку» или помилует. И далее. На Абакане мы не знали недостатка в строительных материалах. Все под рукой — щебень, песок, скальные плиты. Попутные материалы. Нагнись — и возмешь.

Здесь так: камень и щебень возим с Урала, лес — с Ангары. И неважный климат. У Сургута, к примеру, перепад годовой температуры (между самой высокой и самой низкой) — девяносто пять градусов. И трасса идет по абсолютно безлюдным местам.

Тюмень — Сургут строят те же самые люди, что и Абакан. Ну, а каково им здесь приходится строить? Трудно.

А строить надо! Без дороги немислимо развитие Средне-Обского экономического района, который называют сегодня самым богатым районом мира. Там Мамонтовское, Самолот, Уренгой и Медвежье. Там нефть и газ.

Подсчитано, что взять эти несметные богатства можно, лишь обеспечив район надежной сетью коммуникаций. Ни воздушному, ни водному транспорту с этой задачей в здешних условиях не справиться. Остается — дорога.

Да, сегодня мы, можно считать, спомали хребет Васюганью. И приезжающая молодежь разочарованно вздыхает: «Мы-то ехали, думали, у нас здесь трудности. А вы уже успели столовыми да яслями понастроить!»

Успели, дорогие мои друзья. Для вас строили. Разве бы не мучили бытовые неурядицы. Чтобы вы ображали свои думы не на то, где сегодня поест горячего или просушить одежду, а активно вмешивались в дело, мыслью и знанием проверяли бы наши догадки, экспериментировали и критически оценивали каждый свой шаг и каждый шаг своего товарища. В таком качестве вы здесь нужны.

Теперь, когда путь лежит где-то у четырехста пятидесяти километра и когда уже ясны некоторые уроки Тюмень — Сургута, думаешь, о недоданном, о том, как порой не доставало мощного мозгового центра.

Думающих людей было на трассе немало. Но их разделяли сотни километров. Они выполняли каждый свою задачу — рубили просеку через урманы, делали выторфовку, строили таежные поселки. Отрывать их от дела казалось бессмысленным. А надо бы!

Разве мучились бы мы с Епанскими болотами, разве проглотили бы эти болота десятки тысяч кубометров грунта, окажишься там, на месте, человек, подкашавший простую, как все гениальное, мысль: «Бросьте черпать грязь. Засыпьте болото песком силами гидронамыла!»? Сейчас мы это делаем, нашли вместе этот способ.

Разве сидели бы на голодном пайке строители северного плеча трассы, мельники у кого мысль разрабатывать рабочую схему снабжения объектов материалами по естественным дорогам Васюганья — рекам и ручьям?

А все-таки мысль билась! Помню, как мы споткнулись в самом начале трассы, в трех километрах от Тюмени. Без моста через реку Туру нечего было и думать о продвижении на север, к Тобольску. Мост — этот год, как минимум, работы. Терять год! На это мы не могли пойти. Тогда было принято решение использовать старый мост — по дороге к торфоразработкам. Мы взяли «независимый» этот мост, построили временный обход и без остановки пошли на север. Наш большой железнодорожный достраивался уже, как сказать, в тылах.

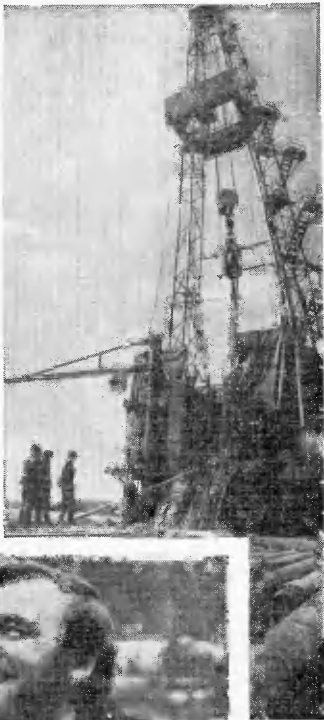
Я не могу припомнить автора этого простого и экононого решения. Впрочем, автора и не было. Были авторы. Дорога — это творчество коллективное. И особенно дорога в условиях нелегких. Когда поправкам неминутны — на мороз, на ветер, на качество грунта, на затопляемость. Всего не перечислишь...

Как видите, у нас было где развернуться и мысли и делу. Да и сейчас работы и пищи для ума предостаточно. В 1974 году мы должны сдать линию от Тюмени до Сургута. Успевт вырасти за это время новое поколение строителей, которым решать и простые и сложные задачи к северу от Сургута, на трассе Сургут — Нижне-артовский — Стржевое.

Пусть и для них дорога станет высокой пробой.

Всесуд с Д. И. КОРОТЧАЕВЫМ  
вел А. ФРОЛОВ.





**С ФОТОАППАРАТОМ  
ПО СТРОЙКЕ**

Вверху (слева) — здесь  
будет сооружен километро-  
вый мост через Юганскую  
Обь.

Справа — буровая на  
Мамонтовском месторож-  
дении. Сюда, за нефтью,  
спешит дорога.

Внизу: один из строите-  
лей дороги Тюмень — Сур-  
гут, комсомолец Володя Се-  
ван. Он приехал сюда с Ук-  
раины. Работает он на са-  
мом переднем крае — про-  
рубает просеку в тайге.

## Владимир Навлиннов

### Дорога Тюмень — Сургут с высоты птичьего полета

Водою вешнюю размытый,  
Кошмою торфяной покрытый,  
На нефти плавающий край,—  
Дай облететь твои орбиты,  
Гремучи, сквозь тангу пробиты,  
Злым ветром надуться дай!  
Звук давит в уши тяжелой массой,  
Тяжелый, как сырая шерсть,  
Нас третий час несет вдоль трассы  
Тяжелый вертолет МИ-6.  
И вижу удивленным взором:  
Направлены трущобе в грудь,  
Мчат две стрелы полетом скорым —  
Лежневка и железный путь.  
Подобна узкому потоку,  
Как сталь, что в летку потекла,  
Дорога к северо-востоку  
Летит, прямая, как стрела.  
Мосты прислонены к обрывам,  
А по краям стальной стрелы,  
Как будто ополкившим взрывом,  
Разъяты в стороны стволы.  
Железный путь, стальная ветка,  
Дома, думпкары, трактора.  
— Вы, так сказать, десант, разведка,—  
Сказали нам редактора.  
Я знаю дело мало-мальски  
И вот гляжу, гляжу вокруг:  
В песках, в разведке Приаральской  
Я все же бывший технорук.  
Но не видал такого, нет!  
Да, тут масштабы не такие...  
Какой подъем за десять лет,  
Какая техника в России!  
Ввинтились вертолеты в небо,  
И крылья туши бороздят...  
Такие в Каракумы мне бы  
С десант лет тому назад!  
Лети быстрее урагана  
Во имя света и тепла,  
Вонзаясь в сердце Васюгана,  
Стальная острая стрела!

### На Юганской Оби

Дощатый домик. От порога —  
Сосняк и торф, тайга и грязь.  
Она не самоцель, дорога,  
Она с Большойю нефтью связь.  
За Кондой, за Юганом старым  
Хранится мощь твоя, страна.  
Зовется «кровью жил» не даром  
И «черным золотом» она...  
Дыша смолою перегретой,  
Алеет лес по сторонам.

— Узнайте, есть ли там поэты,—  
В редакции сказали нам.  
И вот ступил на мостик скользящий,  
Спокойно поглядел вокруг  
Наштаба стройки комсомольской  
Виталий Кононов, наш друг.

— У нас в стране и в целом мире  
Нигде богаче нефти нет.  
Бей, нефтяной фонтан Сибири,  
Которого не видел свет!  
Дай нам ценой трудов, походов  
Всего за несколько годов  
Воздвигнуть тысячу заводов,  
Построить сотни городов!  
Кипи, работа! От порога  
Речь, «Ураган»,<sup>1</sup> и торф и грязь:  
Она не самоцель, дорога,  
А с будущим прямая связь.  
Мы дорожим и днем и часом,  
И по-миному нам нельзя:  
Нефть — ткани, топливо, пластмассы,  
Нефть — наше золото, друзья!  
Пусть глушь ловушки нам готовит,  
Пусть топит плынуном Юган —  
Ничто твой ход не остановит,  
Тысячесильный «Ураган»!.

Припоминаю дни лихие  
И понимаю, где я был:  
Я видел юную Россию  
В расцвете исплинских сил.

<sup>1</sup> «Ураган» — тягач-вездеход большой мощности.

### Разговор с Валентином Солохиным, начальником мостопоезда № 15

День солнечен и необычен,  
Вот небольшое торжество:  
Хозяин мил и симпатичен,  
Ну и порядок у него!  
Не в так торжественной минуте  
Шелнул приятель мне один,  
Что он в Тобольске иль Сургуте  
Скупил весь книжный магазин.  
Воскресный полдень. Светлый час.  
Снег смят, но реки льдом одеты.  
— А что, поэты есть у вас?  
— Поэты? Мы тут все поэты.  
В лиловом папиросном дыме  
Сиди, карандашом шурши?  
Поэт не титул и не имя,  
А состояние души.  
Поэт? Да это тот, скажу я,  
Кто встал за Родину в бою,  
Тот, кто умеет боль чужую  
Принять к душе, как боль свою.  
Разведка — чистота и дружба,  
А мы разведчики пути:

Чтoб класть пути, сначала нужно  
 Мосты на трассе навести.  
 Поэты? Их не перечислить.  
 Они кладут мосты вдоль трасс.  
 По-государственному мыслить  
 Дорога обучила нас.  
 Но встанут из болот, морозов,  
 Тайги, пронизанной пургой,  
 Шаим, Нефтеюганск, Березов,  
 И Самолтор, и Уренгой.  
 А нефтекомбинат в Тобольске,  
 Мосты через Юган и Обь?  
 И мостопоезд комсомольский  
 Врубаётся в пургу и топь.  
 И это результат отдачи  
 Телесных и духовных сил,  
 Чтoб ярче, чище и богаче  
 Наш человек советский жил.  
 Работа душу открывает,  
 С нею гоняет лень и жир.  
 Поэт? Да это тот, кто знает,  
 Как надо переделать мир...  
 — Ну, а текучесть?  
 — Чтo текучесть?  
 Я помню всех наперечет:  
 Мостовики — такая участь,  
 Кто слаб душой, пуская течет!  
 У нас — рискну ответом смелым —  
 Текучести почти что нет:  
 Пришли мы коллективом целым  
 С дороги Абакан—Тайшет.  
 Иной увидит недостатки,  
 Сбежит — и ну давай кричать!  
 Нам отвечать за неполадки  
 И за успехи отвечать.  
 Таких немного на дороге,  
 Текут сквозь пальцы крикуны,  
 Не крикуны, не демагоги —

Нам ирригаторы нужны!  
 Нужны шоферы, трактористы —  
 Ждет мастеров стальной колос.  
 Нужны поэты и артисты,  
 Чтoб людям веселей жилось.  
 Дорога отбирает строго  
 Людей по ценности своей.  
 Вот для чего нужна дорога,  
 За это и спасибо ей!  
 Текуч ничтожные остатки,  
 Костяк хранит рабочую честь...  
 — А недостатки?  
 — Недостатки?  
 Конечно, недостатки есть.  
 Не потому ль, беду пророча,  
 Кляла дорогу битый час,  
 Грязнила, плача и пороча,  
 «Свободная Европа» нас?  
 И голос вкрадчивый и скользкий  
 Вещал на целый белый свет,  
 Чтo, мол, на стройке комсомольской  
 И трудно и порядка нет.  
 «Где туалетная бумага  
 И где горячая вода?  
 Ах, он, рабочий, ах, бедняга!..»  
 Не огорчайтесь, господа!  
 Предатель с голосом холопа,  
 В твоей душе темным-темно:  
 Почем «Свободная Европа»,  
 Мы знаем точно и давно.  
 И мы мечты своей не скроем,  
 Мы путь невиданный торим!  
 И мы уже сегодня строим  
 Дома и школы рядом с ним.  
 Великую целью задались мы,  
 Грядущий день нас открыл.  
 И это — день социализма  
 В расцвете исполнинских сил.





## НИКОЛАЙ СМИРНОВ,

монтер пути, руководитель литературного объединения «Магистраль»

# КАПИТАН

**В** январе 1966 года неподалеку от Тюмени высадился десант 269-го строительно-монтажного поезда со станции Сисим на Саянах — знаменитые абакан-тайшетцы. Им теперь предстояло строить дорогу на Сургут. Я много слышал и читал о них. Давно хотелось познакомиться поближе. И вот я в Мазурове, в ста тридцати километрах от Тюмени...

На пустыре близ деревни белая новенькими щитовыми домами поселок с широкой центральной улицей... Так получилось, что приехал я по заданию редакции всего на несколько дней, а потом увлекся размахом дела, людьми и остался в Мазурове навсегда.

Оформился на работу лесорубом.

Из отдела кадров меня отправили к прорабу по трассе Лобову. Его нашел в вагончике-прорабской. Склонившись над столом, что-то писал красивый, с мужественным лицом мужчина. Одел был в потертую кожаную куртку на «молнии». Без лишних предисловий заключил:

В понедельник заступай в бригаду. Спецовку и сапоги получишь на складе.

С тех пор Лобов стал предметом моих постоянных наблюдений. И чем дальше, тем больше я уважал его.

Работа заполняла жизнь Лобова целиком и полностью. Все его касалось: конфликт ли в бригаде, производственные неполадки, разгрузка прибывающих спал, рельсов. Ему звонили среди ночи, и Лобов, как подобает командиру, без промедления шел будить ребят на внеурочное задание. Около десятка бригад у него под началом, и все на трассовых километрах — сумей распорядись каждый.

Нашу тогда отправили в глушь, за Еланское болото. Вот как это случилось. Накануне неожиданно разгласил бурян. Утром поднимаемся — на улице снегу по колено, в нетопленном общежитии пар от дыхания виден и у кого-то стиральные рубашки застыли. Зимал

В прорабской спозаранку толкучка ожидающих назначения на работу людей. Лобов за столом, в черной дубленой шубе, совещается с бригадирами. Бровки тут, постоянно чем-нибудь озабоченный; Гермогенов со своей дружной ивановской комсомольской; суровый на вид Клочков.

Лобов решает: клочковцы — разгружать рельсы с баржи. Гермогенову срочно в Тюмень — поступили вагоны со щитосборными домами. Бровкину — настигать автодорогу, и нам выпадает туда же на помощь. Но как быть с учащимися в вечерней школе? Не на неделю, не на две уезжаем.

— На добровольность,— решил Лобов.— Кто в школе занимается, может отказаться, работа и здесь найдется...

Не отказался никто. «Потом наверстаем...»

Через несколько дней Лобов навестил нас в утрятанной лесами деревеньке. Интересовался работой, бытом, не устали ли от однообразия и отсутствия цивилизации. Мы в голос: «Нет, есть еще порохи...» Лобов доволен. В нем ни капли рисовки, начальственности. Сторонний человек не сразу догадается, что этот скупой на слова и жесты человек — прораб, главное на трассе лицо. Лобов тактичен, мягок, никого не распекает, никому не грубит, но, странно, его уважают и побаиваются больше других. Скорей, уважают.

Это интеллигент по натуре.

Он во многом осведомлен, обладая опытом тринадцати трассовых лет и знаниями железнодорожного училища, после которого направил в СМП-269, тогда электрифицировавший самую длинную в мире магистраль, Владивосток — Москва. Участок под Иркутском. Начинал Лобов бригадиром. На Абакан — Тайшет прибыл мастером. Ему при передислокации поезда на новое место поручили переправить грузы в считавшуюся недоступной для транспорта Сисимскую долину. Лобов справился с задачей.

На Сисиме он занимался гидросооружениями. Лето в горах короткое, холодное, лют дожди. Из-под камней бежит ледяная ключевая водичка. После сильного ливня в Крольский тоннель хлынула вода, грозя снести полотно вместе с рельсами. Лобов вовремя организовал прочистку засорившихся колодезев. Сам работал по колено в обжигающей воде, валился от усталости. Аварии предупредил.

На Севсб — так окрестили северную сибирскую трассу от Тюмени до Сургута изобретательные газетчики — Лобов прибыл в числе первых. Занимался прорубкой трассы, лишь спустя полгода приступил к главному — путиству. Строителю железнодорожнику хорошо известно, что это такое: работа, вечная работа. Порой мучительная, но всегда упорительно-праздничная. Путиество — главный конек Лобова, его призвание.

— Люблю, когда по уложенным рельсам прогочет состав или даже дрезина. Кто не испытал, не поймет моей радости,— оговорился как-то.

Такое признание — объяснение труда многих трасовиков, претерпевающих ради любимого занятия неулаженность быта, передающих лесному, на колесах живя.

...Укладку и одновременно звеноборку начал прямо на полоте, врунуку из-за отсутствия крана, — вспоминаю нагрянувшую зима, и прекратилась навигация. Первый почетный костюл забыл Лобов. Легко, точно в репу, вошел костюл в прокреозентную шпальную твердь, и, возможно, вспоминали при этом прорабу мечта детства — стать капитаном дальнего плавания.

Лобов — сибиряк, с Лени, из села Качук. Отец работал в кузнице, и мальчуган то наблюдал, как покоряется ударом молота поковка, то купался в Лене



Рисунки И. Бронникова.

и пускал по течению кораблики... Уманили они Сашу в далекие края. Стал Александр Лобов капитаном, правда, пути его пролегли не по водным просторам — по сухопутью. Необыкновенный капитан. Всегда первопроходец! Такое не каждому по силам, это заслуживают стойкостью характера.

Родовое сибирское происхождение дало крепкое здоровье, а это прочные нервы, сильная воля и много энергии.

Армия и трасса научили Лобова податливости, дисциплине. В детстве Иннокентий Лобов внушил сыну верное нравственное направление. Сам погиб под Москвой, но смену после себя оставил верную. Все лучшее от яшного брата-строителя — в Лобове... Ему не раз предлагали стать главным инженером, и всегда он отказывался, считая себя полезнее на прорабстве.

Как-то ночью выгружали шпалы с баржи на берег. Дождь ливнул лил, хлестал по металлической окорпусовке плоскойдонной громадины. Мы оскользались, падали, насковоз промокли, и уже хотели ошашить разгрузку, как в свете прожектора появился Лобов в неизменном своем кожане. С берета на лицо ругалась вода.

— Давайте трос на тот конец баржи перекинем, чтоб кран подтянуть лебедкой, а то стрела недостает до шпал.

Вместе с нами принялся тянуть стальной канат. Трос был тяжелей, осклизлый, вырывался из рук. — Разом взяли! — скомандовал Лобов.

Непослушный стальной удав медленно приближался к бортовой тумбе. Захлестнули трос вокруг нее. Дело сделано.

— Порядок! — проговорил удовлетворенно Лобов. — Можно покурить...

Просочинившись в карман кожане вода размочила папиросы, и сразу шес рук протянулось с пичками к Иннокентьевичу. Непогода уже не казалась такой

безысходно-унылой. Мы ободрялись, почувствовали себя уверенно...

Особенно навалилось хлопот в предпусковые дни, когда и со звеносборкой, и с укладкой путей нужно было успеть: именно они решали пуск первого поезда до Тобольска. Зашивали звенья и отправляли их в резерв, соединив в плет. Гнали одну такую в полкилометра длиной на разъезд Большесельский. Блестящая от дождя стальная лента изгибалась на поворотах. Лобов торопился по ней в голову движения, ловко, как акробат, проверял на ходу ролик, рискуя сорваться с мокрых шпал и покалечиться.

Через полчаса входные стрелки Большесельского. Противукал шпаль до конца укладки, выпули ролик, струили их на дрезину. Съезжать когда стали, задние колеса дрезины соскочили с рельсов. Наложив обрезков шпал, поддомкратили ось. Лобов орудовал под нависшей над ним многотонной машиной, готовой в любой момент обрушиться с шаткой опоры.

Но вот готово, разом толкнули дрезину с домкратов, колеса встали на рельсы. Забрались в кабину — и марш. У поселка спешились. Лобов же уехал на звеносборку.

Висела большая красная луна. В ее жидком свете, фырча, пробуксовывая, двигались вереницы пропыленных за день автомашин.

На утро чуть свет Лобов в прорабской. С утра отправит людей на работу, и потом ниц его на трассе. Хозяйство у прораба большое, беспокоеное, недосмотрит чего-нибудь сегодня, завтра оно проявится. И Лобов заранее продумывает, чтоб все в свое время и без промедлений. Несуегили, по постоянно в действии.

Буквально круглые сутки на ногах.

...Кран забарахлил. Не на шутку встревожились прораб, выхлопотал допозвительный, новый: старый отремонтировали, и теперь оба они маячили стрелами в концах пролета; самосвалы день и ночь возили подкладку из Тюмени.

Наш верный и неизменный шеф настаивал:

— За качеством зашивки следите, ребята. Не ручные тележки — многотонные составы пропускать придется. Чтб без перекосов.

После того, как первый поезд прошел до Тобольска, часть путейцев перебросили севернее, а Лобов остался в Мазурове. Балластировали, выравнивали пути. Работы много, и она черновая, негромкая. Уже и высокое начальство и корреспонденты перестали бывать... Зима морозная, да если еще ветер, на открытом, возвышенном полотне сквозз ниже. Лобов не отсиживался в прорабской...

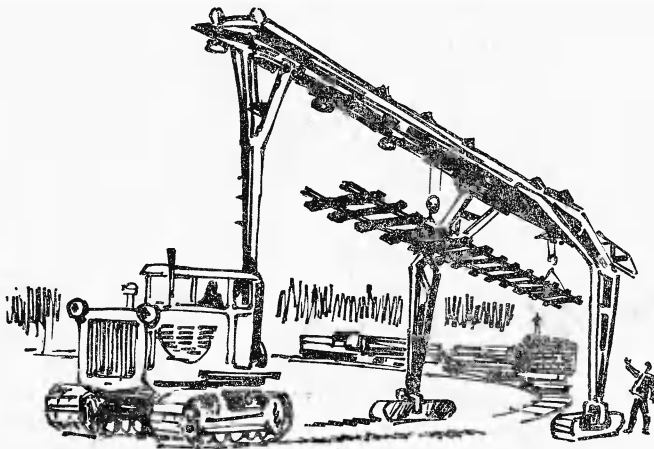
Однажды я застал Лобова оживленной обычного.

— Откосы, — говорит, — у реки Тавды укрепляем, обещаю большой паводок, как бы не смыл полотно. Гравий и плиты таскать на носилках уютительно и затратно, надумал проложить возле основного пути тупики, чтобы укрепительные материалы прямо на откос техникой подавать.

О недостающих для тупиков стрелах договорился с коллегами по станции Картымская и отправил туда на дрезине, пожертвовав воскреснем.

Премедли Лобоз со стрелочными переводами, поучилась бы заминка с тупиками. Он стоя на от-





косе и командовал крановщику, стругающему с платформ плиты: «Вира!», «Майна!». Визу лежала тихая подо льдом река, но прораб знал ее коварный нрав и спешил.

Паводок, точно, выдался небывалый. Я в самый разгул его наведалься в Мазурово, со всех сторон опешенное водой. «Железка» жила, действовала. Курсыровали по ней составы товарные, пассажирские, а поутру, как прежде, отправлялись в сторону Тавды поутейца Лобова. Ждал их на путях тепловоз с вагонами-теплушками. Но не враз к нему попадешь. За ночь вода поднялась. Мостки, соединявшие незапленную часть тракта с полотном, сорваны. В проран устремялся мощный лавинный поток. Напрасно пытались восстановить мостки: слишком силен напор воды и глубоко.

Появилась лодка. Добровольцы сели за весла, но лодку увлекло в шумящую головину. Тогда натянули от тракта к полотну проволоку и стали переправляться, держась руками за проволоку. Толчок — и лодка перевернулась, плывущие оказались по горло в воде. Хорошо, от берега близко. Лобов сам встал в лодку, сильными гребками направлял ее туда и обратно, пока не перевез всех. На работу поспеши вовремя.

Вокруг насколько хватало глаз плескалась вода, подступала к откосам, как в бетон закованым. Стихия бесильна оказалась против такой тверди.

Еще один экзамен выдержал капитан, сын кузнеца из сибирского села Качуг.

Железнодорожные будни Иннокентьевича продолжают. Не так давно участок 269-го на Салыме преобразовали в самостоятельный поезд. Немало рабочих и специалистов переметнулось туда, поближе к Сургуту. Лобов остался в Мазурово. Кто-то должен довести начатое до конца, в семидесят втором году отрезок дороги до Тобольска должен быть сдан в постоянную эксплуатацию.

В этом еще раз проявилась лобовская непоколебимость.

Обедневший кадрами 269-й захромал. Несладко приходится прорабу с новичками, к тому же часто меняющимися. Но Лобов старается успеть всюду. Нынешним летом обсевали травой откосы. Нормативная станция внедряла гидрососев. Не клеилось. Высеять семена днем не удалось, отложили на вторую смену. Лобов, то ли не желая обременять предшественника, то ли желая проследить за работой, решил остаться сам. Но тут я не выдержал: «Поручи своим помощникам! Шлади себя». Лобов согласился скрепя сердце, но все равно застрял надолго в кабинете главного инженера. Что-то ему хотелось обсудить, в чем-то убедиться, о чем-то поразмыслить с главным.

И вот я снова в Мазурове. Напрасно искать Лобова после работы дома. Конец месяца, и он с мастерами закрывает наряды. Придирчиво проверяет объемы работ, денежные суммы, замечая малейшие неточности...

Уходят мастера. Разговор завязывается о наших товарищах на Салыме; как водится в таких случаях, вспоминаем минувшее. Давний штурм на первых сотнях километров.

— Оправданный штурм, — замечает Лобов. — Сколько за это время перебросили народнохозяйственных грузов! Плохо другое — когда штурм превращается в показуху. Перед станцией Демьянская кое-где брошен пути на недоотсыпанное полотно. Отпартовали. А схватить нельзя...

Слушая Лобова, я думал о том, что ему вся трасса не безразлична. К каждому шпкиту относится с одинаковой болезненностью... Капитан!..



ИВАН  
ВАСИЛЬЕВ

# ДЕСЯТИ ДВОРКИ

Из записок  
корреспондента



Рисунки  
Арсения Шульца.

**Р**ано утром, еще до света, Михаила Петушиков подвоялся, вышел на придворок. В избах уже горели окна, переглядывались через дорогу мирно и дружелюбно, в полосах света искрились заиндевшие ветви берез. Морозило сильно.

Михаил из колонки набрал воды. Наполнил до половины железную бочку, стоявшую поодаль за тыном, развел под ней костер. Забилось, загудело пламя. Михаил поправил дрова, пошел к трактору. Достал из кабины воронку, слял с заливной горловины крышку. Что такое? Почему в горловине лед? Кинулся к сливной пробке — завипчена. Холодный пот прошёл Михаила: в двигателе вода! При таком морозе — гроб машине. И растерялся. Впервые в жизни не знал, за что схватиться. Дернул шнур пусскача, и резкий, как пулеметная очередь, треск вернул собранность и расчетливость действиям. Запустил мотор, прогрел на малых оборотах — может, удастся растопить в системе лед. Залили, видно, недавно: последнее нажал пальцами — ледок в горловине проломился. Какая же чертова душа замыслила такую подлость? Сделано с умом: все пробки закрыты, вода, замерзая, разорвет блок...

Мотор, еще не чувствуя, что смертельно ранен, четко работал на малых оборотах. Михаилу казалось, что он влился, как в стальных рубашках цилиндров снуют поршни, разогревают настывшую за ночь сталь, и всем своим существом просил спасения машине... Он подставил ладонь под сливную трубку и, как томимый жаждой в пустыне, ждал первых каплей. Чуда не случилось. На стенке блока отпотела змеистая паутинка трещины. Все...

Михаил выключил мотор, и тишина обвалом придала его, согнула плечи... «За что?»

...Тут неизбежно отступление. Михаил живет в маленькой, десятидворной деревне Костино — такие теперь называют неперспективными. И, чтобы понять ночное происшествие, надобно перво-наперво хорошо уяснить, что это за странное явление — неперспективная деревня, десятидворка, пятидворка.

Не степь у нас — речки, болота, леса. Человек здесь издавна сидел так, чтобы ступил за порог — и на поле: семья берегла силы для добычи скудного хлеба. Нечерноземная полоса!

Но и другое, уже вроде не зависящее от природной среды, — социально-экономические условия сделали нашу старую калининскую деревню неперспективной. И никакого здесь парадокса!

Сорок лет шло насыщение деревни техникой, и настало время, когда количество обратилось в качество. Новое качество именуется прозяканием просто — комплексная механизация. Полевод Калининской области уже вооружен энергетической мощностью в 12 лошадиных сил. К моторам — богатая запряжка: льнокартофелеуборочные комбайны, погрузчики, навозоразбрасыватели, аппараты для хмипрополки, самосальные телеги, копновозы, стогометатели... Еще недавно машина придавалась человеку, облегчала его труд, брала на себя некоторые операции. Теперь она делает все: от заправки до отсыпки зерна в амбар.

Комплекс машин потребовал концентрации производства. Последнее — концентрация населения. Вот и конец малой деревне. Нужды в ней не стало.

Ой ли? Кабы так, чего проще: свози десятидворки в центр, как поступили некогда с хуторами. А то вопреки схемам-планировкам нет-нет да и отгрохают в «неперспективных» то арочный коровник, то новую кошару, а там глядишь — и цитовые домики заголубели.

Приговоренная ходом времени к спуску, малая деревня сопротивляется. И за ней, надо признать, пока весьма серьезные позиции.

Вот экономическая «карта» одного района — Ржевского. 260 тысяч га сельскохозяйственных угодий, из которых 70 тысяч пашни. Разбросайте по этому полю 520 деревень, 450 ферм, сотни складов, навесов, мастерских, поставьте на среднем арифметический двор 50 коров, 60 свиней, 200 овец, 10 лошадей. Если с 5–6 тысячами гектаров в хозяйстве успешно справляются 25–30 механизаторов, то за стадом в 1 200–1 500 голов ухаживает сотня животноводов.

Поле обогнало ферму. Можно, конечно, сетовать на промышленность: давали бы столько механизмов, как полеводу, глядящи, не то бы было. Но будем реалистами: и у государства силы небеспределены. Говорим о том, что есть. Фермы отстали. Здесь не то чтобы комплексная механизация, трудно с механизацией отдельных операций. К примеру, скажем, доение или навозоборка что-нибудь процентов на 30–50 только и механизированы.

Неравномерность технического прогресса в двух главных отраслях сельскохозяйственного производства создает очень сложную ситуацию, похожую на ту, когда человек правой рукой тянет веревку на ту, а левой — послабляет. Перекос...

Вот и Михаилу Петушкову все стать покинуть десятидворку Костино и переехать в центральное Коробино. Там — машинный двор, механическая мастерская, мощный зерноочистительный ток, сушилка, склады... Словом, там его рабочее место. Не गया бы трактор на свой придворок, не бегай бы за семь верст и за седелкой на сахаром в магазин, и за получкой в контору, и за таблетками в медпункт, и на собрания в клуб. Все, решительно все в жизни Михаила Петушкова за то, чтобы скорее перебраться в Коробино.

Но не может оставить свое Костино жена Михайлова. Он хочет и может, она не может. И колхоз всецело на ее стороне. Она доярка. А в Костине ферма.

Ферма — одна из сильнейших экономических позиций неперспективной деревни. Притом надо иметь в виду, что понятие «ферма» — это не только двор и скотина, но и выгон, и водопой, и доярка, и пастих — словом, все, без чего не получишь молока и мяса. А в наших краях выгоны — застарелые, бросовые луговины, способные прокормить стадо в полсотни, от силы в сотню голов. Они-то и диктовали до последнего дня размеры скотников — карликовые. Попробуют на таких комплекс механизмов поставить — экономисты убытки записывают.

Трудный узелок. Не знаешь, за какой конец тянуть. Прежде чем разрезать доярке Петушковой презид в центр, надо перевести туда ферму. Но предварительно заложить большое долготеее пастбище. Сделать это можно на пахотных землях. Значит, перед этим или хотя бы одновременно — ввести в оборот раскорчевку. И не забыть поставить жилье: на центральной усадьбе свободных рук нет, трудрезервы исчерпаны.

Решение проблемы найдено — крупные животноводческие комплексы. Строительство их началось. Но долго еще основную массу продукции будут давать существующие в неперспективных деревнях фермы. А это означает, что скоро Михаил Петушков начнет ставить свой трактор на общем машинном дворе. И терпеть ему не один год неудобства. Но жить ему не спуска рукава — с пониманием временности неудобств, переустраивая неперспективную деревню, работая на общее благо. В том его, Михайла, цель... На пути к этой цели и случилось то, с трактором. Люди руками разводили. Не было у Михаила недоброжелателей. Скрывший, по-

кладистый, отзвучивый, он не то что говорить — думать не умеет о людях плохо. Потому и стал следователь в тупик: ни малейшей зацепки.

Дело следователя — указать в конце концов злоумышленника, наше — доискаться истинной причины.

Размышляя я над случившимся немало, и как-то припомнилась мне одна сценка. В правление колхоза «Дружба» (колхоз тоже на наших, калининских землях) завалился троє парней, неданных армейцев. Председатель — сама лбезность: сесть предложил, сигареты выложил — курите, ребята, чувствуйте себя, как дома. Звонком девушку-счетовода вызвал: «Машенька, у нас гости». Через минуту на столе — ваза с фруктами, холодное, с изморозью на бутылке ситро. И парни, поглядяте на них, рангом не ниже генералов — на полумягкие спинки откинулись, зажигалочками щелкают, ногу на ногу заложили.

А председателя «Дружбы» остро резала нужда: в гараже пологда стоят автомобили без водителей.

— Где служили, хлопцы? По какой части?

— По разной. — С лендой говорят, дымок через поздри пускают, отлично знают, кого тут режет нужда. — Но в общем-то все мы шоферы...

— Не скрою, ребята, шоферы нам — вот так. — Председатель чиркает себя ладонью по горлу.

Они отче-то замаялись. Тот, что побойнее, избегая председателяских глаз, спрашивает:

— Где машины ставите: в гараже или по домам?

— Ну что вы, гвардейцы, разве мы бедные? В гараже, конечно. В теплом, благоустроенном...

«Гвардейцы» откапывались. Про олады даже не занкулись. Их интересовал не олады — колеса на собственном дворе. Иными словами, то, что для Михаила Петушкова было в тягость, обладало для других людей несомненной привлекательностью.



Расскажу о Викторе из Михнева, давнем моем знакомом. Я у него на свадьбе был. В качестве репортера. О, тогда, лет двенадцать назад, то было событием — комсомольская свадьба в деревне! Да еще когда молодые с десятилеткой. Признаюсь, репортаж получился так себе, невнятный какой-то, хотя восклицательных знаков было много. Я говорил молодым: «Черт возьми, вы даже не представляете, какую стену проломил! Это брешь, в которую хлынут другие. Вы начали штурм вековых предрассудков. Наши старики считают, что если образованный остался в деревне, он неудачник. А вы сознательно... Пусть вас же пугает... Во всяком деле нужны первые...»

И вот минуло двенадцать лет. Знал, что молодые живут чеплохом. Баля работает в конторе счетоводом, Виктор — шофером. Летом его пересякают на комбайн, и фамилия его мелькает в газете. Прошлым же летом я жил в их семье, и хотя во мне самом горячность молодости успела смениться трезвой рассу-

длительностью, пришлось кое-чему подвигаться и заду-маться.

Вечером принесли телеграмму: приезжает в отпуск брат Виктор. «Не хочешь до стапичи прокатить ся?» — спросил меня Виктор. Я согласился. Ранешко, еще только пропели петухи, он завел стоявший на придворке грузовик, и мы поехали. Дорогой, известное дело, разговор всегда по-особенному довер-тельный, откровенный. «Чего мне не хватает, так это сна. Не высыпавшись летом. Родню встретить проводить, соседям опять же не отказать. А в ос-тальной жизни — не жажду». «Автобус разве не ходит?» «Ходит. До центра. Не хотя на автобусе: волинисто. Шлют телеграммы: встречь. Поднимаешь-ся ни свет ни заря — едешь». «Учиться так и не по-шел? Ты же собирался...» «Где там! Да и рассудить-ся, что она дает, наука? Дипломатических агро-номов сажают бригадами — восемьдесят рублнков, будьте любезны. А жизни, как это говорится, дается одна раз...»

На вокзале к машине кидаются дачники. (Бог их знает, какие здесь условия им нужны, через два часа автобус пойдет, а они прут!) Виктор отмахивается: не беру. Ему и не положено брать: машина не обо-рудована. Дачнику это не резон. Дачник настырен, отперенся — он уже в кузове. Виктор целуется с семейством брата и не обращает внимания на грохот чемоданов через борта.



Дальше все просто, по заведенному ритуалу: оста-вочка, благодарственное «спасибо», незаметно про-тянутая рука с прилипшей к ладони бумажкой. Только та и разница, что теперешний дачник не мело-чится. Мы останавливаемся раз десять...

Вечером была застольца. Пришла теть — мужик из тех, о которых говорят: в годах, но еще дуб. При-шла двоюродная тетка Майя, пенсционерка, но ис-правно, изо дня в день выполняющая наряды. Забе-жал приятель Виктора Вася — тракторист. Хозяйка дома (вернее, бывшая хозяйка, потому что уже усту-пила права молодой) Анна Васильевна, сгорбленная, скромнейшая приткнулась на уголке, с умиленным глядит на рослых сынов. Ей, солдатской вдове, по-днявшей пятерых, только и радости осталось — уми-ляться на детей. Дети она счастлива, все вышли в люди. Четверо в Ленинграде, пятый дома. Не знаю уж, по добром ли уговору или по жребию остался в деревне Виктор. Об этом не говорят.

— Сколько же сейчас в деревне зарабатывают? — поинтересовался брат-ленинградец.

— А ты сначала доложи о своих доходах, — посме-ивается веселый Вася. — Потом сравним, чья перетя-нет.

Если говорить в среднем, рублей по двести вы-ходит. Сейчас новую линию отаплива — премияль-ных сто пятьдесят выписали.

— Не густо. Пожалуй, перетнем, если все до ку-чки собрать. Как думаешь, Вить, перетнем твоего брата. а? Я тебе, к примеру, одну статью назову: колеса. Что это такое? Ха-ха, вот чудак. Ты на чем сюда приехал? Вот то-то. У Витышки автомобильные,

у меня тракторные. В деревне пас двое, колесных. Сообразя?

— Обогатели, это правда. На поле сейку видел, без колеса валется. А мы на заводе сверхурочно заказ для села выполняли. Так обогатели, что тыся-чек расквашаешься?

— Ты этим нас не кори, братан, — нахмурился, не-довольно сказал Виктор. — Мы труженики. За поряд-ком смотреть, начальства хватает.

— Нашли разговор для встречи, — потянул искру спора чуткий теть. — Наливай, Вить. Пришло время и мужику позволить роскошь. Видишь: пятизвездоч-ный, армянский...

Начинался загул. Я покинул застолье. А Васе так и не дали подсчитать доходы по статье «колеса». Им это неинтересно, потому что знакомо.

Я в самом деле не видел, когда ложиться и вста-ет хозяин. По утрам замечал следы почной деятельно-сти на дворе: воз сена, свежие с лесопилки доски, лесины-короткомеры. Сваливалось все как поало — приберется потом, в потемках, ибо добывалось урыв-ками, за счет сна, не в ущерб колхозной работе.

Иногда, уже лежа в постели, я слышал голоса на придворке, у грузовика. Женский протил: «Витень-ка, договаривалась зерно размолот, враз поросенку нечего дать. Будь настолько добрый, захвати утреч-ком. Немного, мешочка три...» Илл: «Сыночек, вы-ручи старуху, дровец наготовил гости, а привезти не на чем. Не мди с такой малостью к председа-телю, да и где его поймаешь?..»

«Добрая ты душа, — думал я о Викторе, — никому не откажешь». Но однажды проснулся от глухого, сдерживаемого плача. Сквозь филенчатую дверь ус-лышал долбелая усталый вздох: «Не кончится у нас добром. Нет моих сил». В ответ — пьяное бормота-ние: «Ну, чего раздумывалась? Ну, утосли. Я лю-дям добро, люди — мне». И вскрик души сквозь слезы: «Разве это добро? Ты от водки не просыхаешь...»

Стало стыдно за свою высокопарную речь, ту, на свадьбе: «Какую стену проломил!» Ничего они не проломил... Пороху не хватало. Как только обнару-жились временные несообразности и трудности пере-стройки, зашевелились в людях дремлющее от пре-жнего хозяйничанья, потянулись иные к нетрудным дохо-дам «колесной» статьи.

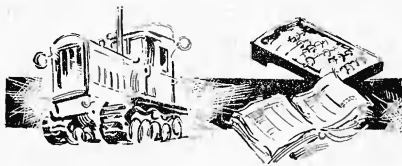
Но характер характеру — разный. У коммуниста Михаила Петушкова тоже была «колесная» статья, доходы от которой, знаю точно, — без сорока рублей три тысячи. Полулучи они, правда, несколько ичае. И расходованы тоже.

Вот как было дело. На партийном собрании обсу-ждали новый, еще восьмой пятилетний план. Говори-ли о личной ответственности, о вкладе каждого в пятилетку. Михаил — он не любитель речей — с ме-ста сказал:

— Прикинул я тут про себя. Думаю, за пять лет можно сэкономить на ремонте, техникудах, ну, еще и на горючем столько, что должно хватить на новый трактор. Словом, берусь.

Предложение сумели оценить. Началось соревно-вание под девизом «Сэкономим на новую машину». Оно то вспыхивало, то затухало, а кое-где и вовсе было забыто: пять лет — срок долгий, но лицевой счет Петушкова исправно вел колхозный механик Николай Ткачук. Он и оповестил в свое время: «Есть трактор!» Машину прямо с платформ при-гнали на базу и принародно вручили хозяину.

Я не был на той церемонии и не видел, как при-нял персональный трактор Михаил и как отнеслся к этому его товарищи. Я приехал в колхоз несколь-кими днями позже. Нашел Михаила у скотного до-ра, в вагончике перевозил с фермы на ферму ко-



ров. Забрался к нему в кабину и с репортерской настырностью стал допытываться, как и что. Машина легко шла через суметь, Михаила только поглядывал, не качнуло бы вагончик. В кабине было просторно, тепло, обзор хороший, поскрипывала новая обивка сиденья и пахло не соляжкой, а лаком, дерматином, металлом — сложным запахом заводского конвейера. И удивительно покойно лежали на рычагах руки тракториста. Я как-то невольно, не знаю даже с чего, сравнил эти руки — и те, на баранке автомобиля, Викторовы. Убейте меня, не смогу объяснить разницу. Видел ее, чувствовал, но не могу описать. Может быть, небрежное движение, которым мятая бумажка переминалась с одной ладоны в другую, может, некоторая суетливость, свойственная сельским шоферам больше, чем трактористам, может, едва заметное дрожание пальцев, говорящее о некоем пристрастии хозяина, отягчали те руки от этих...

По разным формулам жил Михаил из Костина и Виктор из Михнева. У первого била выражается так: машина — колхоз — я, у второго укорочено: машина — я. Выпадало главное звено: богат я общественным богатством, мною же создаваемым. Вот и столкнулось одно мировидение, миропонимание с другим. Не потому ли проучили явварскую морозной ночью Михаила Петушкова, дабы не выпарил?

Трудно, сами видите, перестраивается неперспективная деревня. Переделались здесь туго и экономические, и социальные, и нравственные проблемы. Разрешимы они, безусловно. И успех дела прежде всего в людях — в сотнях и тысячах единодумцев Михаила Петушкова, черпающих силу в крестьянском подвиге своих отцов и матерей.

Не на пустом месте создается новая калининская деревня.

Там, где Сипка вливается в Волгу, на покатох взгорье, на старом Торосском тракте стоит Коккошкино, небольшая, дворов на двадцать, но далеко известная деревня. Слава ее — в высоком кургане с белым обелиском. Спроси любого, кто сражался под Ржевом, — первым делом назовет Коккошкино: страшные тут шли бои. Еще известно оно в округе старинным городищем Жижич, еще — великолепными белыми рошарами и вообще красотой верхневолжской неинсумей, еще — миллионным колхозным доходом. А было тут...

...Евдокия Матвеевна Никольская поднялась на пригорок, с которого должна была открыться родная деревня, и ничего не увидела, кроме пустого, изрытого траншеями, оплетенного колючей проволокой поля.

Она отыскала то место, где стояла ее изба, сняла с плеч котомку и села на покаток выгавешенной земли.

— О чем задумалась, Дуня?

Она приложила руку к глазам, вгляделась. На дороге, опираясь на палку, стоял седобородый старик. Она узнала его: Иван Иванович Медведев из Люпина.

— Здравствуй, Иван. Возвернулась вот, сиюку.

— Думаешь, как жить начинать?

Да, как жить... Много лет этой земле не родить хлеба. Помини, после гражданской? Годов десять в силу входили. Так разве ж то сравнить с теперешним? Живого места из земли нет.

Ничего, Матвеевна. Мы начнем, а там, глядишь, подмога придет. Мы в Люпине уж колхоз образовали. Председателем меня поставили.

А у нас и председателя не из кого выбрать, одни бабы оставались, да и тех что-то не вижу.

Отвела за разговором Дуню, поднялась Евдокия Матвеевна. Захотелось от усталости воды волжской напиться.

Спустилась на лед, думала ладошкой водички зачерпнуть из воронки, а там... сукуно шинельное. Стружка весенняя вода, шевелит сукуно. Жутко стало...

Идет старая женщина по пеленицу. Вон над буром дымок стоит: ага, того уже обжигается. Спустилась по ступенькам, откинула радно, повешенное вместо двери, — ничего со свету не выдать.

— Кто тут есть?

— Баба Дуня! Здравствуй! Доплелась и ты?

— Доплелась. Чую по голосу, вроде ты, Кузьмовна?

Попривыкли глаза к полумраку, узнала Александру Кузьмовну Цветкову, Марию Павловну Уткину, Ольгу Ивановну Петрову, Александру Смирнову. Все солдаты, с двумя-тремя ребятишками каждый.

— Оберегайте ребят, бабы. Железа всякого кругом... Не ровен час... Так с чего ж начинать стаян?

Ольга Ивановна Петрова, она постарше других была, сказала:

— Тебе, Матвеевна, командовать. Раньше зеньшей была, берись сызнова, руководи.

Понял женщины в обход, принимать колхозное хозяйство: что же оставила им война?

Жмется тесной кучкой к тропинке, опасливо обходят каждый предмет. Одежды кто во что: кто в шубу, кто в ватник солдатский, кто в пальтошку, до дыр протертуго. На ногах и валенки, и лапти, и ботинки с портылками. Хуже, чем погорельцы, обездоленные войной солдаты. На голом месте колхоз собираются ставить, хлеб сеять и ребят поднимать.

Печку уцелевшую нашли. Стоит голая, черная, сиротливая труба в небо. И то радость. Без печки ни обед сварить, ни хлеба испечь. Вот и работа на первый день: укрыть печку, уберечь от дождей.

Потом сней без крыши увидели. Борону солнце выгало из снега, лопату саверную подобрали...

Сохранился акт приемы, написанный рукой председателя колхоза имени Шестого съезда Советов Евдокии Матвеевны Никольской. Вот он:

«На девятое апреля 1943 года в колхозе имеется:

плугов конных	— 2
борон простых деревянных	— 3
борон «зигзаг»	— 5
собрано мешков	— 42
собрано коматов	— нет
собрано веревек	— 2
собрано денег	— 860 рублей».

С этого и начинали.

Сколько забот легло на старые плечи Евдокии Матвеевны! Встают она рано, до солнца. Идет на поле поглядеть: не пора ли пахать? Это только так говорится: пахать. Вся надежда на лопату. Вечера установили норму: две сотки на человека. Посчитали все наличных «пахарей» — в день до гектара можно сделать. Сегодня первый выход.

Вернулась в землянку, взяла крутлый, припахивающий гнилым хлебом, разрезала на пятьдесят наек, положила — «пахарям» на обед. Последние уцелевшие в яме запасы. А чем завтра кормить?

Совсем разбились сапоги. Ходит председатель босиком. Днем — на людях, в хлопотах — стихает душевная боль, а ночами не может заснуть. Трое у нее на войне...

Днем рядилась с дядей Ваней — лавину через Сипику сделать. Дяде Ване давно на восьмом десятке пошло, но кто ж, кроме него, сообразит, как лавину поставить.

Пинин, председатель, поатры сотни трудовой. Дело, сама видишь, квалифицированное.

— А не много ли, дядя Ваня? Растранижим трудовни, а поде-то еще не засеяно.

— А уж пора бы сеять, дят на березе в копейку.

— Сама вижу: пора. Пятьдесят трудовой запишу тебе за лавину. Только уже на совесть делай.

— Ну ладно. Пятьдесят так пятьдесят. Все равно до расчета не доживу. Дыхание, Дуня, тяжелое стало, ноги немеют...

Только отошла — почталыона встретила:

— Письмо тебе, тетя Дуня.

Вскрыла конверт, да так и повалилась на земаю. Умер от рин Сашенька. Дед Иван прямо в упанке воды из Сипки принес, смочил ей лицо. Поднялась, села, а слез нету. Закаменело в груди.

— Ты поплачь, Дуня, — уговаривает дед, — Баба плакать должна, от этого ей легче.

Так ни слезинки и не пролила. Бзяла лукошко, пошла сеять...

...И сейчас стоит на краю Коконкина маленький домик с верандой, в котором живет старая женщина, возродившая жизни на этой земае. Белые рожи березы, что опоясали деревню кольцом, она сберегла, не дала распахать плутом. В войну их посеял ветер. Стоят они, как память о войне, о ее сынах, о тех ста сорока семи мужниках, чьи имена выбиты на камне у колохозного клуба.

А совсем недавно на поле за роцей, на то самое, что первым делом вспахали лопатами солдатки, приехал молодой человек в городском костюме, долго стоял там и все смотрел, смотрел вокруг. Рисовал что-то на бумаге, фотоаппаратом щелкал. И уехал.

Вскорости опять заявился. На машине. С ним другие люди приехали, вынесли из машины обернутые бумагой картоны, расставили в клубе. Собралось народу много, молча дивились картинкам, чертежам, не совсем понимая, что к чему. Молодой человек стал объяснять.

Была я на том собрании и ни с чем не сравнимую радость испытала. Глядела на скромного, с тихим, застенчивым голосом городского парня и думала: «Как сумел ты постичь душу людскую? Ведь впервые здесь, а выразил на своих картинках все, о чем думают они, за что беспокоятся...»

На картинках — будущий сельский город. Он не похож ни на что существующее, все в нем новое: и планировка, и жилые дома, и общественные здания, и архитектура, а главное — он так вписан в окружающую природу — в белые рожи, в плавные изгибы Волги и Сипки, так сочетается и с древним городищем, и с высоким обелиском на холме, и — это уж настоящее чудо! — с нетронутой деревней Коконкино, что все собрание, молча пережив восхищение, единодушно подняло руки: да будет!

Автора проекта, комсомольца, архитектора «Калининградского проекта» зовут Виктором Шумовым. Спасибо тебе, Виктор! Только, знаешь, найди где-нибудь местечко, отовсюду видное, и выруби на бетоне тот акт присяжки колохоза от войны. «На 9 апреля 1943 года в колохозе имеется: плутов конных двад...» Ты не помнишь того дня — еще не родилась, — но солганы его для потомков, ведь в твоим ухом и талантом рождается новое Коконкино.



## Григорий Людицкий



Я воду пью из родника,  
Пожогое на блюдце,  
И после каждого глотка  
О сердце капли бьются.

Пить хватит правнучкам моим,  
Как жаждут ни гаси я.  
Родник водой неистощим,  
Как добротой — Россия.

## Жеребенок

Сквозь проем стены спросонюк  
Из колхозного двора  
Выбег в поле жеребенок,  
Где грохочут трактора.

Встал, на них ревниво глядя,  
Но не ведая того,  
Что лежит под каждой пядью  
Пот прадедушки его.

Да, отец и дед под плугом  
Гнулись, поле бороздя.  
Пыль сепла, подобно выюгам,  
Земли сохли без дождя.

Шли на пахоту спросонюк,  
Будь там холод иль жара.  
...И заржал вдруг жеребенок,  
Но не смолкли трактора.

## Из фронтового блокнота

Одетый метелью,  
Бреду по Европе.  
Мне служат постелью  
Болотные топи,

А мягкая подушкой —  
Снежка бугорок,  
Добротной избушкой —  
Сосновый лесок,

А дождик — накидокой  
С затылка до ног.  
И тянется ниткой  
Тропа на восток.



## РАСТЕТ ЖАЖДА ЮГА

**М**ногие столетия «завтра» почиталось таинственным, непостижимым. Сейчас с него срывают зыбкие одежды, учатся узнавать. Пока нельзя путешествовать в уэлсовской «машине времени», но будущим в какой-то степени уже можно управлять.

Ученые, прогнозируя то, что должно произойти (вернее, может произойти), предупреждают демографический взрыв: к 2000-му, последнему году XX века число жителей планеты по сравнению с современным удвоится — по крайней мере превысит семь миллиардов.

Естественно, должно неизмеримо возрасти производство продуктов питания, бытовых товаров; города-«многомиллионники» станут обычным явлением, раздвинутся ширь и ввысь, поглотят тихие пригороды. Звездные скопления заводов, фабрик, комбинатов возникнут там, где ныне простыраются нехоженая тайга, тундра, сухие степи; старые предприятия умножат силы, выплеснутся за пределы своих границ; возделанные поля, плантации, бахчи раскинутся на площади, отвоєванной у пустыни; железные и автомобильные дороги прорежут топкие болота, вечную мерзлоту, пересекут многоводные реки и заливы.

Малый демографический взрыв возможен и на Юге Советского Союза, особенно в Средней Азии, где, по данным Всесоюзной переписи 1970 года, население возросло почти в полтора раза за шестидесятилетие. И этот рост продолжается все стремительнее.

Понятно, одновременно увеличиваются потребности, особенно в чистой воде, запасы которой на Юге ограничены. Ее может не хватать, и, если не принять заговя нужные меры, беда нависнет не над тысячами, а над миллионами людей, городами, промышленностью, сельским хозяйством.

Исследователи и инженеры уже сейчас готовят широкомасштабный проект, к осуществлению которого приступят лет через 10—15, терпеливо и дотошно изучают обстановку на местности. И когда пройдет час, люди не позволят природе застигнуть их врасплох. По размаху работ, по многообразию вы-



ГЕОРГИЙ  
БЛОК

# РЕКА ТРЕХ МОРЕЙ

*В предлагаемой читателям «Юности» статье рассказывается о грандиозном повороте сибирских рек на Юг. Самый этот проект, реальность его осуществления — еще одно яркое свидетельство братской дружбы народов нашей страны, идущих навстречу радостному юбилею — 50-летию Союза Советских Социалистических Республик.*

зываемых ими перемен этот проект не имеет равных себе в истории всех времен и народов. Он изменит привычный облик географической карты, утолит жажду Юга.

## НАПЕРЕКОР ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТЕ

**С**жато проект можно изложить одной фразой: заставить северные реки течь наперекор тому, что изображено на физической карте, повернуть их с севера на юг. Ученый скажет короче: перекрыть водный баланс.

— Водный баланс — это сток рек в моря, — говорит директор Всесоюзного института «Гидропроект» Дмитрий Михайлович Юринов. — Знакомство с объемом стока в Советском Союзе, вернее, его распределением, огорчает. Судите сами: почти девяносто процентов рек несет свои воды в моря Ледовитого и Тихого океанов. Только чуть больше десяти процентов приходится на долю южных рек.

Северные земли простыраются с запада на восток на тысячи километров, начиная с Колыского полуострова до Камчатки и Чукотки: их прорезают поановодные могучие реки, такие, как Печора, Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма; дельты многих далеко за Полярным кругом. Тут большую часть года царит суровая зима, бесчислывают уранные арктические ветры, сугробы заваливают заболоченную тайгу и тундру, а ледяной панцирь заковывает озера и реки. Лето же быстроотечно, дождливо.

Полная противоположность — Юг, где на безоблачном небе шлет солнце, редки дожди, жарко и сухо, зима недолга. Реки здесь впадают в теплые Азовское и Черное моря, в два бессточных бассейна — Аральское и Каспийское, отрезанные от Мирового океана. В этой благодатной зоне обитает значительная часть населения Советского Союза, здесь развита индустрия, города, поливное земледелие.

Не правда ли, нельзя заподозрить природу в мудрой доброте, в том, что она разумно и рачительно распределила свои дары? Там, где не надо, — девяносто процентов воды, а где надо позарез, — десять с вебольшим.

С этим можно же примириться,

если бы не ожидаемый рост численности жителей, а значит, всех отраслей народного хозяйства. И рост значительный.

Может быть, поскольку на Севере пустыют громадные территории, а вода в избытке, перебазировать туда сельское хозяйство? Ведь наука сегодня обладает почти всемогущим силой, ей по плечу решать любые задачи. А по подсчетам калитологов интенсивность солнечной радиации в Арктике летом близка к экваториальной. Но, к сожалению, ослепительная белизна плавающих полярных ледяных полей отбрасывает лучи почти целиком обратно в космическое пространство. Создать культурный пахотный слой на заболоченной почве, на вечной мерзлоте крайне трудно, а если учесть намечаемые размеры — миллионы и миллионы гектаров, то и вовсе не мыслимо; недостаточен и период вегетации, к тому же над полями постоянно нависает угроза быть смытыми очередным разливом или провалиться в оттаявшем грунте.

Даже самый поверхностный анализ убеждает в том, что гораздо рациональнее, экономически выгоднее не таскать гору к Магомету — сельское хозяйство на Север, а собрать реки в неблизкую дорогу, послать их на Юг. Такую идею сто лет назад выдвинул инженер Яков Демченко.

При тогдашнем уровне техники это выглядело бы меньшей мере фантазией. Однако геологи располагали неоспоримыми данными, что, например, ПрАОбь когда-то выпадала не в Ледовитый океан, а в древний обширный Каспий, пока подземные тектонические силы не вспучили поперек Тургайскую гряду и заставили ПрАОбь оставить привычное русло, повернуть на Север, куда вот уже миллионы лет она тихо катит свои волны.

Конечно, старинную идею не однажды возрождали, и всякий раз в новых одеждах. Исследователями руководило желание преобразить водный бассейн засушливой Средней Азии, где втуне лежат плодородные земли. Могучий поток северной воды вернул бы их к жизни.

В пятидесятых годах старая идея снова вынырнула на поверхность. С собственным вариантом выступил опытный инженер-гидротехник Михаил Митрофанович Давыдов.

Самое название его проекта словно брало быка за рога: «Поворот сибирских рек Оби и Енисея в Среднюю Азию и дальше в Каспийское море». Поворот представлялся смелым, если не сказать дерзким, захватывая воображение масштабами работ и перспективами затравленного дика, гипнотизировала уверенностью суждений. Его публиковали и с жаром обсуждали специалисты, но пользовался симпатиями молодежи, студентам.

Однако достаточно было чуть глубже разобраться в проблеме, как закрадывалась мысль: все ли так безоблачно романтично, как рисует автор? Не заглушены ли темные стороны?

И возникал вопрос: какова плата за эту воду? Что даст реализация проекта, какие он сулит выгоды и каких жертв требует, не окажутся ли они чрезмерными?

## СИБИРСКОЕ МОРЕ

**К**лючевая цель проекта сформулирована как будто убедительно: сибирская большая вода и горячее среднеазиатское солнце впрыснут жизнь, преобразят громадные, ныне пустынные и заброшенные пространства, создадут здесь богатые сады.

Конкретно, что предлагал инженер Давыдов? Прежде всего перегородить Лаптовой в Андри-

ском створе могучее течение Оби и, подзавая малую толкучку у Енисея, образовать в центре Западной Сибири гигантское искусственное пресное Море. Оно разольется почти на 300 тысяч квадратных километров. По поверхности зеркала задуманное море было бы всего на одну четверть меньше Каспийского или Балтийского морей. Все пресные водоемы нашей страны, вместе взятые, без остатка могли бы вместиться в просторы Сибирского. В таком море пришлось бы влить 5 300 миллиардов кубометров воды, то есть 5,5 тысячи кубикометров.

М. М. Давыдов предлагал произвести грандиозные, преимущественно земляные, работы, возвести несколько плотин, дамбы и судоходные шлюзы, построить крупные гидроэлектрические станции общей мощностью в 10 миллионов киловатт, проделать глубокие выемки на Тургайской возвышенности, прокопать широкий и глубокий канал на Юг.

«Сибирское море», писал автор, — по пойме рек Иртыша и Тобола подойдет вплотную к водоразделу между Западной Сибирью и Арало-Каспийской низменностью. Здесь перед обской водой возникнет препятствие — так называемые Тургайские ворота.

Те самые, что когда-то вспучились из глубин земли.

Протяженность ворот, или, точнее, возвышенности, — 800 километров. Их-то надо было бы пробить каналами, а кое-где туннелем. По образному выражению инженера Давыдова, отпереть замок, в прошлом закрытый природой. Сотни и сотни километров при минимальной глубине двадцать метров и ширине свыше четырехсот.

Погодите, зачем понадобилось разлить в сердце Западной Сибири столь просторное море? Кстати, его изобретение до проектной отметки, даже если подключить енисейскую воду, растянулось бы на несколько десятилетий (изрядную долю пришлось бы сбрасывать через агрегаты Андрийской ГЭС, чтобы производить электрическую энергию). И насыпать множество дамб, прорубать каналы между Обью и Енисеем в тяжелых, нередко скальных породах.

Ради чего все это? В основном, отвечал автор, чтобы вода могла беспрятственно перебраться через Тургайские ворота, создать необходимые условия самотеком. Иначе говоря, заставить обскую, а позже и енисейскую воду без постороннего вмешательства, самотеком, отправиться в дальнее странствие — в Среднюю Азию.

Фантастические объемы работ, затопление обширных пространств, прокладка глубокого и широкого канала на протяжении многих сотен километров — за все это пришлось бы платить чудовищно высокую цену.

Неужели нельзя перебросить северную воду не так дорого, а подешевле, а главное, не затоплять просторы посередине Западной Сибири с ее бескрайними лесными массивами и поименными дугами? Тут ведь не вечная мерзлота (кстати сказать, и ее не следует губить). Да и ГЭС десятиллионной мощи и судоходство в летнюю пору, хоть и записаны в актив, не могут уравновесить чашу весов. Просторы низменности, где в последнее десятилетие обнаружены скажочно обильные месторождения черного золота и голубого топлива, где прокладывают мощные нефтяные и газовые трубопроводы, растут промыслы и новые города, надо не затоплять, а осушать.

Вариант Давыдова несет на себе печать старины. Старинный? Да, за короткое время наука и техника шагнула далеко вперед, настала эра термоядерной энергии, электроники и кибернетики, искусственных спутников, отрыва человека от колыбели материк-Земли, его рыжка в межпланетное пространство. Уже в пятидесятых годах проект можно было бы передать



строителям, вооруженным машинами и механизмами. Но поворот сибирских рек остался неосуществленным потоком, что, фигурально выражаясь, свечи обогрели бы дорожные штры.

Мне думается, порочна затея — уныточать одно ради пользы другого, чтобы вода текла не на Север, а на Юго-Запад, похоронив под многометрового толщей воду необъятную ширь в сердце Западной Сибири.

Избежать рокового минуса — затопления обширной территории — позволяла бы электрическая энергия; с ее помощью можно бы перекачивать потоки прохладной воды, потребные сухим субтропикам. Но в электроэнергию, вернее, в ее отсутствие все и уперлось. Взять ее в нужном размере было в те поры неоткуда. Ни в Западной Сибири, ни в Средней Азии.

И все же в основе проекта Давыдова и его предшественников лежит рациональная идея: Средней Азии не обойтись без большой воды Оби и Енисея, без поворота рек.

Конечная идея Давыдова, повторяю, отнюдь не утратила своей значимости. Напротив, ее актуальность поднялась. Во второй половине восьмидесятых годов, по мнению ученых, Средняя Азия примется подкачивать наличные водные запасы. Ей потребуются подлить свежей сибирской воды, к которой тянется не только орошаемое земледелие, промышленность, города, но и крупный водный бассейн — Аральское море, точнее, солончатое озеро во впадине.

## ГИДРОУЗЕЛ В ТУНДРЕ

**И**так, поскольку солнце нам не подвластно и не доставить его чаще бывать на Севере, надо снова изучать старую идею — принудить реки Сибири, в первую очередь Западной, поделиться своим обильным стоком с Югом, утолить жажду его земель. Географы и экономисты называют долины среди гор, низменности, готовые сразу принести урожай.

Проектировщики думают о том, где создать исток новой реки внутрисейской пропускной способностью, вроде былинной русской реки Волги, самой крупной на континенте Европы.

Можно ли осуществить давний замысел, накинуть узду на Обь — тихоголодного гиганта Западной Сибири, приносящего 400 миллиардов кубометров воды в узкую губу холодного и туманного Карского моря? Единственно утвердительно отвечает на этот вопрос во Всесоюзном институте «Гидропроект», где давно разрабатывают проблему поворота северных и сибирских рек, в «Гидробоудхозе», Институте энергетики в Казахстане, а также в других исследовательских и проектных организациях.

Широкомасштабный проект охватывает треть территории Советского Союза, простертую от Уральских гор и Каспийского моря на западе до Енисея на востоке. В число объектов входят различные гидротехнические сооружения — плотины, дамбы в насыпи, каналы, шлюзы и мосты, электрические и насосные станции, распределительные устройства и диспетчерские пункты, туннели, краны и сыловое оборудование, автоматы и электронные вычислительные машины — компьютеры...

Обь обильна и протяженна. Где перерезать ее плотинами, запирать и накапливать воду? Надо не только собрать ее в просторном море, но и погнать вверх, куда она подобру-поздорову сама не полезет, да и дорога не близка.

Створ, где наметили ставить гидроузел, выбрали в низовьях, по соседству с заполярным городом Сале-

хардом. Долина тут сравнительно узка. С инженерной точки зрения проект остроумен и изыскан, он комплексно решает поставленную задачу, умело сочетает гидроэнергетику, судоходство, рыбодовство с переброской части стока в южные края.

Невысокая земляная плотина, с крыльями, распростертыми на низменных берегах, перекажет поток. В тело ее встроит бетонное здание гидроэлектрической станции, сомоненной с подобросом, и рыбопроникник. В состав гидроузла входят ступенчатый шлюз, порт, где будут швартоваться речные и морские суда большой грузоподъемности.

Гидроузел расположен на вечной мерзлоте, печально знаменитой своими коварными повадками, — рассказала мне главный инженер проекта Александр Николаевич Чёмин, ныне главный консультант «Гидропроект». Летом, когда поверхность заболачивается, здания и сооружения могут осесть, дать трещины.

Изыскаем ли удалось найти протоку, как бы дублирующую основное русло Оби, с теплым талым грунтом, что полностью гарантирует от любых неожиданных опасностей затопления ГЭС со всем его сложным хозяйством.

Салехардское море поднимется на две тысячи километров вверх по течению Оби, Иртыша и его притоков. На всем протяжении возникнет постоянный судоходный фарватер. Запасенную воду турбины превратят в электрическую энергию, а насосные станции понесут на Юг в первую очередь 50 миллиардов кубометров воды, сколько теперь приносит Амударья и Сырдарья в Аральское море.

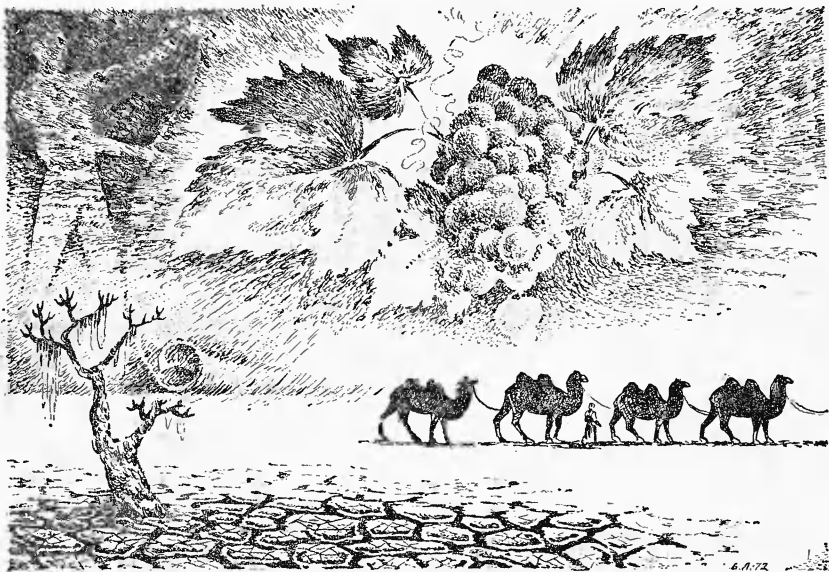
Гидроузел со всем своим оснащением не вызвал серьезных возражений, кроме одного, — размеров затопляемой территории. Конечно, она в шесть раз меньше «Давыдовского» Сибирского моря, но и 53 тысяч квадратных километров (такого зеркала задаваемого искусственного моря) — пусть плохой и почти неиспользуемой земли — слишком много. Правда, вода разлится бы преимущественно по заболоченным речным террасам, топким поймам в зоне вечной мерзлоты и редколесья тайги. Однако емкость — полтора годовых стока Оби — настораживала, стала объектом критики со стороны ученых — географов и экономистов.

Так что же, Средней Азии, вернее, ее сельскому хозяйству и инаудустрии, вовсе отказано в прохладной северной воде? Неужели нет способа. ничего не затопляя, все-таки перегнать воду на Юг? Ведь в Западной Сибири воды хоть зальеся, и чем там будет суше, тем лучше, не правда ли?

## ТРАССЫ АНТИРЕКИ

**О** всем не затоплять? — переспросила меня Александр Николаевич. — Если немного, то можно. Можно не строить крупную плотину, а отсечь прямо от живого тока Оби, выше впадения в нее Иртыша, примерно 40—50 миллиардов кубометров. Но не больше. На первую очередь этого достаточно. И хотя экономисты и демографы считают, что рост населения, промышленности, сельского хозяйства в ближайшие десятилетия вынудит перекачивать второе-третье больше, хотя волей-неволей придется выкапывать место для будущего хранилища, чтобы оттуда черпать воду, мы можем уже сейчас начинать прокладывать русло антиреки.

Какую трассу голубой магистрали избрали проектировщики? Есть различные варианты, но все они обязательно упираются в Тургайские ворота, которые не смог побороть Давыдов. Створной обойти их невоз-



можно, однако сегодня они не представляются преодолимыми: их будет штормовать вода, подгоняемая электрическим бичом.

Исследователи в содружестве с инженерами изучают два варианта переброски — северный и восточный. Оба рождены Обью и ее притоками, второй, сверх того, протягивает руку к Енисею, первому богатей Сибири. Северо-Обский в два с половиной раза короче восточного, он потребует меньше земляных работ, оборудования, времени и средств.

Основной показатель северной антиреки: протяженность главного русла — 2,5 тысячи километров. По сибирским масштабам это средняя величина. Трасса начнется у села Демьяновска, что на полноводном Иртыше, свернет в его приток Тобол и, держась правого берега, направится к Тургайской возвышенности. Взорвавшись, трасса разделится на два рукава: один — на Юг, в Казахские степи, долины Средней Азии, другой — на Запад, к реке Эмба, и дальше к Каспию.

Тургайские ворота — барьер, поднятый на высоту 85—90 метров. Воду переправят пять станций, оснащенных насосами турбинного типа. Врандась, они не сбрасывают воду вниз, а поднимают ее вверх, каждая примерно на два десятка метров.

Такие насосы с помощью электричества поднимут и погонят 2,5 тысячи кубометров воды в секунду. Пять насосов, словно пять ступеней, бегущих вверх, перекачают большой поток северной воды. Около каждой станции встанет невысокая плотина, она создаст малое озеро, чтобы насосы постоянно имели питье про запас.

Какой объем земляных работ предусматривают проектировщики канала Север—Юг? Каково геологическое строение местности, где прорубят его ложе?

— В начале пути строители прокопают русло через песчано-глинистые отложения, насыщенные влагой, — продолжает мой собеседник. — Тургайский прогиб встретит суглинками и глинами; на подходе к дельте Амударьи — широкий ассортимент глин и зернистых песков. Ветвь в сторону Эмбы проложат в суглинках и плотных глинах.

Великую артерию намечено строить в две-три очереди, вернее, первая проложит путь, по которому на Юг побегут 50, а затем 200 кубикилометров воды. Надо выпнуть и отбросить в сторону 8 миллиардов кубических метров грунта, не везде мягкого. Откосы, не укрепленные камнем (за исключением ненадежных, «подозрительных» участков возможного размыва или оползания), позволят расширять канал, не прекращая подачи воды.

Сколько электрической энергии возьмет поток, круглый год переливаемый через Тургайские ворота? Первую очередь будет питать электростанция мощностью 3 миллиона киловатт, вторую и третью очереди — электростанции 10-миллионной мощности.

Во сколько обойдется кубический метр воды, экспортированной из Западной Сибири в Среднюю Азию, с доставкой адресату «на дом»? Не дорого ли?

— По предварительным расчетам экономистов «Гидропроект», — отвечает мой собеседник, — семь-восемь копеек за десять кубометров воды, переваленных на расстояние 2,5 тысячи километров, с Севера на Юг. Отпускная цена не превысит одной копейки за кубический метр...

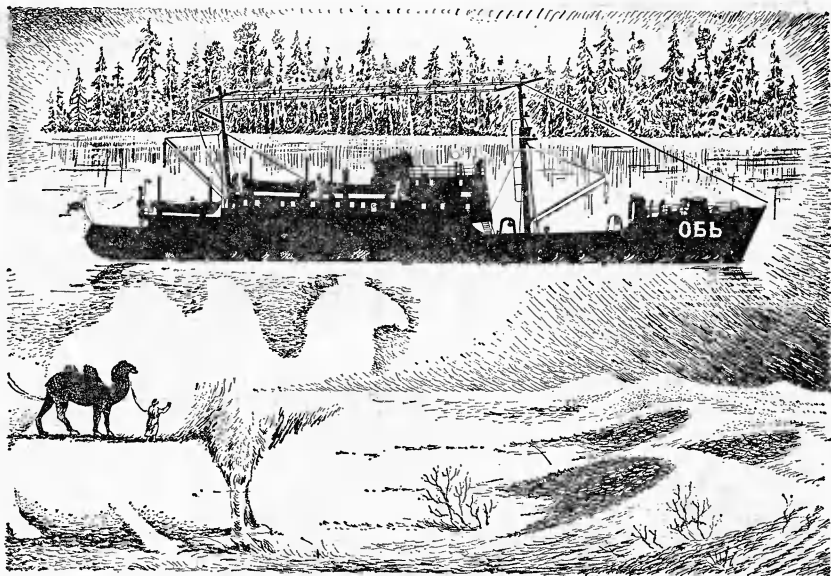


Рисунок В. Лаврова.

Казалось бы, только положительной оценки заслуживает проект переброски северных вод. Конечно, впереди много споров о его деталях, возможны различные варианты, обсуждение той или иной ветви новой реки...

### В АНГИИ НЕ СТАНЕТ ЖАРЧЕ...

**С**оввершенно неожиданно в разговор об этом проекте включилась английская консервативная газета «Санди таймс». Она опубликовала статью научного корреспондента Брайана Силкока под интригующим заголовком «Лето в Великобритании станет жарче благодаря Москве».

Чего хочет иностранный наблюдатель? Какие стороны проекта его волнуют? И почему он не всегда придерживается фактов? Из-за слабой информированности, пренебрежения справочниками?

Инженерные операции русских, пишет Силкок, «предусматривают изменение течений трех гигантских рек (речь идет о Печоре, Оби и Енисее.— Г. Б.), текущих бесполезно в Ледовитый океан, на юг в район пустынь, лежащих вокруг Каспийского и Азовского морей».

К сожалению, здесь, как и на протяжении почти всей статьи, не соблюдена хваленая английская склонность к точности. Проектировщики и не собирались полностью повернуть эти три реки, которые вместе сбрасывают в Арктический бассейн свыше 1 100 миллиардов кубометров воды, или, короче, 1 100 кубикилометров.

Печорский проект называет меньше 40 кубикилометров, Обь-Енисейский — 200. А ведь, кроме них, в Ледовитый океан впадают и Северная Двина, и Лена, и Индигирка, и Колыма, и реки поменьше. Да и Печора, Обь, Енисей с Ангарой как текли на север, так и будут течь.

Общий сток северных рек превышает 2,5 тысячи кубикилометров. Предлагаемый нашими проектировщиками отбор воды составит меньше десяти процентов годового стока, то есть находится в границах его обычных средних колебаний.

Брайан Силкок, видимо, не знал приведенных данных. И нарушил правило, которое гласит: чего не знаешь, о том не суди. Он уверенно продолжает: «В настоящее время невозможно предсказать влияние (переброски) на климат, но сдвиг к северу... несомнен».

Особенно его беспокоит потепление Арктического бассейна, которое якобы может вызвать поворот северных вод. И, чтобы укрепить свои позиции, он ссылается на авторитет Герберта Лэмба, эксперта по климату Британского метеорологического ведомства: «В высшей степени опасно для климата проводить вмешательство в таком крупном масштабе, когда мы еще не в состоянии предвидеть его последствия... Если бы подача воды уменьшилась или прекратилась, могло бы произойти таиние льдов в крупных размерах».

Поспешное заключение! С одной стороны, «невозможно предвидеть», с другой — обещание того, что ледовый панцирь растает. Нет ли тут противоречия? Доктор географических наук профессор Сем

Леонидович Вендоров, которого я познакомил с текстом корреспонденции в «Санди таймс», сказал:

— Нет никакой зависимости между объемом стока пресных вод и ледовитостью Арктического бассейна. За последние 75 лет состояние плавающих льдов в океане изменялось в широких пределах, а сток рек колебался весьма незначительно, и нет какой-либо синхронности между этими явлениями. Правда, речной сброс влияет на ледовую обстановку на юге северных морей, усиливает ее при меньшем объеме стока, меньше поступает дополнительное тепло. Так говорит С. Вендоров. А ведь Ламба начинается на противоположных: чем меньше теплой воды, тем меньше льда в Арктическом бассейне. Эта странная идея вполне устраивает корреспондента. Он думает, что потепление в Арктике могло бы способствовать движению пустынь на Север, климат Северной Африки распространился бы на Испанию, Южную Италию и Грецию. Однако Силаков тут же успокаивает соотечественников: не тревожьтесь, «лето в Великобритании стало бы жарче». Хоть за то спасибо!

— Я вынужден разочаровать Брайана Силакова и его читателей, — продолжает профессор Вендоров. — Изменение ледовитости в Арктическом бассейне не отразится на климате Британских островов и стран Средиземного моря, не станет он ни жарче, ни засушливее. Гипотеза Ламба — плод недоразумения. Совсем недавно, на памяти людей старшего поколения, в тридцатых и сороковых годах в Арктике потеплело, площадь ледяных полей резко сократилась. Думаю, этот факт не ускользнул от внимания английских естествоиспытателей. Таблицы температур и уменьшения границ полярных льдов можно найти в справочниках, посвященных Ледовитому океану. Однако уменьшение ледовитости никак не сказалось на пустынях Азии и Африки, не способствовало даже их временному наступлению на соседние территории...

Корреспондент «Санди таймс» признает, что экономический эффект реализации пещерского и обского проектов весьма и весьма значительны. Советские люди получают дополнительные миллионы тонн урожая зерна, хлопка, плодов и винограда, а значит, молока, мяса, масла и шерсти, увеличивает поток продуктов и товаров в Сибирь и на Дальний Восток. Но тут же Силаков подбрасывает сухие ветки в костер своего воображения: «Косвенные последствия, рассчитанные на длительный срок, были бы бедствием, хотя и не для самих русских».

Что он имеет в виду? Какой бульжник он держит за пазухой?

В спор он вовлек доктора Раймонда А. Нейса из геологической инспекции США, по мнению которого, переброчка вод, этот «сдвиг в весовом отношении от полюса к экватору, замедлила бы вращение Земли и увеличила бы степень ее колебаний на оси».

И хотя «Санди таймс» продолжает извлекать от желания бросить тень на советские проекты, она вынуждена сама признать, что доктор Нейс выдвинул «фантастическое предположение». Ведь 200—250 кубокилометров означают для земного пара меньше, чем укус комара для слона.

По мнению недавно умершего известного советского климатолога, доктора физико-математических наук, профессора Бориса Львовича Азерзеевского, переброчка пресных вод по двум проектам не отразится на самочувствии Ледовитого океана и на 10 миллионов квадратных километров его плавающих льдов.

Выигрывает только те, кому предназначена новая искусственная река, — выигрывают Зауралье, Каспий, Казахстан, Средняя Азия. Воды Оби получат, кроме Карского, еще два моря — Каспийское и Аральское. Благотворное действие ощутят за Уральским хребтом, в

сухих степях и полупустынях Юга, смягчится, уляжется знойное дыхание Каракумов и Кызылкумов. Вода, переброченная по большой дуге с Севера на Юг, улучшит местный климат. Вдоль безымянной голубой магистрали возникнут широкие зеленые полосы, города и посёлки, промышленные и культурные центры.

В Средней Азии, как шутливо говорят проектировщики, климат в зоне каналов и прилегающих местностей станет второе лицо, поскольку второе умножится ее водный баланс. Никогда в исторические времена там не было так прохладно летом, как будет, когда туда приведет большую сибирскую воду.

К сожалению, даже через мягкие увалы Уральского хребта не перешагнут климатические перемены, не достигнут его западных склонов.

Когда дуют раскаленные ветры прикаспийской жаровни, мутнеет небо, и Вога не в силах воспрепятствовать иссушению зеленого царства Поволжья, гибель урожая. Но эти злые ветры наверняка будут смягчены поправками, внесенными водами Сибири.

Однако вернемся в Среднюю Азию. Переброчка вод — половина дела, даже столь крупного. Надо позаботиться о доставленной воде. Извлечь из нее хозяйственный эффект — вторая половина дела, важная и трудная.

Допустим, завтра обернулось сегодняшним днем: собственной перestroйкой вода явилась на Юг, заструилась великий поток с Севера, закружила реки, речки, ручейки среди долин, плоскостей, засухливших степей. Встретят ли достойно дорогую гостью? Где ее привезть, куда пошлют? Какие перспективы она откроет?

## РОЖДЕННЫЕ БОЛЬШОЙ ВОДОЙ

**П**ро проектировщик, словно художник-график, линиями различной толщины изображает на листах ватмана магистральные каналы с бесчисленными отводами — причудливую вязь, похожую на старинные кружева вологодских мастериц. А когда задуманную ирригационную систему переносят в природу, когда она превращается в реальность, то напоминает густую сеть кровеносных сосудов, в центре которой пульсирует могучее сердце — хранилище. Отсюда по разным направлениям разветвляются голубые артерии.

Устьем, откуда северная вода начнет свой веселый бег, станет Минбулакская впадина, словно самой природой избранная под озеро. Его изменчивое зеркало, постоянно пополняемое Головинным каналом и «облегчаемое» ирригационными системами, разольется на 4,5 тысячи квадратных километров. На схеме, подготовленной институтом «Среднеазиатгидрохозагрохозна», его метят как Верхнее, чтобы отличить от второго — Нижнего озера. Институт находится в Ташкенте, в его активе знаменитые водные тракты — Большой Ферганский, Северный Ферганский, Каракумский, искусственные озера — Каттакурганское, Кассанаскское, Южно-Сурханское; усилия института способствовали расцвету Голодной, Кызылкумской степей, Вахшской долины.

Знакомство с комплексной схемой использования северных вод (главный инженер проекта — Азатрий Кузьмич Кыяткин), созданной трудом, энергией, знанием и мыслью гидротехников-энтузиастов, которые отдали любимому делу десятки лет своей жизни, говорит о том, каким образом удастся вовлечь в сельскохозяйственный оборот почти все 35 миллионов гектаров пригодных земель.

Понятно, это первый набросок будущей сети водных артерий, но и он производит сильное впечатление продуманностью расположения цепочки новых озер, изобретательным выбором трассы магистральных каналов, ирригационных сетей.

Сейчас в Средней Азии орошают 5 миллионов гектаров, и те 20—25 миллионов гектаров, что оросит сибирская вода, в буквальном смысле слова преобразят этот край, где в изобилии свет, тепло, запасы питательных веществ в почве и так мало влаги.

Труд экономистов, проектировщиков, инженеров и само время внесут немало уточнений, поправок к схеме, однако каркас идеи уже сегодня, хотя не покрытый тканью, но пронизанный кровеносными сосудами и тончайшими капиллярами.

Схема намечает пробить три магистральных широких канала громадных дна — Туркестанский, Туркменский и Устьюртский, — и пять покороче — Амударьинский, Таласский, Чуйский, Казалинский, Бухарский. По предварительным наметкам, их общая протяженность превысит 3 тысячи километров. Добавим к этому шесть больших водохранилищ, питающих эти голубые тракты.

Первая очередь — 50 миллиардов кубических метров — пошлет воду в низовья Сырдарьи и Амударьи, вернет к жизни четыре миллиона гектаров земель древнего орошения, издавна заброшенные.

Свободные воды Сырдарьи накопятся в Чардарьинском хранилище, где планируют поставить насосные станции, чтобы поднимать воду на высоту примерно до ста пятидесяти метров. Вместе с северной ее отправят на поля в Фаршскую, Нуратинскую и Бухарскую степи.

Бышние низовья Сырдарьи и Амударьи полностью перейдут на сибирскую воду. Собственная, разобранная по дороге, сюда не дотянет, как сейчас, скажем, не дотягивает Мургаб. Северная вода зажурчит на полях Арьсь-Туркменской низменности, оросит плодородные земли, обводнит высокогорные пастбища.

Немалый бросок совершит и Устьюртский канал — 650 километров. Он с севера обогнет Аральское море, по дуге спустится к юго-западу, щедро одаряя поля и пастбища, затем даст воду жаркому Мангышлаку, его молодой индустрии и рабочим поселкам, а его дельта выветится в каменистые берега Каспийского моря — конечный пункт доставки.

Все! Нет, конечно. Просекторщики не забыли и про Аральское море, кое-что перенадут и ему; сначала замедлится падение его уровня, остановится безство вод от старой линии, а потом стабилизируется уровень моря, а может быть, и повысится.

Понадобилось сто лет, прежде чем гипотеза превратилась в реальный проект, доступный современным техническим средствам. Ему на роду написано быть осуществленным, одетым в камень, бетон, металл.

И не надо быть пророком, чтобы уверенно предсказать: многие, кто находится во втором десятилетии своей жизни, кто сегодня сидит за школьной партой, станут непосредственными участниками великого проекта конца XX века. Трудно только определить, в каком качестве — строителя, управляющего могучими машинами оператора на пульте управления, вычислителя, агронома, перекраивающего тайгу, степи и пустыни, инженера или техника различного профиля и специальности... Всюду не обойтись без творческого начала, без изобретательной жилки, без умения глядеть вперед, в завтрашний день.

## Даниил Долгинский



Донская предвечерняя солна  
Уже не в голубом, еще не в алом,  
еще над древним валом —  
под наброском  
сиреневого облака — луна.  
Смеркается так медленно и тихо,  
как медленно плывет вдали баркас.  
Еще и полумрака облепила  
не затянута наших рук и глаз.  
Мгновенье дум возвышенных. Граница  
меж днем и ночью. Зыбкая черта,  
когда одна дописана страница,  
а новая еще не начата.



Не куковала мне кукушка  
и не гадала по руке  
цыганка... Накрывала пушка  
меня в прибрежном ивнике.  
Не сосчитать сегодня, сколько  
она истратила огня.  
Да только мало было толку,  
поскользну глупому осколку  
не удалось простить меня.  
Зато потом над переправой,  
над острием зенитных жал,  
каким тогда я балом правил!  
О, как я на гашетку жал!  
И до сих пор мои ладони,  
лишь только вспомяну этот ад,  
как остановленные кони,  
от напряжения дрожат...



Песенка! Песенка, чья ты! Моя!  
Неба ли! Гор ли!..  
Ярышко песенки у соловья  
в горле!  
Вы бы подслушали тишью ночной  
или подсмотрели,  
как из горюшкин этой одной  
выльются трели!  
Вздумалось ядрышко б вам расцепить —  
есть же ведь средство, —  
что увидали бы! Песенки нить  
и соловьиное сердце!



поселке — поселке Богущевск, Витебской области, — и наша школа ничем не отличалась от обычной сельской школы. Были далеки от абстрактных наук и мои родители: мама преподавала в начальных классах, папа работал на деревообрабатывающей фабрике. Но я хорошо помню, как в девятом классе вдруг почувствовал тягу к математике, хотя внутреннюю потребность заниматься математикой и к тому математикой я окончательно осознал уже в Минске, в университете.

— Хотя вам и удалось миновать стадию пундер-кинда, но академиком, согласен, вы стали чрезвычайно рано. Вы самый молодой академик в Белоруссии, а может быть, и не только в Белоруссии...

— Вы, кажется, видите в этом нечто сенсационное, а мне не нравится, если угодно, быть объектом сенсации. Я уже был и самым молодым доктором наук и самым молодым профессором в Минске, но у меня не тот характер, чтобы чувствовать себя естественно, когда тебя усаживают в президиум наряду со знаменитым писателем, артистом, спортсменом...

Я встретился с Владимиром Платоновым на открытии традиционной научно-технической конференции, на которую собрались, на этот раз в Минске, студенты Прибалтики, Белоруссии и Калининградской области. Фотокорреспондент собрал в фойе группу эстонских студентов и попросил Платонова сняться с ними. Ребята смущались, Платонов тоже не мог заставить себя «оживленно беседовать». Наконец академик сказал: «Как все это глупо». Воспитанные эстонские студенты сдержанно оживились: «Очень, очень глупо». Фотокорреспондент удовлетворенно щелкнул затвором...

Выступая на открытии конференции, Платонов говорил мало, сторонясь общих слов, очевидностей. Он говорил, что научная работа требует жесткого режима, может быть, аскетизма, но не замкнутости, не отстраненности от общественных дел. Говорил о неразделимости понятий «наука» и «гражданственность», о возрастающей роли молодых ученых в науке.

Когда начался концерт, мы присели в пустом фойе, и Платонов возвратился к этой теме — об омоложении науки:

— Близится время, когда и молодые академики не будут никого удивлять. Вслед за математиками и физиками непременно помолодеют и гуманитарии. Такова тенденция. В самом деле, какой смысл становится академиком лишь в семьдесят лет? Это звание не только свидетельство о почете, а стимул. Предполагается, что академик руководит направлением. Тут многое зависит от свежести взглядов, хотя можно, конечно, и в тридцать лет иметь взгляды несвежие, а в девяносто по-прежнему свежие. Это естественно, но не бесспорно. Академик Анатолий Иванович Мальцев, который оказал значительное влияние на мое формирование как ученого (он жил в Новосибирске и уделял мне внимание издала), говорил, что настоящее отношение к науке начинается тогда, когда уже не надо стремиться к каким-то титулам...

Цепляясь за «внимание издала» академика Мальцева и строго на этот очередной вопрос:

— А кто вблизи уделял вам внимание?

— Мой непосредственный учитель — минский академик Дмитрий Алексеевич Супруненко. А в последние годы я часто приезжаю в Москву, чтобы получить заряд бодрости в отделе алгебры Математического института имени Стеклова. В этом отделе, которым руководит президент Московского математического общества лауреат Ленинской премии Игорь Ростиславович Шафаревич (знаете, что он окончил МГУ в шестнадцать лет?), такое созвездие талантов! Старшие научные сотрудники Сергей Пет-

рович Новиков и Юрий Иванович Мантин — тоже лауреаты Ленинской премии. Старший научный сотрудник Алексей Иванович Кострикин — лауреат Государственной премии. Достаточно? Моих московских друзей отмечает стремление не делить математику, не быть узкими специалистами. Они умеют находить неожиданный подход к старым проблемам и признают только принципиальный сдвиг — глубокий результат. И еще один принцип, которому они всегда следуют: результат должен быть обязательно красив, элегантен.

— А бывает, что глубокий результат получает математик, лишенный чувства красоты и гармонии?

— Бывает: работал, работал — и наскакива. Таким человеком должно владеть ощущение, что он поднял огромную тяжесть. Но подобные «рекорды» сегодня чаще встречаются у штапистов, чем у математиков. Это — предположение, но хочется думать, что это так.

Известный математик сказал мне, что Владимир Платонов, несмотря на свою молодость, считается у нас в стране лучшим специалистом по теории алгебраических групп. За работы по теории топологических групп он еще в 1968 году был удостоен премии имени Ленинского комсомола. Его имя хорошо известно математикам Парижа, Принстона, Бонна, Лондона... Платонов поддерживает, как он выражается, «тонизирующий контакт» с крупнейшими зарубежными учеными. В сегодняшней математике, да, как и во многом другом, господствует узкая специализация, Платонова отличает удивительно широкий кругозор. Недавно Платонов решил — и очень красиво решил — одну из ключевых проблем арифметической теории алгебраических групп.

Я попытался было распространить об этой работе, но он мимовременно сгруппировался (это сравнение здесь не притянуто — Владимир Платонов спортивен, имел в университете два первых разряда):

— Мы же договорились научной сущности моих работ не касаться! Прощу вас...

И мы вновь повели разговор вокруг да около. Я спрашивал, например, Платонова, кто его жена.

— Алла занимается вычислительной математикой. Если я математик абстрактный, то она земной. Но в данном случае это различие, по-видимому, способствует взаимопониманию.

Постепенно и мы вновь обрели взаимопонимание, и мой собеседник сделал еще один допустимый шаг в сторону математики.

— Есть две задачи, которые я мечтаю решить. Это было бы счастьем. Речь идет о знаменитых проблемах. О каких? Пусть это останется моей тайной.

— Кого из великих математиков вы бы назвали, если бы было дано назвать только одно имя?

— Из математиков прошлого?

— Предположим.

— Немецкого ученого Гильберта. В широком представлении имя Гильберта связано прежде всего с двадцатью тремя классическими проблемами, которые он сформулировал еще в начале века. Гильберт привлекает меня тем, что он был, пожалуй, последним математиком, который охватывал почти всю математику. Кстати, вы, очевидно, знаете эту широко известную притчу? Один из друзей Гильберта как-то спросил его: «А где тот твой ученик, который подавал такие надежды?» Гильберт ответил, что он стал поэтом, поскольку у него оказалось слишком мало фантазии, чтобы стать математиком...

Естественно, я теперь прошу Платонова назвать любимых поэтов. Он называет три имени:

— Лермонтов, Блок, Есенин.

— А кто из них, по моему мнению, мог бы стать математиком?

— Только Блок, пожалуй.  
 — Как хорошо, что Блок не стал математиком. Вы согласны?  
 — Пожалуй.  
 Пытаюсь приблизиться с другой стороны к математике, точнее, к математике Владимира Платонова:  
 — Расскажите, как вы работаете.  
 — Я люблю думать на ходу. Свою докторскую диссертацию «сделал» в парке. Ходил по дальним аллеям и думал. Хорошо думать в парке зимой, под небольшим снегом. И под дождем хорошо, если дождь, конечно, не сильный. Я очень уютно себя чувствую и когда брожу по Минску, по людным улицам, но только чтобы никто не обращал на меня внимания. Прежде, когда я еще учился и жил далеко от университе-

та, я любил думать в троллейбусе, в автобусе. Приспосабливался, конечно. Да и гулять в парке, кстати, я привык, когда у меня еще не было возможности работать дома. Я знал, что Аристотель рекомендует думать в движении, но уходил тогда в парк не потому, что хотел следовать Аристотелю...

Мне нигде так хорошо не работается, как в Белоруссии. Это чувство родной земли. Я руковожу в нашем институте математики лабораторией алгебраической геометрии и топологии. Белоруссия богата математическими талантами, и я верю, что Минск еще станет центром крупной математической школы.

Вот куда привела нас в конечном счете эта недолгая прогулка вокруг да около математики.



## «СМЕРИЧКА» ИЗ ВИЖНИЦЫ

Фото В. Карлова.

**К**то только не исполняет сейчас «Червону руту»! Эта популярная песня украинского композитора Владимира Ивасюка — в репертуаре многих как наших, так и зарубежных ансамблей.

Но когда ведущий телевизионной передачи «Алло, мы ищем таланты!» спросил Владимира Ивасюка, в чем исполнении ему больше всего нравится «Червона рута», композитор назвал самостоятельный вокально-инструментальный ансамбль Вижницкого дома культуры на Буковине. Называется он «Смеричка».

Недавно я была в Вижнице, присутствовал на репетиции ансамбля, познакомился с его руководителем Львом Дутковским. «Смеричку» можно сравнить, пожалуй, с известным польским ансамблем «Али-бабки». Но это сравнение ограничивается лишь манерой ис-

полнения. Обращение к красочному колориту буковинской народной песни — вот что прежде всего определяет успех «Смерички». Этим колоритом пронизаны песни и самого Дутковского и Ивасюка.

Ансамбль состоит в основном из студентов местного училища прикладного искусства. Со «Смеричкой» трудно расстаться, даже если ты уехал из Вижницы. Назарий Еремчук, например, сейчас учится в Черновицком университете, но остается солистом ансамбля и приезжает в Вижницу на репетиции. Да и самому Дутковскому уже не раз предлагали возглавить профессиональные ансамбли, но он верен «Смеричке».

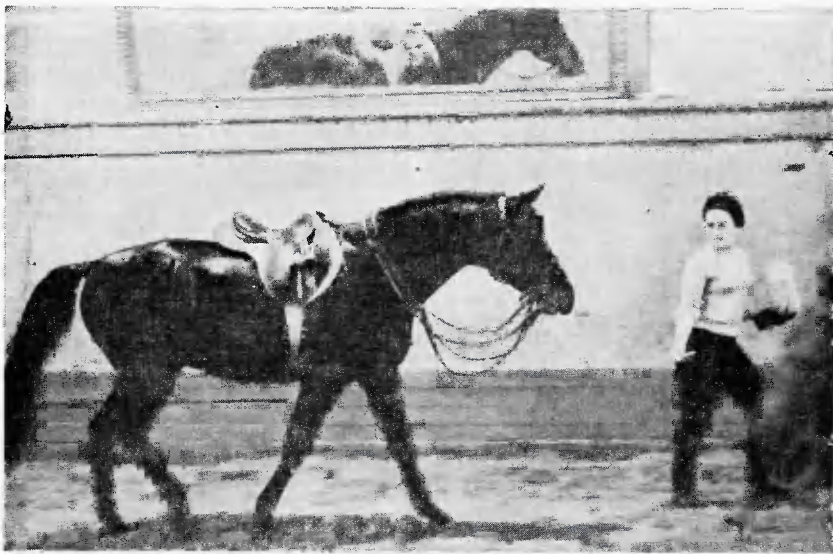
А Владимир Ивасюк отдал недавно «Смеричке» для первого исполнения свою новую песню «Віддана твоїх кроків» — «Эхо твоих шагов».

В. ЛОЗОВОЙ



На снимке: выступает «Смеричка», на первом плане (слева направо) солисты ансамбля Назарий Еремчук, Марияна Исак, Веспилей Зинкевич.





**ЕЛЕНА  
ПЕТУШКОВА**

## ЭТА ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ЛЕТ

Фото Л. Шерстенникова.

В издательстве «Молодая гвардия»,  
в популярной серии  
«Спорт и личность»,  
готовится к изданию книга  
заслуженного мастера спорта,  
кандидата биологических наук  
Елены Петушковой  
«Эта чертова дюжина лет».  
Несколько отрывков из книги  
чемпионки мира  
мы публикуем в этом номере.

Росла в Москве девочка, любила животных.  
Сначала у нее жила черепаха, потом — фокс-  
терьер, лисенок...

Девочке уже исполнилось пятнадцать, когда  
она случайно прочла объявление, что в парке  
«Сокольники» открыт прокат лошадей... И вот  
Лена пришла с мамой в «Сокольники»...



никогда не забуду свою первую лошадь —  
каракового кабардинца Избытку.

Довольно смело подошла я к Избытку.  
Вставила ногу в стремя и, используя его в  
качестве ступеньки, вскочила в седло.

Я почувствовала, что нахожусь очень высоко над  
землей. Но, странное дело, будучи по природе тру-  
сихой, я совершенно не испугалась ни этой высоты,  
ни того, что сижу на лошади.

Надо сказать, что книжка «Учись ездить верхом»,  
за чтение которой на уроке мне так попало от нашей  
строгой географички, действительно помогла мне в  
эти первые минуты. Было такое ощущение, что я уже  
когда-то делала все это: вставляла ногу в стремя, от-  
талкивалась, перебрасывала вторую ногу через седло  
с одновременным переносом центра тяжести, что уже  
когда-то отдавала повод и, слегка сжимая бока  
лошади ногами, посылала ее вперед.

Все было довольно сносно до тех пор, пока мы еха-  
ли шагом.

Но вот последовала команда: «Повод! Ррысь...  
марш!» И тут я поняла, что между теорией и прак-  
тикой «дистанция огромного размера». Дело в том,

что книжку Левинной «Учись ездить верхом» я изучала, сидя верхом... на стуле.

И мне вдруг стало ясно, что я ровным счетом ничего не знаю ни о лошади вообще, ни о езде верхом в частности. Седло по неизвестным мне причинам то прсаивалось подо мной, то вдруг снова напоминало о себе бесцеремонным толчком. И наконец поняла, что это не седло уходит из-под меня, а время от времени вылетает из него, и сделала несколько отчаянных усилий не отрываться от седла или по крайней мере не покидать его слишком надолго. Увы, это была непростительная ошибка с моей стороны! Я плакала в седло, чтобы через секунду вновь опустить под собой пустое место. Я начинала понимать, что в этой милой «прогулке верхом» у меня и у моей лошади диаметрально противоположные цели. В эти первые минуты злополучной рыси во мне с подостертельным упорством росло желание очутиться на земле, на своих двоих.

Но, как ни странно, я все еще была в седле.

Больше того, через несколько минут я вдруг почувствовала определенный ритм в движениях моего Избытка. Пойман этот ритм, я стала приподниматься на стременах через раз. Кажется, что-то начинало получаться.

Тренер смотрел на меня, как мне казалось, с живейшим интересом. Я была уверена, что его интересует только один вопрос: через сколько минут эта девочка наконец свалится с седла?

Но я ошиблась. Тренер подошел к маме и спросил ее, ездила ли я верхом раньше. Получив отрицательный ответ, он недоверчиво покачал головой.

Петушкова подробно рассказывает в своей книге об истории, традициях, секретах вышней школы верховой езды.

Знаете, например, чем спортивная лошадь отличается от цирковой?



Вышняя школа верховой езды еще в средние века была хорошо развита в Испании и Италии. И интерес к этому виду спорта был отнюдь не случаен. Только хорошо выездной, послушной лошади можно было доверить во время боя свою жизнь.

После изобретения огнестрельного оружия, когда оказались ненужными и тяжелые рыцарские доспехи и могучие медлительные лошади, понадобилась не просто более быстрая, маневренная лошадь, но такая лошадь, которая могла бы на всем скаку развернуться, прыгнуть в сторону или вверх, причем сделать все это неожиданно и быстро. Такая лошадь могла бы в нужную минуту спасти жизнь всаднику, застрявшего своим корпусом, встав на дыбы. Описание такого трюка мы находим, например, у Дюма в «Трех мушкетерах».

Наконец, было совсем недурно, если лошадь могла красиво гарцевать на парадах перед прекрасными дамами.

Но и это практическое значение выездки постепенно отмерло, и теперь высшую школу верховой езды такой, какой она была некогда, со всеми ее трюками и акробатикой, можно увидеть только в цирке.

В спортивных же соревнованиях остались только те элементы, которые естественны для лошади.

Вам кажется, что цирковые лошади могли бы успешно выступать на соревнованиях? Это — заблуждение многих. Нет, цирковая лошадь не могла бы участвовать в соревнованиях. Во-первых, какими бы ф-

фектными ни казались трюки цирковых лошадей, многие элементы исполняются ими крайне небрежно, а часто просто неправильно, хотя неискушенному зрителю трудно оценить, насколько правильно или неправильно исполнение. Во-вторых, цирковая лошадь не могла бы успешно участвовать в соревнованиях потому, что она подвергается дрессировке, в то время как спортивная лошадь — в езде ж а е т с я. Опять-таки на первый взгляд может показаться, что дрессировка и выездка — понятия чуть ли не однозачные. Это не так.

Между тем и другим большая разница. Дрессированная лошадь совершенно автоматически выполняет то, что она заучила. На каждый сигнал выработано определенное, строго заученное движение.

Выезженная лошадь, у которой также выработаны определенные условные рефлексы, тем не менее отличается от дрессированной тем, что постоянно «прислушивается» к требованиям всадника, выполняет не то, что она заучила, а то, что от нее требуют в данный момент. На выездной лошади вы можете десять раз остановиться на одном и том же месте, а в одиннадцатый спокойно проедете мимо, если не потребуете у лошади остановки. Дрессированная лошадь остановится и в одиннадцатый раз, даже если вы ее будете энергично посылать вперед. Показателем в этом смысле пример, приводимый Аристотелем. По его словам, сибириты выучили своих лошадей танцевать под звуки флейты, и враги их, кротонцы, воспользовались этим на войне. Когда сибириты хотели перейти в наступление, кротонцы заиграли на флейтах, привычные к этим звукам лошади начинали танцевать на месте, вместо того чтобы идти в атаку...

Чемпионат мира 1970 года, который проходил в западногерманском городе Ахене, складывался очень удачно для советских всадников.

Успешно завершив командные соревнования и не дожидаясь официального объявления результатов, Елена Петушкова хоть на несколько часов, но поехала в Дортмунд — в институт имени Макса Планка. Работая на кафедре биохимии МГУ, она не могла отказаться от приглашения посетить этот известный каждому биохимику институт.

Возвратившись из Дортмунда, Петушкова поспешила узнать, на каком она месте переезжающей переездой.



поднялась наверх, где жила наша коноводы и встречал, и увидела там своего тренера Григория Терентьевича Анастасьева, сидящего на голах деревянных парях.

Он самозабвенно и увлеченно что-то писал и подчитывал. Видно, проработал в программе очки всех участников.

Я спросила его:

— Это правда, что вы заняли первое место?

— Правда! Правда! — ответил он нарочито ворчливым голосом. — Не приставай ко мне.

Тогда я стала выспрашивать:

— Кто попал на переездку? А кто на каком месте по первому дню соревнований?

— Я тебе сказал, отстань от меня!

Несколько раз отмахивался от меня Григорий Терентьевич. А потом с торжественным видом протянул мне список и результаты всадников, допущенных к переезде. Их оказалось всего восемь человек. И среди них все три наших всадника.

И вдруг я увидела, что стою в списке второй, что

у меня результат на пять баллов больше, чем у Кизимова. Это меня поразило!

Но вместо того, чтобы обрадоваться, я даже немного отгорчала: как обидно будет на другой день спуститься на одно или несколько мест! Лучше уж с самого начала быть на пятом или на шестом месте и так из него и остаться. А в том, что я никак не смогу быть ближе, я не сомневалась. Даже зная шестое место, я выполняла бы задачу, которую мне поставила перед чемпиономатом мира.

Григорий Терентьевич был искренне возмущен: — Это безобразия — так не верить в свои силы! Все будет отлично!

Но мне казалось, что это говорится лишь с одной целью: подбодрить меня.

Надо сказать, что мой тренер весьма тонкий психолог. Он очень хорошо успел изучить меня за годы нашей совместной работы. Например, он прекрасно знает, что я очень люблю противоречить даже тогда, когда сознаю, что не права. Поэтому он всегда старается сказать мне что-то, что заставило бы меня сделать наоборот. Например, он говорит мне в конце тренировки, нужно сделать еще то-то и то-то. Я начинаю говорить, что устала, что Пепел утомлен, что я вчера с ним много работала, поэтому сейчас лучше «пошатайся» и закончить тренировку. Григорий Терентьевич сердится, протестует, негодует. Я упорствую и, наконец, добиваюсь своего. Григорий Терентьевич некоторое время со мной не разговаривает. А в результате выясняется, что все это игра, которая велась со мной с единственной целью — добиться, чтобы я прекратила тренировку и не «переработала» Пепла. И хотя он мне сам признался в этом однажды в минуту откровения, я неизменно попадаю на эту «удочку». Когда он хочет, чтобы я еще раз повторила какое-нибудь упражнение, он говорит мне, что пора заканчивать. Тогда я начинаю упрямиться: — Ну, Григорий Терентьевич... Ну, пожалуйста... Я хочу сделать еще несколько пируетиков и менку ног.

Такие «ключики» мой тренер находит к каждому спортсмену. Для того, чтобы отвлечь человека перед стартом, уменьшая «предстартовую лихорадку», он может специально разозлить спортсмена, сказав что-нибудь обидное, вроде того, что:

— Не умеешь работать как следует, так нечего было и ехать.

Разозлившись до предела, поскольку это еще называется и на определенное нервное состояние, человек забывает о своем волнении и выступает с азартом, едет «зло».

Многие спортсмены, которым довелось выступать на международных соревнованиях под руководством Анастасьева, до сих пор помнят такие моменты и считают, что вот, мол, старик сам не может держать себя в руках и перед стартом людей только нервы взвизгивают. Но надо понять, что определенный «сориентированный» настрой не всегда можно создать успокоительными словами и валерьянкой.

Это под силу, однако, только очень опытному тренеру, хорошо знающему своих подопечных и умеющему вовремя почувствовать их настроение.

Перед решающей пересездкой лидировала опытная наездница из ФРГ баронесса Лизелотт фон Линзенгофф. Она была знаменита тем, что стала первой женщиной, выигравшей чемпионат Европы. Теперь она замахивалась на победу и в чемпионате мира, где до этого времени побеждали только мужчины.

Елена Петушкова шла второй, а вслед за ней — лидер нашей команды Иван Кизимов.

И вот, наконец, наступил момент, который должен был решить судьбу участников личного первенства.

Возможно, мысль о том, что я вряд ли могу рассчитывать на первое или второе место, позволила мне обрести в седле относительное спокойствие, передававшееся и моему Пеплу. Мы просто поставили себе цель выполнить все как можно чище.

Пепел не подвел меня и выполнил всю программу без единой ошибки.

Казалось, он превзошел самого себя.

Создавалось такое впечатление, что он великолепно понимает ответственность момента, и, скорее, но я ему, а он мне придавал уверенность и силу.

Шел дождь, дождь шел на протяжении всего моего выступления, но казалось, что даже если бы разразился хлещ небесный и гром расколол небо, то и тогда мой Пепел был бы столь же собран и невозмутим, как в те минуты, когда респалась судьба золотых и серебряных медалей.

Пеплу нужна была победа и только победа.

Победа для меня...

Художница из Голландии рисовала Пепла углем на большом листе картона.

А он только косил в ее сторону своим агатовым глазом из угла денника, изогнув шею, и черная шерсть его, которая уже успела высохнуть, отливала атласом.

Вот как комментировала случившееся бельгийская журналистка Дюфур в своем отчете с чемпионата мира в «Официальном бюллетене Бельгийской королевской федерации конного спорта»:

Я имела удовольствие проинтервьюировать новую чемпионку мира Елену Петушкову у денника Пепла.

По-французски она говорит очень немножко, но зато ее английский превосходен, и именно на этом языке она мне рассказывала о Пепле.

Ему четырнадцать лет. Это типичный породный тракен, воровой, от Пилигрима — эталон, очень ценный в СССР. Елена с удовольствием работает с этой лошастью, которая принадлежит государству. Она работает с Пеплом вот уже восемь лет. Именно государству подбирает лошадей и всадников в различных конноспортивных центрах для того, чтобы они потом участвовали в соревнованиях.

Все время при разгоне Елена бросает быстрые взгляды на Пепла, который кивает головой, вздымает ногой толстый слой соломы, положенный, как подстилка, еще время сидя за нами своими важными черными слмави, короче, ведет себя, как и положено известной лошади, которая в восторге от продолжительного визита.

Меня поражает контраст между живостью Пепла в конюшне и его спокойствием, полным величия, во время выступления.

Во время своих многочисленных упражнений он ни разу не терял своей собранности, он переходит из одного движения в другое без малейшего колебания, мягко и плавно, а его алчурные естественны до такой степени, что кажется, словно с ним никогда не работали, поскольку управление к тому же совершенно незаметно.

Но можно вообразить, какой огромный труд в мажоре был необходим, чтобы добиться взаимопонима-

ния и доверия между всадницей и коном, чтобы достичь подобного совершенства.

Неподвижность Пепла во время исполнения национального Гимна Советского Союза при награждении казалась волшебством. Стоя в полном сборе, он ни разу даже не вздрогнул: великодушная лошадь из бронзы. Затем, когда победительница, держа в левой руке огромный букет алых роз, а в правой четыре поводка, совершила круг почета на коротком школьном галопе, восклицания и аплодисменты публики не помешали Пеплу сохранить ту же непринужденность, легкость и одновременно свободу в своих ровных движениях.

Мы уверены, что мягкость и умелые руки Елены Петушковой сыграли решающую роль в этом совершенном согласии между лошадью-чемпионом и его всадницей, и пожелаем им обоим многих побед в будущем».

Сейчас чемпионка мира (это высокое звание Елена Петушкова завоевала на четыре года) готовится к Олимпийским играм в Мюнхене. С того дня, когда она впервые села на лошадь, уже миновала «чертова дюжина лет» и даже немного больше.

Что же заставляет Елену Петушкову идти на многие жертвы и по-прежнему на самом высоком уровне сочетать занятия наукой со спортом?

**В**сю долгую осень и зиму, когда темно и холодно, звенит в половине шестого опостылевший будильник, я со стоном заставляю себя встать из-под одеяла и каждый раз думаю: «Ну чего же ради я сама себе создаю такие мучения, нет того, чтобы, как другие, поспать до семи или половины восьмого и не жить целый день на работе за счет крепкого кофе, который пью через каждый час, пытаюсь побороть сонливости!» Видимо, если бы я занималась не конным, а каким-либо другим спортом, то уже давно бы постепенно бросила эти занятия, сначала пропуская одну тренировку в неделю, потом две и т. д. А здесь я знаю, что меня ждет живое существо — лошадь, что она не может жить без движения, что если я пропущу тренировку, то придется кому-то сесть на Пепла и поработать с ним. А это будет означать, что вся моя предстоящая работа пойдет на смарку и мне придется вернуться на две недели назад, и не потому, что этот другой всадник более низкой квалификации, чем я, а потому, что той подчас незаменимой и неуловимой разницы в требованиях одного и другого всадника достаточно, чтобы сбить лошадь, разладить ее. Конечно, все это относится только к лошадям самой высшей квалификации, таким, которые понимают малейшее движение пальцев всадника, воспринимают незначительные перемещение корпуса и т. д. Именно эта чувствительность, вырабатываемая годами совместной работы, очень легко может быть нарушена за счет того, что у каждого всадника требования, предъявляемые к лошади, одинаковые в целом, разнятся в мелочах, в деталях. Это создает индивидуальность, стиль работы каждого всадника. Для наглядности проведем аналогию с парным фигурным катанием: если партнеры двух самых лучших, может быть, даже равноценных по технике пар обменяются своими партнерами, то вряд ли они смогут выступать столь же успешно, как прежде. Понадобятся годы совместной работы. Когда Ивану Калите дали знаменитого Абсента, чемпиона Римской Олимпиады, он искал с ним общий язык около двух лет, по да же его последние, самые лучшие выступле-

ния на Абсенте в Мехико совсем не отличались тем блеском, каким всегда отличались выступления, вернее, ранние выступления Сергея Филатова на том же Абсенте. Правда, здесь дело уже не только в качестве работы, но и в общей гармонии лошади и всадника, которая очень важна на выступлениях по выездке. Я не видела лошади более красивой, чем Абсент, но под Калитой он почему-то потерял весь свой вид, хотя объяснения этому я не нахожу. Казалось бы, грузный Филатов должен был менее подходить к этой изящной, длинной лошади, но теоретические рассуждения не всегда совпадают с практикой. Филатов на Абсенте был настоящим «королем», и дух захватывало при одном только виде этой пары, когда Абсент, перебирая тонкими ногами в белых «носочках», казалось, буквально плаыл по воздуху, как конь арабских сказок.

Но только ли из-за Пепла не пропускаю я тренировки? Спорт дает человеку такое ощущение полноты жизни, позволяет почувствовать ее как бы в большем числе измерений, что, раз познавши вкус большого спорта, с трудом уйдешь из него. Счастье победы знакомо многим: победы над какими-либо трудностями, победы над самим собой и т. д. Но только спортсмен вкушает победу в полной мере.

А если это не просто победа, а победа во славу Родины, чувство гордости переполняет душу, когда торжественно звучит гимн, медленно поднимается вверх алый флаг Советской страны, и тысячи зрителей встают, и шум аплодисментов перекатывается от трибуны к трибуне.

Пусть это никогда больше не повторится, пусть я никогда больше не буду так счастлива, но этот миг — мой, его нельзя отнять. В эти несколько минут словно какое-то озарение нисходит на тебя, и кажется, что в его ослепительном свете ты вдруг постигаешь какой-то высший смысл и величайшую мудрость жизни, живешь в каком-то ином, ускоренном в десятки и сотни раз ритме, уплываешь каждой минутой этого своего нового бытия и как-то по-особенному ярко чувствуешь, что ты существуешь на свете. Ни одна жертва не кажется чрезмерной ради такого мгновения счастья.



## РЕШИТЕЛЬНЫЙ УТЕНКОВ

**Е**сли всех граждан нашей страны разделить на спортсменов и неспортсменов, то вторая группа, понятное дело, пока многочисленнее. Одна из важнейших задач нового комплекса ГТО в том и состоит, чтобы изменить соотношение этих групп.

Уже несколько месяцев по всей стране идет сдача норм нового комплекса. Тон задают спортсмены-разрядники, что естественно. Но в какой мере это движение уже захватило тех, кто вчера еще был не очень дружен со спортом?

В поисках типичной ситуации мы отправились в подмосковный город Красногорск. Почему в Красногорск? Таких городов, в которых живет несколько десятков тысяч человек, в стране много. Типичен сегодня и город, который растет вокруг крупного предприятия. Красногорск же прежде всего известен своим механическим заводом. Слыхали, конечно, о фотопарате «Зоркий»? Ну и, наконец, Красногорск славен своими спортивными традициями. Спортивный клуб «Зоркий» — это марка.

В литейном цехе Красногорского ордена Ленина механического завода мы познакомились с двадцатилетним модельщиком Геннадием Утенковым. Он и отличный модельщик и занимается в заводском оптико-механическом техникуме, но в спортивных секциях не состоит. Мы решили, что вот и нашал своего героя — всем парень хорош, не хватает ему лишь значка ГТО.

— Вам хотелось бы сдать нормы нового комплекса? — спросили мы Геннадия.

— Я уже сдал кросс, подтягивание на перекладине, стрельбу, — спокойно ответил он. — Даже лыжи по последнему снегу успел.

— Когда же вы подготовились?

— А я, можно сказать, совсем не готовился.

— Как же вы ухитрились сдать эти нормы?

— Что же, я на тех же лыжах до ГТО не ходил? Самы знаете: Опалиха, Сходня, Подразково — самые что ни на есть лыжные места. Кроссы, правда, специально не бегаю, но люблю погонять мяч. А в футболе столько набегаться, что на пять кроссов хватило...

Мы пошли в спортклуб «Зоркий», где нас должна была ждать Тамара Маркова — заведующая учебно-спортивным отделом клуба. Но ее не было в клубе. Наконец, появившись, она объяснила:

— Директор неожиданно совещание созвал. Как раз по поводу ГТО. Вячеслав Иванович Креопалов, директор нашего завода, сам возглавляет комиссию ГТО. Не секрет, нормы ГТО пока что успешно сдают те, кто занимался спортом и прежде. А мы от спортсменов и требуем, чтобы они пример показывали. Футболист-

там, например, тем прямо сказали: «Пока норму не сдадите, о мяче и не думайте». А когда за значок ГТО борются такие знаменитые спортсмены, как хоккеист Евгений Палутий или лыжник Иван Утробин — они тоже из нашего спортклуба, — то разве это не показательно? Разве не захотят многие получить значок вместе с Палутиным и Утробиним? Но мы не собираемся только на соревнованиях выезжать. Неспорсменам, ясное дело, готовиться надо куда больше. Если бы мне сказали, что где-то спортсмены и неспортсмены на равных по сдаче норм ГТО идут, я бы не поверила: липа, галочка.

Насколько сложны нормы ГТО для того, кто только начинает дружить со спортом? Александр Андреев, физорг того литейного цеха, где работает Утенков, говорит:

— Подготовишься — сдашь; с кондачка не надейся. Вот мы стрельбу сдавали. Наш завод стрельбой издавна славится: например, у нас в литейном сколько бы вы думали стрелков? Каждый четвертый. Но некоторые из тех, кто стрельбой не занимается, решили при сдаче норм, что и глаз у них острый, и рука твердая, и, дескать, все в порядке. Так им еще сдавать и сдавать. Каждый год у нас проходит кросс памяти Грозянскихых. Это наши Знаменские — тоже братья, тоже легкоатлеты. Погибли в войну. В этом году кросс в зачет норм ГТО шел. И опять на старте оптимистов было больше, чем в финише.

Да, нормы ГТО мудры: не так сложны, чтобы их не смог сдать каждый, но и не так просты, чтобы каждый смог сдать их без подготовки. Часами, неделями, месяцами на стадионе и в бассейне надо добиваться значка ГТО. Сам значок не более чем свидетельство, что работа эта прошла успешно.

Но если лыжник, допустим, идет во все стороны от Красногорска, то для плавания здесь условия, мягко скажем, несколько хуже. Ситуация — тоже типичная.

Евгений Федин, секретарь заводского комитета комсомола, сказал нам:

— Бассейна у нас, в Красногорске, нет. Арендуем бассейн в Тушино. Но нормы там сдавать трудно: у нас одних комсомольцев на заводе больше четырех тысяч, а ГТО ведь — до шестидесяти лет. О том, чтобы подготовиться в Тушино к сдаче норм, и речи быть не может. Вот у нас все, что весною ушел в армию, сдали нормы, но только не по плаванию. Есть у нас две речушки — Синичка и Банька. Комсомольцы, возведя на Синичке запруду, хоть и импровизированный, но летний бассейн сделали. Теперь и за Баньку возьмемся: тумбочки поставим, дорожки протянем.

А председатель закома Василий Куркин говорит:

— По социальному плану завода у нас намечено строительство крытого бассейна. Да все откладывали, более важные объекты отодвигали бассейн на потом. Теперь ГТО бассейну, так сказать, зеленую улицу открыли.

Как видите, проблему ГТО не следует толковать прямолинейно: мол, пришел, сдал нормы, получил значок. Чтобы сдать нормы, надо готовиться; чтобы готовиться, надо иметь, где готовиться. И не только в Красногорске — во многих городах страны введение нового комплекса ГТО стимулирует строительство тех же бассейнов. В Фергане, например, уже принято специальное решение построить в самом центре города бассейн с пятидесятьюметровыми дорожками, а рядом — «аэгушатики». Утверждены проекты и открыто финансирование для строительства бассейнов и во многих других городах Узбекистана...

Что же касается Геннадия Утенкова, то он намерен сдать нормы по плаванию на Синичке или на Баньке. Ему и здесь особенно тренироваться не надо.

М. ГОРОДИНСКИЙ

# первый перекур



**В**ышло все, как и намечали. Работать начинаем в восемь, а в восемь ноль одну Коля Смирнов к новенькому подошел и покурить позвал. Мы к этому времени всей бригадой уже в курялке были, как обычно.

Сидим, гордые оттого, что придумали такое интересное мероприятие. А все наш дорогой бригадир Иван Семенович... Мы, правда, голову тоже ломали.

«Приходит вчера Иван Семенович и говорит: «Ребята, завтра к нам в бригаду новенький придет. Сами понимаете, для паренька первый день работы вроде как праздник. Так давайте встретим его по-родному, чтобы сразу себя в бригаде своим почувствовал. Хорошо бы небольшую такую, что ли, «летучку» устроить, чтобы парню самое характерное о бригаде разъяснить, стиль, так сказать, нашей работы чтоб понял. Тогда и приживется быстрее... Так что обдумайте это дело».

Стали мы думать, чего б такое торжественное придумать... Разное в мысли лезет, а характерного ничего не подыскивается.

Кто говорит, сфотографироваться всем вместе в рамочке, кто говорит, шампанского в обеденный

перерыв выпить... Но это нехарактерно, конечно, для нашей бригады, чтоб шампанское.

Тут Коля Смирнов свои соображения и высказал. «Предлагаю, — говорит, — товарищи, в курялке утром, как обычно, собраться и первый перекур парня отметить. Напутствия дать, опытом поделиться. Так как ничего более характерного для нашей бригады, чем перекур, не придумаешь».

На том вчера и порешали. И вот настало торжественное сегодня.

Когда новенького ввели, весь наш коллектив со скамеечки, на которой сидели, встал. Но сигарет, папирос, трубок изо рта не выпустил. Паренек такой молоденький, скромный... Мы друг на друга смотрим: кто первый начнет?

Тогда Коля на серединку вышел, тетрадь из-за пазухи достал, отклясалась и начал читать: «Дорогой и юный друг! В этот незабываемый день хочу от души и от себя лично поздравить тебя с первым перекуром в твоей трудовой жизни». Коля засунул тетрадь под мышку и зашапкодовал. Мы все тоже захолопали.

Коля снова раскрыл тетрадь: «Коллектив у нас здоровый, курящий. Вот, к примеру, дядя Фе-

дя. В этом квартале, если бы не инфаркт, стотысячный перекур отпраздновал бы... Так что есть на кого равняться! О себе что могу сказать? Курю по мере сил своих и физических возможностей, с учетом, конечно, материальных...» Коля смутился и отошел к урку. Умел ведь Коляка!

После него, конечно, заминка получилась. Еще по папироске закурили.

И тут Петруша Никифоровых выходит. Издалека начал. «Я, — говорит, — на этом заводе недавно сравнительно курю, я начинал на ремонтно-механическом. Там я не ужился. После на вагоностроительном дмми — пришлось уйти. Коптил на машиностроительном — не вытерпели... И хочу сказать: нигде так не перекуривалось, как здесь! На вагоностроительном, бывало, к концу месяца и затянются разок некогда. А здесь... Так что смотри, парень, не подведи. В нашу бригаду многие приходили, да больше месяца не выдерживали: условия работы, говорят, у нас да легких тяжелее. Так что мы тебе, парень, прямо скажем: сладкой жизни не жди, а вот дымной — пожалуйте, сколько угодно».

Потом еще кто-то выступил. За речами незаметно время обеда подошло. Атмосфера в курялке такая, что друг дружку совсем не видно, выступающих по голосу различали. Так только и понимал, что наш бригадир Иван Семенович заключительное слово взял. Голос у него сильный, прокуривший, после каждой мысли кашляет подолгу: «Сегодня, Саша (так паренька звали), этим вот перекуром ты вступаешь в трудовую жизнь...»

«Какая, ребята, качай новенького!» — крикнул кто-то.

Кинулись новенького качать. Видимость плохая, друг на друга наткнемся, а новенького нет. Все углы обшарили — пусто!

Кто-то предложил в цех заглянуть. Заходим. Единственный станок на участке включен. Над ним новенький склонился, точит что-то...

Выходит, не понял парень ничего. Ни слов добрых, ни напутствий...

Ну, с ним с одним — ладно. Одного мы как-нибудь потеряем. Но на днях еще пятеро новеньких прийти должны. И если каждый в первый же день станок включит, что ж нам делать останется? С кем мы курить-то будем? Ведь друг другу мы уже изрядно надоел...

г. Ленинград.

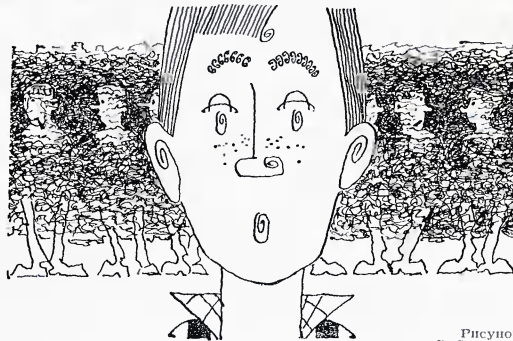


Рисунок  
Г. Суханова.



# НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ

## Письмо в редакцию

Рисунок О. Кониной.

**Я** решила написать вам, потому что давно разныкаю одного мальчика. Может быть, он забекит в вашу редакцию и этим обнаружится. Он мне очень нужен. Он мой сын. Боря.

Нет, он не убежал из дому. Отчего ему убежать? Мы, родители, создали ему все условия для насыщенной жизни и гармонического развития. Чтоб не хуже других был. И в музыкальную студию записали, и на фигурное катание определили. А когда Зайцевы из 68-й квартиры стали сына своего японскому обучать, мы тоже не ударили лицом в грязь, пригласили преподавателя из МГУ — специалиста по языку суахили.

Чтобы мой косяк сына сразу узнали, опишу его приметы. Сам он чернышней такой... Хотя нет, волосы, кажется, рыженькие...

Признаюсь вам: я так редко вижу его, что цвет волос забыла... Хорошо помню его в детстве, но он тогда лысенький был. На дачу детского сада к нему приезжала, там они тоже все стриженькие были. Потом, помню, зимой как-то ходила к нему на занятия моржей-акаалангистов. А в проруби они вообще все синенькие. В клубе, где мы случайно встретились на самодеятельном спектакле, он загримированный под волка был... Но я все-таки догадалась, что это мой сын. Как занавес дали, за кулисы ринулась. А ребята говорят, что он еще в антракте на ВДНХ уехал, на встречу юных ветеранов с молодыми полярниками. Так в тот раз и не встретились мы...

Иногда узнаю о нем из телефонных разговоров. Звонили мне как-то из музыкальной студии, жалуются, что мальчик за последние полтора года перепилил струны у трех виолончелей. Так это вовсе не из-за рассеянности. Просто ребенок прибегает в студию прямо с фехтования и, естественно, не всегда успевает заменить шпагу на смычок.



Но главная его примета, конечно, вежливость. Это сейчас такая редкость! Так что в метро или там в автобусе вы его сразу узнаете. Мне вот вспоминается наша последняя встреча, года два тому назад. Мальчик ехал из конно-спортивной школы в балетную. В трамвае народу много, и меня, значит, к его сиденью прижали. Смотрю, Боряка мой!.. Ногами какое-то па-де-де выделяет, а руками все еще воображаемые поводы держит. Присмотрелась поближе — а он спит, оказывается! Потом трамвай как дернет, он и проснулся. Смотрит на меня своими огромными серыми, кажется, глазами и говорит:

— Садитесь, пожалуйста.

А я ему:

— Ну, что ты! Спасибо, сынок! Спи, что тебе...

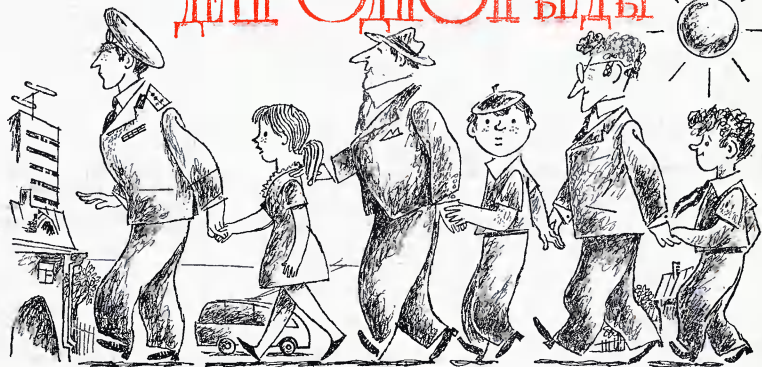
Он снова заснул, а меня взяло сомнение: сын или не сын?.. Осторожно его фотографию достала, так незаметно глянула — о-и! Как сохранился! На фото ему всего годика — остальные карточки разошлись на всеские доски почета и удостоверения. В общем, растерялась я, слезы глаза застилают... Пока в себя приходила, он уже сошел.

И вот я обращаюсь к вам, дорогие товарищи, помогите матери! По последним данным, мой Боря поступил в литературную студию, так, может, он принесет в «Юность» стихи или рассказы — уж не знаю, что он там пишет, — скажите, чтобы заглянул домой навестить родителей. В любой день. Я его с сестричкой познакомлю. Ей уже седьмой пошел. Уж ради такого случая мы ее, Наташку, пораньше с сольфеджио заберем, а уж толканье ядра и художественную шотку, так и быть, пропустит разок. Вы уж если увидите, не забудьте...

Заранее благодарная вам  
Борина мама.

г. Харьков.

# ДЕТИ ОДНОЙ БЕДЫ



**В**овка, привет! Извини, что так долго не писал. У нас в доме было большое горе. Папа ушел от мамы. А все из-за меня. Я им жизнь разбил. Однажды я услышал, как мама сказала папе:

— Пожалуйста. Сережа уже большой. Можешь уходить на все четыре стороны.

Я еще тогда задумался. Куда должен папа уйти? Почему? Я стал замечать, что мама по вечерам плачет. И тут я решил: раз папа может уйти, потому что я уже большой, то лучше пусть я всегда буду маленьким. И я, Вовка, стал им. Набрал разных детских игрушек: самолетики, машинки, свистульки, погремушки — и, сделав уроки, сядил играть.

— Ты что, маленький? — удивлялась мама.

— Да! — радостно кивал я и скакал по комнате на прутике.

— Перестань дурить, Сергей! — прикрикивал отец.

А я скакал, дулел, катал на веревке машинки, хотя мне было скучно, как на уроке пения. Я играл маленького, а мама по вечерам плакала. И чем чаще она плакала, тем сильнее я притворялся. Но это не помогло. В воскресенье утром папа сказал мне:

— Ты уже большой, сынок. Я ухожу. Но мы будем встречаться. Ладно? Ну что ты... Ну?... Серега... Ты же большой... Сереженька...

И ушел. Но стал меня навещать. Вначале я прятался. Он приходил к моей школе, ждал, а мне было почему-то стыдно выходить к нему. Потом я привык, и мы часто гуляли с ним по городу. Однажды я решил поговорить с ним как мужчина с женщиной.

— Ты меня любишь, па?

— Люблю.

— Значит, ты бы хотел меня видеть каждый день?

— Конечно, сын.

— Но кто же тебе мешает, папа?

— Я работаю. И не могу приходить к тебе каждый день.

— Зачем каждый, — сказал я, остановившись, — приди один раз...

— Видишь ли, Сережа, — ответил он не сразу. — Ты еще маленький. Подрастешь — все поймешь.

Теперь-то я уж совсем ничего не понимал. Ушел отец, потому что я большой, а не может вернуться, потому что я маленький... Прошло, Вовка, больше семи месяцев. Закончился учебный год, когда мама однажды сказала мне:

— Сережа, мне тяжело одной. Хочешь, чтоб с нами жил хороший дядя?

Вовка, я очень обрадовался. Наконец-то я в футбол поиграю! Я видел, как мама переживала без папы, как она сидела по вечерам дома. И я не мог оставлять ее одну. Поэтому я сидел без воз-

духа дома. И физически не развивался. Я сказал:

— Да.

Утром пришел капитан милиции. Игорь Матвеевич. Мне он сразу не понравился. Может, потому что меня с детства пугали милиционером. Хотя, по правде сказать, он ко мне хорошо относился. Даже пистолет дал подержать. И хоть пистолет Вовка, был настоящий, а вот отец... Зато мой папа каждую встречу уговаривал меня прийти к нему туда, где он живет.

— Я тебя познакомлю с хорошим мальчиком. Толликом. Он твой ровесник.

— Это твой новый сын?

— Что-то вроде этого.

Я отказывался. Говорил, что мама будет сердиться. Но он позволил ей, долго объяснял, и она разрешила. Мама нарядила меня, как на экзамен.

Квартира у них была лучше нашей. Кругом разные стаканы, вазочки, стекло... Меня познакомили со знаменитым Толликом. У него, Вовка, нос картошкой. И мне сразу же захотелось дунуть по нему. Его мать, Нина Михайловна, была красивее моей мамы. Но какая-то чужая. Как торт на витрине магазина.

— Сейчас чаек будем пить! — вскрикивала она все время, словно я только за этим и пришел.

Папа ходил по комнате и вослищал:



— Молодец, Сергуня, что явился!

И при этом так широко улыбался, будто у своим приходом отколол какую-то шутку. А что-то вроде папиного сына» сидел в углу и молчал, как на уроке. За часом я нарочно отказался от псаго. Пусть не думают, что я голодный. Даже чай пил без сахара. А Нина Михайловна из-за этого немного окрипла.

— Толя, покажи Сергеех свою комнату и книги,—попросил папа после чая.

— Идем!—наконец выдавил Толя первое слово.

Как только закрылась за нами дверь, этот тихоня сердито посмотрел на меня и сказал:

— Мой настоящий папа лучше твоего!

— Был бы лучше — не ушел!

— А твой зато ушел ко мне.

— Все равно он уйдет от вас.

— И хорошо. Тогда мой папа вернется.

Мы подружились с этим Толиком. Встречались, чтоб родители наши не знали. А однажды мы пошли зная куда? К его отцу. Хороший дядечка. Веселый. Нам всем мороженое купил. Толику, мне и Светлане. Светлана—это что-то вроде дочки папы Толика. Она наша ровесница. Хоть девчонка, но хорошая. Умная. Как-то она нам сказала:

— Мы дети одной беды. нас связывают чужие папы. Каждый любит своего отца. А я люблю своего настоящего больше всех. Он у меня храбрый. Он у меня капитан милиции.

Я испугался.

— А как зовут твоего настоящего папу?

— Игорь. Игорь Матвеевич.

Мне, Вовка, стало так плохо, будто я на контрольной по истории принес шпору по арифметике.

Теперь мы собирались все вместе. Сделав уроки, мы встречались в чьем-нибудь дворе, прятались от людей и хавались друг перед другом отцами.

— Послушайте! — воскликнула однажды Света. — Ведь мы теперь все родственники.

— Как это?—не понял Толя.

— А так.—Света стала загибать пальцы.—Серезжин папа живет с тобой. Значит, ты ему как бы сын. Значит, ты Серезке как бы брат. Твой папа живет у нас, значит, я как бы его дочка, а тебе как бы сестра. А раз Серезка тебе как бы брат, значит, я и ему как бы сестра.

— Как бы не запутаться, — вздохнул Толик.

И тут мне, Вовка, пришла отличная идея. Я поделился ею с моими как бы родственниками. Мы теперь знали, что нам делать.

Игорь Матвеевич давно уговаривал меня сходить с ним в зоопарк. Я отказывался. И вот теперь я согласился. В воскресенье мы поехали. Мама отпустила нас одних, чтобы мы нашли друг с другом общий язык. Ровно в двенадцать я потащил его взглянуть на слонов. С другой стороны к клетке подошли Толик с моим отцом. Тут же явился Света с папой Толика. Мы хором закричали «Папа!», и разобрали своих отцов. Видел бы ты, Вовка, как они смотрели друг на друга!..

Следующую встречу мы устроили через неделю у кино. Когда я перед сеансом получил своего отца, и мы отошли, он строго спросил:

— Сергей, что это все значит?

— Что, папа?

— Не прикидывайся дурачком. Немедленно отвечай.

— Просто я гулял с папой Светы, Толик—с тобой, а Света—с от-

цом Толика, и мы все случайно встретились.

Он пристально посмотрел на меня и тихо спросил:

— Зачем вы это делаете, Серезжа?

— Просто я гулял с папой Светы, а ты... ты...

Я заплакал. Это, наверное, нервы не выдержали. Я боялся только, чтоб меня в таком виде не увидели друзья. Отец что-то говорил, гладил меня по голове. Я оглянулся. На разных углах Игорь Матвеевич и папа Толика делали то же самое.

Вечером, когда я лег спать, в комнату вошел Игорь Матвеевич. Я зажмурился, чтоб он думал, будто я сплю. Он долго стоял над мной, потом тихо сказал:

— Можешь, ты и прав, Сергей. Собирай завтра всех в два часа у кино.

В два мы были на месте. Он подал нам три билета.

— Говорят, интересный фильм. Сходите, ребята.

— А это вам на мороженое,—протянул мой отец нам деньги.

— И конфет. Купите! — сказал Толин папа, добавляя еще денег. Кино очень понравилось. Все про войну. Домой я возвращался с отцом. С настоящим. Когда мы дошли до двери, он вдруг остановился.

— Тебе понравилась картина, сынок?

— Да, папа.

Он протянул мне деньги.

— Сходи еще раз. Хороший фильм не грех посмотреть дважды.

— А ты?

— К маме, сын. Мы будем тебе ждть...

В кафе я увидел Толика. А потом и Светку. Когда мы встретились, то начали так смеяться, что нас чуть не выставили. Но разве можно было объяснить людям, отчего нам так весело! Сидели мы в разных местах зала. А когда вышли, нам стало грустно. Теперь мы могли встречаться только тайком. Чтоб не напоминать родителям их прошлое. Мы стояли у кинотеатра и долго не хотели расходиться.

По дороге домой я все думал: теперь у меня есть брат и сестра. Без всяких там «как бы». Ведь правильно Света сказала: «Мы дети одной беды».

Вот и все, Вовка. Теперь понимаю, почему я тебе долго не писал. Ведь пока утрясешь все родительские дела — или останешься на второй год, или посдеешь.

Твой друг Серезжа.



Рисунки И. Оффенгенсона.

г. Рига.

# В НОМЕРЕ

## ПРОЗА

Валентин ЧЕРНЫХ. Три рассказа . . . . . 3

Альберт ЛИХАНОВ. Паводок. Повесть . . . . . 14

Иван КОРНИЛОВ. Погоня за ветром. Повесть . . . . . 33

## ПОЭЗИЯ

Бабкен КАРАПЕТЯН. Радость. Молодость моя. У Алагеа. Родине . . . . . 2

Владимир КОСТРОВ. Воспоминание о Заполярье. «Туман в столице непростой туман...». «Еще дышало глубоко и мудро...». «Вот женщина с седыми волосами...». «Светлый лебедь на Чистых прудах...» . . . . .

Илья ФОНЯКОВ. Электрониния. Денабристы в Сибири. В юности. Если темная сила нагрянет. «Я помню старый разговор...» . . . . .

Мара ГРИЗАНЕ. «Когда строка воистину народна...». «В Латвии, как в шкатулке...» Ночлег на берегу. Старинная песня. «Под вечер в латвийском море...». «Вечно струится в женской крови...». «Был самый серый понедельник...». Орловщина . . . . .

Александр ЩУПЛОВ. Боевые трубачи. Гроза . . . . .

Дмитрий СУХАРЕВ. «Пела песню женщина из Пешта...». К поэту С. питаю интерес . . . . .

Наум КИСЛИК. «В круглых скобках проставлены даты...». «Утром нагрянул младенчески пухлый...». «Снова дети играют в войну...». «Вспоминая о войне... «Не было в мире ни зла, ни добра...». «Гонят лес багряный свой убор...» . . . . .

Геннадий БУРАВКИН. «Всегда платил я полной платой...». «Холодный сквер до нитки облетел...» . . . . .

Григорий ЛЮШНИН. «Я воду пью из родника...». Жеребенко. Из фронтового блокнота . . . . .

Даниил ДОЛЖИНСКИЙ. «Доиская предвечерняя волна...». «Не кувала мне кукушка...». «Песенка! Песенка, чья ты? Моя?..» . . . . .

Сергей ГРИГОРЬЕВ. О «концепциях» и чувстве времени . . . . .

Лев ОЗЕРОВ. Онежская быль . . . . .

## ДНЕВНИК КРИТИКА

## КРАСКИ

## РОДНОЙ ЗЕМЛИ

## ОКНО

## В МИР ПРЕКРАСНОГО

Е. БОГАТ. Рембрандт . . . . .

А. ДУБИНСКИЙ. Классики и дебютанты . . . . .

## ПУБЛИЦИСТИКА

РУКУ, ТОВАРИЩ СТРОИТЕЛИ! («Сегодня — на стройке железной дороги Тюмень — Сургут: 1. «Дюжонияйте нас, поезжайте (2-я стр. обложки). 2. Д. И. Коротчаев. Высокая проба (стр. 78). 3. Владимир Павлинов. Дорога Тюмень — Сургут с высоты птичьего полета. На Юганской Оби. Разговор с Валентином Солохиным, начальником мостопоезда № 15 (стр. 83). 4. Николай Смирнов. Капитан (стр. 85).» . . . . .

Иван ВАСИЛЬЕВ. Десятидневники . . . . .

Георгий БЛОК. Река трех морей . . . . .

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. Вокруг да около математики . . . . .

В. ЛОЗОВАЯ «Смеричка» из Винницы . . . . .

Елена ПЕТУШКОВА. Эта чертова дюжина лет . . . . .

А. МИХАЙЛОВ, В. ФЕДОРОВ. Решительный Утенков . . . . .

М. ГОРОДИНСКИЙ. Первый перекур . . . . .

Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ. Не хуже других . . . . .

Михаил ВОЛЬФСОН. Дети одной беды . . . . .

## НАУКА И ТЕХНИКА

## ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ ДНЯ

## ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

## СПОРТ

## СПОРТ

## СПОРТ

## ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Главный редактор  
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

12 Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН,  
В. И. АМЛИНСКИЙ,

13 В. И. ВОРОНОВ  
(зам. главного редактора),  
В. Н. ГОРЯЕВ,

32 А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ  
(зам. главного редактора),

58 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ  
(отв. секретарь),

58 К. Ш. КУЛИЕВ,  
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,

В. Ф. ОГНЕВ,  
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,

59 М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

60

92

99 Художественный редактор  
Ю. А. Цишевский.

61 Технический редактор  
Я. М. Борисов.

63

69 На 1—4-й стр. обложки  
рисунк

Е. СОКОЛОВОЙ

и А. МАКСИМОВА.

Адрес редакции:  
Москва, 103006.

(Для телеграмм: Москва, 6).  
Улица Горького, № 32/1.

Рукописи не возвращаются.

88 Сдано в набор 5/V 1972 г.  
А 00694.

93 Подп. к печ. 16/VI 1972 г.  
Формат бумаги 84 × 108/16.

100 Объем 12,18 усл. печ. л.  
17,62 учетно-изд. л.

102 Тираж 2 000 000 экз.  
Изд. № 1392. Заказ № 2927.

103 Ордена Ленина  
и ордена Октябрьской

107 Революции  
108 типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина.

109 125865. Москва, А-47, ГСП,  
ул. «Правды», 24.



После работы.



По готовому участку  
пути от Юганской Оби  
идут рабочие поезда.



Цена 40 коп.

Индекс  
71120